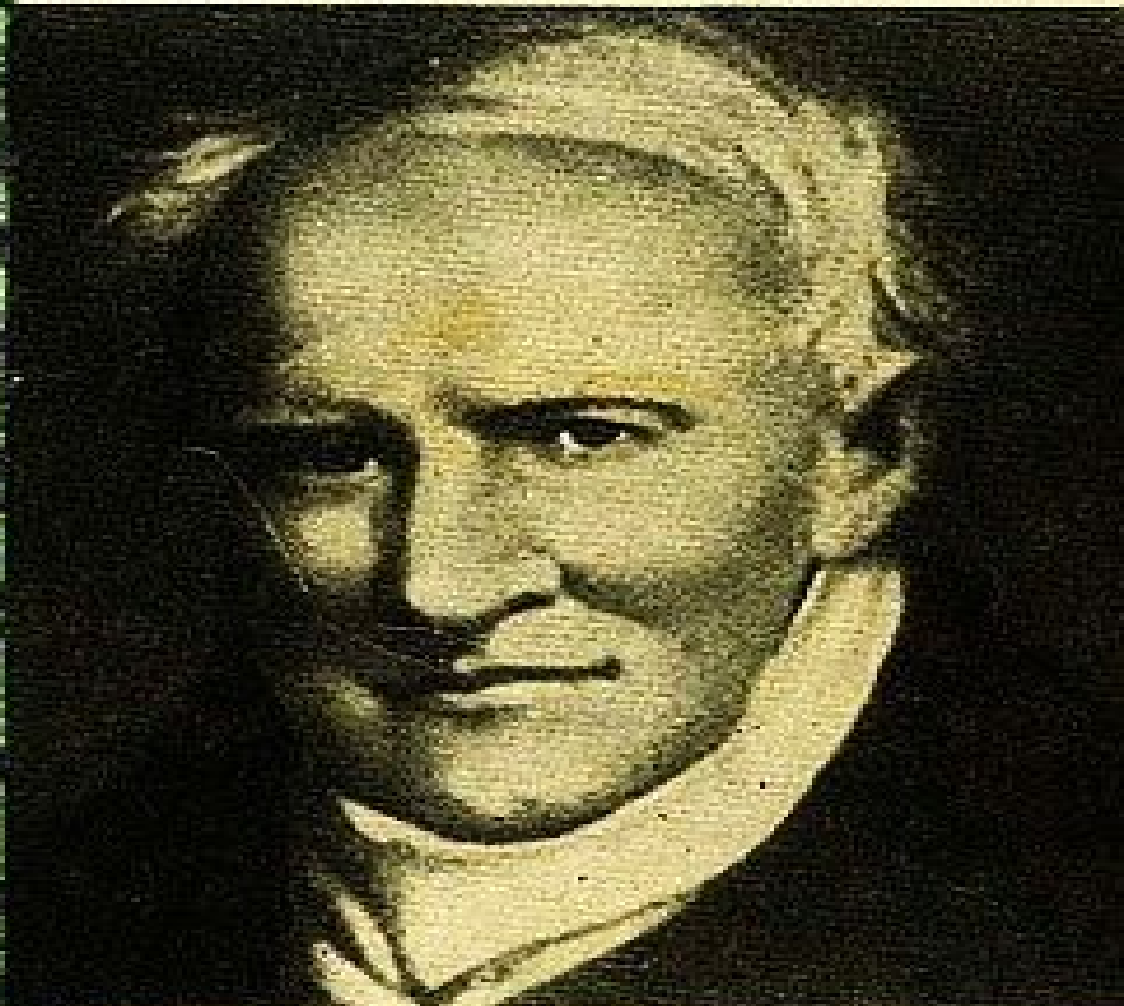
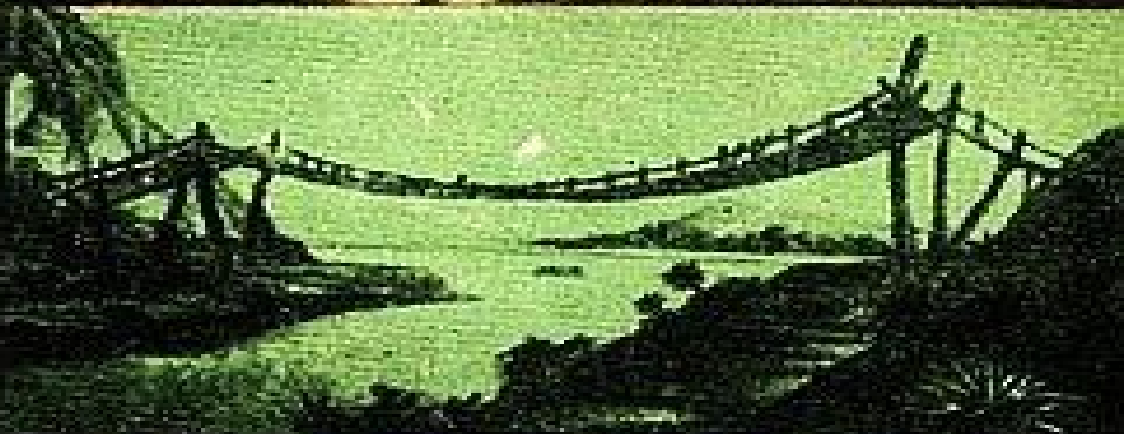


АЛЕКСАНДР ГУМБОЛЬДТ



Терберт
Скурла



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Annotation

Книга о великом немецком ученом-естествоиспытателе и путешественнике, внесшем неоценимый вклад в развитие целого ряда естественнонаучных дисциплин, а также много сделавшем для популяризации этих наук. В 1829 году Гумбольдт совершил путешествие по России в научных целях, чем во многом содействовал оживлению научных изысканий в области геологии, географии, ботаники, геодезии вообще и применительно к природе России в частности.

- [Герберт Скурла](#)
 -
 - [Из прусской тесноты — на просторы природы 1769-1789](#)
 - [Новый Аристотель](#)
 - [Начало века научного естествознания еще о заслугах Гумбольдта](#)
 - [Создание новой картины мира](#)
 - [Пруссия. Берлин конца 70-х годов XVIII века](#)
 - [Детство в Тегеле](#)
 - [Годы возмужания в Берлине](#)
 - [Месяцы скуки во Франкфурте-на-Одере](#)
 - [Берлин. Увлечение ботаникой](#)
 - [Студент — горняк — искатель первооснов жизни 1789-1796](#)
 - [Студент в Геттингене](#)
 - [Встреча с Георгом Форстером](#)
 - [Под обаянием Георга Форстера](#)
 - [Гамбург и новые планы на будущее](#)
 - [Целеустремленная учеба во Фрейберге](#)
 - [Обербергмейстер во Франконии](#)

- [Наука, обращенная к практике](#)
- [«...Создан, чтобы соединять идеи»](#)
- [Отказ служить Пруссии](#)
- [Второй Колумб 1797-1804](#)
 - [Долгожданная независимость](#)
 - [Несостоявшаяся поездка в Италию](#)
 - [Планы путешествия в Египет перечеркнуты Наполеоном](#)
 - [Надежда «принести большую пользу людям» тоже пока не сбывается](#)
 - [Эме Бонплан. Новые неудачи](#)
 - [Наконец у заветной цели](#)
 - [По следам Колумба](#)
 - [В кратере пика Тейде](#)
 - [Прибытие в Новый Свет](#)
 - [Чудеса за чудесами](#)
 - [Вокруг Куманы](#)
 - [«Золотая Кастилия»](#)
 - [Охота на электрических угрей с лошадьми](#)
 - [Льяносы](#)
 - [Прорыв в неизведанную часть материка](#)
 - [Новый Свет, завоеванный на челноке](#)
 - [Между Ориноко и Амазонкой](#)
 - [Мне уготована деятельная жизнь](#)
 - [Куба — жемчужина Антильских островов](#)
 - [Нескладное и опасное морское путешествие](#)
 - [Богота. На пути к плоскогорью](#)
 - [Через перевал Киндио — без людей в качестве вьючных животных](#)
 - [По вулканической местности](#)
 - [По снежному насту к краю кратера](#)
 - [Из Кито в Лиму](#)
 - [По следам инков](#)
 - [Поездка вдоль побережья на север](#)
 - [Первый опыт современной географии](#)
 - [В стране ацтеков](#)

- Отвращение к рабству
- «Venemerito» Центральной и Южной Америки
- Конечная цель исследований — изучение всей земли
- «Всеоживляющий, _____ деятельнейший естествоиспытатель нашего века» 1804-1826
 - «Этот знаменитый г-н фон Гумбольдт»
 - Париж — столица естествознания
 - Отчет об американской экспедиции
 - В Берлине, «этой безлюдной пустыне»
 - 1806 год. «На горах — там свобода»
 - «Мир людей мне представляется мрачным»
 - Следующая цель — путешествие в Азию
 - Гражданин мира или патриот?
 - Планы путешествия в Индию
 - Добрый гений молодых немецких ученых
 - О прусском камергере и о бывшем ботанике французской императрицы
 - Из Парижа 1789-го в Берлин 1827-го
- В двусмысленном положении между прогрессом и реакцией 1827-1847
 - Потеря независимости
 - Публичные лекции. «Космос»
 - Нестор немецкого естествознания
 - Приглашение в Россию
 - Гость русского царя
 - «Азиатское путешествие»
 - «...Для которого я не нахожу подходящего эпитета»
 - 1830 год в Париже: «народ снова обманывают»
 - Смерть брата
 - «Геттингенская семерка» и «дремлющая германия»
 - Два «августейших покровителя»

- [«Беспокойная совесть» Фридриха Вильгельма IV](#)
- [«Трудно быть Гумбольдтом!»](#)
- [«Космос» Гумбольдта — труд всей жизни](#)
- [«Древний старец с гор» 1848-1859](#)
 - [Предвестия политической бури](#)
 - [«Прозаические обязанности» и ночные бдения](#)
 - [«Придворный демократ» и проигранная революция](#)
 - [Два завещания, интересных в своем роде](#)
 - [«Последний герой великой литературной эпохи»](#)
- [Основные даты жизни и деятельности Александра фон Гумбольдта](#)
- [Краткая библиография](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)

- [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
-



**Герберт Скурла
Александр Гумбольдт**



*Жизнь замечательных людей. Серия биографий.
Выпуск 11(659)*

Основана в 1933 году М. Горьким



**Из прусской тесноты — на
просторы природы 1769-1789**

Новый Аристотель

«Стоять рядом с Гёте мог бы только один человек — Александр Гумбольдт», — сказал немецкий филолог Якоб Гримм, когда в 1862 году начали обсуждать план возведения памятника Гёте, Шиллеру и Лессингу перед театром «Шауспильхаус» в Берлине. Однако Александр фон Гумбольдт за несколько лет до своей смерти высказался против идеи ставить его бюст в здании Берлинской академии рядом с бюстом ее основателя — Лейбница.

«Выдающиеся люди XVI и XVII веков сами были академиями — подобно Гумбольдту в наше время», — заметил как-то Гёте, всегда восхищавшийся своим другом.

Карл Риттер, выдающийся немецкий ученый-географ, назвал Гумбольдта «новым открывателем Америки», присоединяясь к мнению публики, окрестившей Александра после его возвращения из экспедиции в Южную и Центральную Америку «вторым Колумбом». Во Франции в честь «величайшего ученого своего времени» Парижской академией наук вскоре после его кончины была заказана памятная медаль, где он именовался «новым Аристотелем». Имя Гумбольдта увековечено на географической карте мира: в его честь названы горные хребты в Америке и Азии, морское течение у северного побережья Чили и Перу (Corriente Fria de Humboldt), солончаке Неваде, ледник в Гренландии, морские бухты и озера, каналы и реки, города и селения (на североамериканском континенте), минералы, животные и растения. Мексика после своего освобождения от многовекового испанского ига присвоила ему титул «Benemerito de la Patria» — человека, имеющего выдающиеся заслуги перед

отечеством. «Гумбольдт сделал естественные науки рычагом духовного освобождения народа», — сказал о нем Отто Уле, один из первых его биографов. «Хотим видеть Гумбольдта», — потребовали революционеры 21 марта 1848 года, когда на балконе Берлинского дворца появился прусский король. Еще добрый десяток лет спустя после смерти Гумбольдта рабочие заводов Борзига (составлявшие самую активную часть берлинского пролетариата), проходя мимо дома на Ораниенбургерштрассе, где он умер, склоняли свои знамена, отдавая дань уважения ученому-демократу, которому были близки и дороги интересы народа.

Если Гёте можно считать самой крупной фигурой в эпоху классической немецкой литературы, создателем всемирной славы немецкой поэзии, то его младший современник стал фигурой такого же масштаба в классическую эпоху немецкой науки, одним из основателей немецкого естествознания.

Начало века научного естествознания еще о заслугах Гумбольдта

С тех пор как Коперник доказал, что Солнце, а не Земля является центром планетной системы, а Джордано Бруно открыл в неподвижных звездах другие «солнца» и за свое «еретическое» учение о бесконечности Вселенной принял мученическую смерть на костре, с тех пор как Кеплер сформулировал три своих закона о движении планет, а Галилей обнаружил, что у Юпитера есть свои «луны», что Солнце вращается и на нем есть «пятна», и установил закономерность смены фаз Венеры, — астрономия прочно утвердила свое ведущее место среди других естественных наук. Когда Гумбольдту исполнилось двенадцать лет, эмигрировавший в Англию немецкий астроном Вильгельм Гершель, прозванный «Колумбом неподвижных звезд», открыл планету Уран.

За дерзким прорывом в звездный мир и проникновением в «тайны неба» исследователям Земли было не угнаться. Великие первооткрыватели XV и XVI веков — Христофор Колумб, Васко да Гама и Фернан Магеллан (чтобы назвать самых выдающихся) — были не учеными, а мореплавателями, искавшими водный путь в страну чудес Индию и к сказочным сокровищам дальних стран. По их следам шли авантюристы, завоеватели, торговцы, миссионеры... Великие морские державы, Португалия и Испания' в первую очередь, искали там золото и серебро, драгоценные камни и экзотические пряности, а потом, завладев колонией, «закрывали» ее для исследователей, и разные там ученые или путешественники вызывали у них глубокое подозрение. Преодолевать этот барьер недоверия путешественникам

было чрезвычайно трудно, и долгое время он служил препятствием научному изучению целых континентов. И лишь Джеймсу Куку, трижды объехавшему Землю на своем паруснике, удалось начать новую эру — эру научных экспедиций, а Александр Гумбольдт стал классическим последователем этого направления. В литературе появился новый жанр — научное описание путешествий; его основатель — молодой немецкий естествоиспытатель и писатель Георг Форстер вместе со своим отцом принимал участие во втором кругосветном плавании Джеймса Кука (1772–1775).

В ту пору ни цельной системы наук о природе, основанных на опыте и фактах, ни научного землеведения как таковых еще не существовало. Людям приходилось довольствоваться любительскими путевыми заметками, которые все чаще стали появляться после рискованного путешествия Марко Поло в Китай (1271–1295), то есть уже за два века до книгопечатания, и постепенно становились достоянием образованной публики. Однако их научная ценность оставалась ограниченной даже в тех случаях, когда авторами этих заметок бывали ученые. Что удивляться: навигационные приборы — зеркальный секстант и хронометр — были изобретены значительно позже: первый в 1731-м, второй — в 1761 году. Географическое описание стран велось по наитию, без всякой системы, на основе случайных и субъективных наблюдений и бытовало в самых прихотливых формах — от живописных рассказов купцов или моряков до разного рода историй, передававшихся устно или письменно из поколения в поколение. География еще не была наукой в строгом смысле слова; методика ее еще не была достаточно развита для того, чтобы давать необходимые сравнительные Данные для познания Земли. Описание стран и континентов делалось весьма схематично. Лишь Карл Риттер, находившийся под большим влиянием

Гумбольдта, явился создателем современной научной географии^[1]. Одним из основателей научной геологии, науки о строении Земли и происходящих в ней изменениях, можно считать учителя Гумбольдта по Фрейбергской горной академии Абраама Готлоба Вернера, который выдвинул теорию классификации пород и одновременно создал предпосылки для систематического исследования слоев Земли.

Главным направлением развития ботаники и зоологии, двух необычайно важных для изучения жизни на Земле наук, была в то время систематизация, строго научное и скрупулезное упорядочение собранного опытным путем обширного эмпирического материала. В 1735 году шведский ученый Карл Линней предложил стройную систему классификации всех известных в ту пору видов растений, а француз Жорж Кювье заложил основы классификации представителей животного мира. Его соотечественник Жорж-Луи Леклерк Бюффон задался целью свести воедино все новейшие открытия естествознания и создать единую систему взглядов на природу. От науки постепенно отделялась теология, что весьма благотворно сказалось на ускорении научного развития.

Несколько слов о физике и химии. Еще в первые годы жизни Гумбольдта ученые, например, верили в существование особого «огненного вещества». Лишь исследования М. В. Ломоносова, а также открытие «огненного воздуха» (то есть кислорода), сделанное Пристли и Шееле почти одновременно, позволили Лавуазье преодолеть лжетеорию флогистона и доказать, что горение — это особый процесс, происходящий с участием кислорода, и что вещество как таковое не исчезает и не возникает из ничего, что изменение веса участвующих в горении элементов обуславливается химическими реакциями и образованием новых соединений. Если Лавуазье

сформулировал закон сохранения материи, то Пристли сделал ценные наблюдения в области обмена веществ в органическом мире. Его работы вместе с работами швейцарца де Соссюра подготовили почву для открытий Юстуса Либиха (в лице которого Гумбольдт очень рано заметил выдающегося химика и которому всячески содействовал) — основоположника целой науки — агрохимии. Успешное практическое применение химии в сельском хозяйстве позволило значительно поднять его продуктивность и послужило одним из аргументов, опровергавших мрачные пророчества Роберта Мальтуса, утверждавшего, что рост народонаселения во всем мире опережает рост производства сельскохозяйственных продуктов и что если такое положение сохранится и в будущем, то люди якобы неминуемо обречены на нищету и голодную смерть. Бурное развитие теоретической химии пришлось как раз на век Гумбольдта; практическое же использование результатов научных исследований началось лишь в годы его глубокой старости. Так, незадолго до его смерти была осуществлена систематическая разработка химических свойств и структуры анилиновых красителей Августом Вильгельмом Гофманом.

Незабываемым событием для молодого Гумбольдта явилось открытие Гальвани «животного электричества» и эксперименты Вольты. Живейший интерес у любознательного юноши вызвали опыты немецких физиков по изучению земного магнетизма, в которые он впоследствии включился сам (заметим, что прогресс в этой области имел большое значение для успеха его магнитометрических измерений в Америке, Азии и Европе); он непосредственно участвовал в разработке теории электричества и магнетизма его друзьями Карлом Фридрихом Гауссом и Вильгельмом Вебером — теми геттингенскими учеными, что в 1833 году соорудили первую в Германии телеграфную линию.

Гумбольдт, которому дважды пришлось пересекать Атлантику под парусами, приветствовал первое плавание судна с паровым двигателем Фултона (1807 г.), как и пробные рейсы по железной дороге между Стоктоном и Дарлингтоном (1825 г.), построенной по проекту Джорджа Стефенсона. В качестве камергера прусского короля Гумбольдту случалось частенько тащиться из Берлина в Потсдам на лошадях, а после 1838 года он охотно прибегал к услугам «парового коня», как окрестили его современники железную дорогу (сам он, надо отдать должное, никогда так ее не называл). К тому времени, когда Гумбольдт раз и навсегда решил осесть в прусской столице, улицы Берлина уже с 1826 года освещались газовыми фонарями. Практическое использование электрической энергии (на основе работ Георга Симона Ома) началось только после смерти Гумбольдта. Открытие спектрального анализа химиком Бунзеном и физиком Кирхгофом, давшее неопровержимые доказательства единства космоса и материи, хотя и было сделано также после смерти Гумбольдта, но явилось фундаментальным подтверждением Гумбольдтовой картины мира.

Опять же после кончины Гумбольдта (несколько месяцев спустя) в Лондоне вышел в свет и эпохальный труд Чарлза Дарвина «О происхождении видов», тоже по-своему явившийся итогом и завершением гумбольдтовской эпохи в науке. Попутно заметим, что Дарвин восхищался Гумбольдтом еще в свои студенческие годы, а после первого путешествия Гумбольдта в тропики «почти боготворил» его, незадолго же до своей смерти он назвал Гумбольдта величайшим путешественником-естествоиспытателем, какой только являлся на свет.

Создание новой картины мира

Внимательно следя за развитием современных ему естественных наук (речь идет об их состоянии на конец XVIII века), Гумбольдт ставит перед собой грандиозную задачу — всесторонне исследовать один из малоизученных регионов земного шара, обобщить полученные результаты, дополнить ими круг уже имеющихся знаний о природе, учитывая новейшие открытия других ученых, с тем чтобы в итоге дать всеобъемлющее описание физической природы космоса, одним словом, как он выразился сам, «объять небо и землю». Это означало: продумать, систематизировать и свести воедино наиболее существенные знания о строении Вселенной, о возникновении планеты Земля, земной коры и земной атмосферы, все важнейшие сведения об отдельных континентах и морях, о жизни растений и животных и об их ареалах, о людях и формах человеческих сообществ в прошлом и настоящем, о влиянии почвенных и климатических условий на органическую жизнь. Целью подобного труда должно было стать познание всеобщих законов природы.

Забегая вперед, скажем, что, претворяя в жизнь этот замысел, Гумбольдт сумел существенно углубить современную ему науку и положить начало целым ее отраслям, таким, например, как сравнительное описание Земли, гидрография, география растений, сравнительная климатология. Целое поколение молодых исследователей обязано было ценными «подсказками» и действенной помощью этому универсальному ученому, а сам он, в свою очередь, всегда использовал новейшие открытия других для ускорения прогресса науки. Леудивительно поэтому, что и поныне в ряде научных отраслей еще пользуются методами, предложенными

Гумбольдтом. Руководя научными изысканиями своих учеников, Гумбольдт умело распределял большие исследовательские задачи, непосильные для одного человека, между многими, с максимальным учетом индивидуальных способностей и склонностей своих подопечных. Гумбольдта можно считать, таким образом, первым великим организатором науки.

Ученые — современники Гумбольдта — удивлялись отдельным его достижениям и открытиям, восхищались поразительной широтой и глубиной его знаний, перенимали его методы, основывавшиеся на точных наблюдениях, опытах и сравнениях, видели в нем ученого огромного масштаба и авторитета. Но одно важнейшее качество они все-таки отчасти упускали из виду — его подлинную универсальность, систематический характер его знаний о природе, а также предельную конкретность этих знаний, ведь, конструируя образ Вселенной, Гумбольдт опирался надмножество частных открытий, сделанных человечеством за всю свою долгую историю, как до него, так и при его жизни, и знал их досконально.

Важно иметь в виду и социальные последствия естественнонаучных трудов Гумбольдта. Многогранная деятельность этого ученого способствовала укреплению социального престижа естествознания и завоеванию им равноправного положения среди традиционно университетских предметов, таких, как теология и философия (тогда уже состязавшихся за статус «главной» дисциплины), с одной стороны, и юриспруденцией, классической филологией и историей — с другой. Тем самым в стенах бастиона догмы и метафизики, выражаясь фигурально, естествознанием была пробита решающая брешь — и это не когда-нибудь, а в эпоху мрачайшей реакции, когда в Германии государственный аппарат, церковь и юнкерство подавляли всякое прогрессивное движение,

когда многие ученые-гуманитарии с одобрением восприняли призыв берлинского юриста и парламентского деятеля Фридриха Юлиуса Шталя (пользовавшегося репутацией рупора реакции в немецких университетах): «Науку надобно повернуть вспять!», с которым тот выступил 12 декабря 1852 года.

Еще одна важная заслуга Гумбольдта заключается в том, что он публичными лекциями в Берлинском университете и Певческой академии общедоступным изложением своих естественнонаучных трудов («Космос», «Картины природы») сломал барьеры между кастовой университетской ученостью и образовательными потребностями народных масс. Он стремился говорить и писать языком, понятным одновременно и буржуа, и рабочему, и офицеру, и князю, и студенту, и профессору (Гумбольдта поэтому многие считают основателем жанра научно-популярной литературы). Массовое посещение берлинцами его лекций в Певческой академии явилось одним из начал народного движения к образованию в Германии.

Вся многогранная деятельность этого ученого пронизана стремлением поставить естествознание на службу людям. Физические, химические, биологические явления в природе он всегда изучал в соотнесении с потребностями человека и общества; под этим же углом он рассматривал все без исключения теоретические дисциплины. Гумбольдт пробуждал в людях любовь к природе, помогал им осознать грядущие глубокие перемены во многих областях человеческой жизни, разъяснял и ту роль, которую призвана сыграть техника в подъеме благосостояния народов.

Системе новых взглядов на мир, пропагандировавшихся Александром Гумбольдтом, суждено было стать «рычагом духовного освобождения народа» прежде всего потому, что его мировоззрение основывалось не на метафизических постулатах, а на

передовых идеях материалистического естествознания, изучавшего разнообразные явления природы в сложном комплексе причинно-следственных связей, в их движении, взаимозависимости и взаимообусловленности.

Пруссия. Берлин конца 70-х годов XVIII века

После Семилетней войны (1756–1763), из которой абсолютистское прусское военно-бюрократическое государство вышло укрепившимся внешнеполитически, но ослабленным внутренне, дела в нем шли все хуже. Страну раздирали острейшие противоречия. Иосиф II Австрийский, император Священной Римской империи германской нации (так тогда именовалась Германия), стремился укрепить центральную власть и подчинить имперской короне строптивые княжества и графства, в то время как Фридрих II, король Пруссии, напротив, всячески препятствовал расширению владений Габсбургов и усилению их влияния, преследуя эти цели и в войнах за баварское наследство (1778–1779), и при создании антиавстрийского княжеского союза (1785). Ослабленная, обедневшая, местами разграбленная в силезских войнах Пруссия^[2] хотя и принимала меры по ускорению экономического развития (появлялись новые отрасли полупромышленного производства: бумагопрядильные, ситценабивные, бумагоделательные фабрики, сахарные заводы, фарфоровые мануфактуры), все же сохранявшееся прикрепление работников к цеху в городах и наследственное подчинение крестьян сеньору в деревнях, а также отсутствие демократических прав у широких слоев населения упорно тормозили социальный прогресс. Ничто не менялось в системе школьного образования, давно изжившей себя и нуждавшейся в коренных реформах; не получали существенной поддержки науки и искусства. Фридрих II, «духовный вассал Вольтера», по меткому определению Гёте, не верил в самую возможность национальной немецкой культуры (даже свои

литературные опусы он сочинял на французском языке). В стране воцарялась атмосфера уныния, провинциальной затхлости и безвременья. Клопшток уехал в Копенгаген, Винкельман — в Рим. Гердер, побывав в Риге и Бюкебурге, при содействии Гёте устроился в Веймаре. За два года до появления на свет Гумбольдта навсегда покинул «самую рабскую страну в Европе» Лессинг, которому прусская столица более, чем кому-либо, обязана была почетным положением одного из ведущих культурных центров Германии в эпоху Просвещения. Выдающемуся немецкому писателю, мыслителю и общественному деятелю у «великого короля» не нашлось даже подходящего места: когда освободилась должность придворного библиотекаря, занять которое подумывал Лессинг, Фридрих II бесцеремонно обошел его.

Гёте, сопровождавшему герцога Карла Августа весной 1778 года в его поездке из Веймара в Берлин на военный парад, в «большом свете» прусской столицы жилось, по его собственным словам, куда менее вольготно, чем в долине Ильма ^[3].

«Нет сомнения, — писал он г-же фон Штейн, — чем выше свет, тем отвратительнее этот фарс, и я мог бы поклясться, что любая непристойность или вульгарная шутка на сцене народного театра не так отталкивает, как ярмарка великих, средних и малых вперемежку». Георг Форстер после нескольких недель пребывания в Берлине делился своим разочарованием столицей в письме к писателю и философу Фридриху Генриху Якоби (от 23 апреля 1779 года). «Мои умозрительные представления о Берлине, — писал он, — оказались ошибочными... Внешнюю, показную сторону я нашел намного красивее, но внутренняя жизнь народа предстала мне в неприглядном виде. Берлин — это, конечно же, один из красивейших городов Европы. Но жители! Гостеприимство и естественное наслаждение

жизнью у них выродилось в бесконечные застолья, гастрономические излишества и мотовство, я бы даже сказал — обжорство; просвещенное свободомыслие — в самодовольное щегольство „опасными“ фразами и глупую браваду... а что хуже всего — среди местных мудрецов и маэстро книжной учености я сплошь и рядом наталкиваюсь на спесь и самомнение... о чем уж еще говорить?... За пять недель я побывал на обедах и ужинах в 50-60 разных домах, и везде мне приходилось нудно рассказывать одно и то же, терпеливо отвечать на одни и те же дежурные вопросы, короче говоря, помогать праздным людям убивать время...»

Тон в прусской столице в те времена задавали чиновничье и офицерское сословия — последнее состояло в основной массе из малообразованных дворян. Духовенство было очень неоднородным: в этой среде встречались и люди просвещенные, прогрессивно настроенные, выступавшие за распространение знаний, и воинствующие мракобесы, и тихие невежды. Что касается образования как такового, то в Берлине оно было не в чести. Лишь считанные единицы, чаще всего из купеческого сословия, обычно те, что недавно выбились из бедных, всерьез и упорно тянулись к учению, а когда не удавалось пробиться к культуре самим, любой ценой стремились дать образование детям.

Важное место в культурной жизни столицы, да и всей страны играл в то время берлинский кружок просветителей. В него входили: близкий Лессингу популярный философ-моралист Мозес Мендельсон; поэт и преподаватель философии Карл Вильгельм Рамлер; профессор йоахимстальской гимназии писатель Иоганн Якоб Энгель; математик и эстетик Иоганн Георг Зульцер, швейцарец по происхождению, в книготорговец, издатель и писатель Фридрих Николаи. Одна из заслуг берлинского кружка состояла в том, что он энергично

противодействовал поощрявшейся двором политике «офранцузивания» культурной и научной жизни прусской столицы, усилению влияния приглашенных сюда французских придворных ученых, художников и писателей. Своего университета Берлин в те годы еще не имел, а основанная Лейбницем Академия наук в годы царствования невежественного «короля солдат» Фридриха Вильгельма I пришла в упадок. При Фридрихе II новым президентом академии был назначен французский математик Мопертюи, чья ограниченность стала мишенью язвительных насмешек Вольтера и чье присутствие при дворе в течение целого полутора десятка лет обходилось казне в 2 тысячи фунтов серебром ежегодно. Тот самый Мопертюи, который собирался доказать существование бога математически. Насмешки по адресу академии сыпались со всех сторон. Не удержался от соблазна и Лессинг, написавший вместе с Мозесом Мендельсоном сатирический памфлет на нее. Да и что удивляться — Прусская академия наук являла собой, по существу, жалкое зрелище, и тот, кто хоть чего-нибудь стоил, уходил из нее. С чувством глубокого разочарования покинул ее, например, талантливый швейцарский математик Эйлер (это после двадцати пяти лет работы в ней), чтобы вернуться в Петербург. Некоторое представление о состоянии прусской академической науки могут дать два таких примера. К тому времени, когда Гумбольдт поступил в университет во Франкфурте-на-Одере (1787 г.), Прусская академия со всей серьезностью изучала изобретение, автор которого предлагал надежный способ добычи золота из «некой влажной соли». А вот фармацевт и химик Андреас Сигизмунд Маргграф, член академии с 1738 года, с 1754 года возглавлявший ее химическую лабораторию, открывший «сладкую соль» в обычной свекле, был публично осмеян, когда вознамерился извлечь этот продукт из местной свеклы. Лишь его

ученику Францу Карлу Ашару удалось продемонстрировать в 1799 году первую сахарную голову, полученную из немецкой свеклы, и тем самым открыть путь развитию важной отрасли сельскохозяйственного производства.

Для людей действительно талантливых Берлин уже перестал быть благодатной почвой. Колыбелью естественных наук в Германии стал Геттинген, гуманитарная мысль процветала в Йене, где кафедру философии возглавляли Фихте, Гегель и Шеллинг, где Рейнгольд пропагандировал философию Канта. Йена и Веймар славились именами Гёте, Шиллера, Гердера и считались центрами немецкой классической литературы. Престиж немецкого естествознания по сравнению с достижениями немецкой гуманитарной мысли был скромным; ведущие центры естественных наук мира находились вообще за пределами Германии. Если взять для примера химию, то право первого города этой науки оспаривали друг у друга в то время Париж и Стокгольм; несколько десятилетий спустя этот спор разрешил немецкий ученый Юстус Либих — о нем еще будет речь впереди — в пользу небольшого провинциального гессенского городка Гиссен. Вступление же Берлина в число столиц мировой науки связывается обычно с именами братьев Гумбольдт — Вильгельма, основателя университета, и Александра, внесшего огромный вклад в развитие естествознания.

В Берлин Александра не тянуло: он не видел там условий для хорошего образования и развития способностей. Но не только поэтому. Общественный климат в стране явно ухудшался, он ухудшался повсеместно, это чувствовали все, но в столице это ощущалось сильнее всего. Падение нравов было очевидным. После смерти Фридриха II (1796 г.) атмосфера в метрополии прусского королевства стала прямо-таки невыносимой. Если ранее управление

государством и командование армией находилось в руках недоверчивого короля-самодержца, то теперь слабый и болезненный Фридрих Вильгельм II отдал все дела на откуп своим влиятельным любовницам и фаворитам. О степени распущенности, царившей в резиденции этого Гогенцоллерна (который, ничуть не смущаясь, сочетался дважды «равным браком», дважды — «неравным» и, кроме того, содержал постоянную высокооплачиваемую любовницу), хорошо сказано у Иоганна Готтфрида Шадова, известного берлинского скульптора, выходца из семьи портного, в письме к литературному критику и писателю Варнхагену фон Энзе: «Во времена Фридриха Вильгельма II распущенность превзошла все мыслимые пределы. Люди буквально утопали в шампанском, поглощали лакомств более, чем когда-либо, и вообще торопились удовлетворить любую блажь. Весь Потсдам стал похож на один огромный бордель; богатые семьи стремились поближе ко двору и королю, своих жен и дочерей предлагали прямо-таки наперебой, и чем выше титул — тем с большим энтузиазмом. Итог получился плачевный: кто вел развратный образ жизни, очень рано отправился на тот свет, многие — самым жалким образом, в их числе и король».

Дух разложения, поразивший придворные круги, проникал также в государственный аппарат и в офицерскую среду. Крестьяне же и ремесленный люд все больше погружались в нищету. Все дела в стране вершил фактически один человек: статс-министр, он же — министр юстиции и начальник духовного департамента — Иоганн Кристоф Вёлльнер, державший безвольного короля в крепкой узде до самой его смерти (в 1797 г.); бывший проповедник, выскочка и интриган, он заработал себе недобрую славу двумя эдиктами — «Эдиктом о религии» и «Эдиктом о цензуре» (1788 г.), ликвидировавшими в стране даже остатки мизерных

свобод. Ханжество и лицемерие насквозь прогнившей верхушки в союзе с лютеранской ортодоксией ожесточенно боролись с проявлениями любого инакомыслия, и в первую очередь с просветительством, видя в нем главного врага.

Детство в Тегеле

Александр Георг фон Гумбольдт, отец знаменитых братьев, был одним из приближенных тогдашнего наследника прусской короны: он служил камергером первой супруги Фридриха Вильгельма, принцессы Елизаветы Брауншвейгской (пока та состояла в браке), а затем устранился от дел и целиком посвятил себя поместью, владельцем коего стал после женитьбы на вдове барона фон Холльведе.

Майора и камергера фон Гумбольдта современники ценили за добропорядочность, ум, положительность в делах, развитое чувство собственного достоинства и не сомневались, что после смерти Фридриха II он как доверенное лицо нового короля сумеет сослужить отечеству добрую службу на политическом поприще. Юнкером в исконном смысле слова, то есть наследным владельцем больших земель и закоренелым консерватором, он не был. Древностью рода он не смог бы похвастать, даже если бы захотел, а в брак вступил, по мнению многих, весьма странный: в чванливых аристократических семействах его детей крестили «ублюдками» из-за бюргерского происхождения их матери. С другой стороны, Георг фон Гумбольдт не стал и одним из тех, кого относили к обуржуазившейся знати. В 1736 году шестнадцатилетним юношей он вступил на службу в армию; прослужив 26 лет, вышел в отставку в чине майора. Через два года, в 1764 году, ему удалось выдвинуться в камергеры при дворе прусского принца. Достаток пришел к нему лишь после свадьбы, которую он отпраздновал в 1766 году. Первый муж баронессы Холльведе, матери братьев Гумбольдт, Фридрих Эрнст фон Холльведе тоже был офицером, как, между прочим, и ее сводный брат. Неудивительно, что в

автобиографических заметках самого Александра фон Гумбольдта есть такие слова: «В юные годы я всегда мечтал о военной карьере», — запись сделана 4 августа 1801 года. Относительно того, как бы сложилась судьба обоих братьев, проживи их отец еще десяток лет, можно строить разные предположения, но вполне вероятно, что именно его ранняя кончина (в 1779 г.) оградила их от соприкосновения с испорченным придворным обществом.

К моменту рождения Вильгельма (22 июня 1767 г.) чета фон Гумбольдт еще жила в Потсдаме, в непосредственной близости от прусского двора; Александр появился на свет два года спустя — 14 сентября 1769 года — уже в Берлине, на Егерштрассе, 22, в доме, который г-жа Мария Элизабет фон Гумбольдт унаследовала от матери^[4]. Крестным отцом младенца стал наследник прусского трона: к тому времени между принцем и бывшим камергером двора еще, очевидно, сохранялись близкие отношения.

В Берлине с тех пор Гумбольдты жили только зимой; летние месяцы они иной раз проводили в поместье Ринтенвальде под Зольдином в Ноймарке, но обычно жили в небольшом замке Тегель на живописном берегу Хафеля, в том месте, где река, разливаясь, образует заводь. Замок этот достался г-же фон Гумбольд! от первого мужа, и она распоряжалась им на правах наследственной аренды. Вильгельм фон Гумбольдт сделает его потом фамильной собственностью, но это произойдет уже много позднее, когда матери давно не будет в живых. Немало сил придется положить Вильгельму на перестройку замка; благодаря тому что руководство реставрационными работами будет отдано в надежные руки известного архитектора фон Шинкеля, это заурядное строение со временем превратится чуть ли не в шедевр архитектуры. Живописный парк был разбит еще по настоянию майора Гумбольдта.

Обязательства арендаторов ухаживать за тузовыми деревьями и заниматься шелководством, обусловленные низкой арендной платой, после рождения Александра были отменены ввиду нерентабельности этого занятия. Оставив шелководство, последний владелец Тегеля занялся выращиванием заморских растений, глядя на расположенные в соседнем лесничестве обширные древесные питомники, поставлявшие в королевские парки и сады экзотические породы.

Эти деланки с диковинной флорой, устроенные прямо в сосновом лесу, видимо, и стали для юного Александра первой встречей с миром таинственных чужестранных растений. Окружной лекарь из Шпандау Эрнст Людаиг Хайн, пользовавшийся семейством Гумбольдт, записал однажды в своем дневнике (30 июля 1781 г.): «Сегодня подробно растолковал молодому Гумбольдту все 24 класса линнеевской системы растений». Был ли этот первый урок решающим толчком, определившим интерес Александра к ботанике, сказать трудно. Наверное, нет. Ибо, вспоминая потом этот эпизод, Гумбольдт так оценил успех педагогических усилий старика Хайна: «Через несколько дней увлечение ботаникой улетучилось начисто у нас обоих». (Дневниковая запись, сделанная 4 августа 1801 года в Санта Фе на Кубе.)

Более весомую роль в обращении Гумбольдта к природе сыграло, возможно, совсем другое. В июне 1792 года, вернувшись в Тегель после долгого отсутствия, он писал Фрайеслебену, однокашнику по Фрейбергской горной академии: «Покрытые виноградниками холмы (здесь их любят называть горами), обширные посадки экзотических деревьев, луга вокруг замка, на редкость живописные берега озера делают это место красивейшим в округе. Добавьте к этому уют и приятную атмосферу в доме, и вы вдвойне удивитесь, если я скажу, что всякий раз, как я сюда приезжаю, именно это

место пробуждает во мне невыносимо тоскливые чувства. Вы, наверное, помните наши беседы в тот день, когда мы возвращались из Милишауэра в Теплиц. Вы еще с таким участием слушали историю моих юных лет. Здесь, в Тегеле, я провел большую часть этой печальной жизни, среди людей, любивших меня и желавших мне добра, но с которыми, увы, меня не связывали никакие духовные узы. Вечно мучимый одиночеством, я ежеминутно принуждал себя к ответной любезности, постоянно притворялся, чем-то жертвовал и т. д. И даже теперь, когда я могу жить здесь совершенно свободно, не боясь ничьей назойливости в момент, когда я хочу безоглядно предаться наслаждению чудесной, чарующей природой, в памяти моей всплывают тягостные воспоминания детства, которые будит во мне здесь каждый предмет. Но как ни тоскливы эти воспоминания, они дороги мне тем, что именно жизнь в Тегеле так повлияла на мой характер и способствовала устремлению моего духа на изучение природы».

Подобные высказывания молодого Гумбольдта не редкость. Мы, очевидно, не ошибемся, если в их чувствительно меланхоличном тоне заподозрим дань литературной моде времени — сентиментализму и предромантизму, культивировавшим обостренную чувствительность, мотивы безотчетной грусти, одиночества, отшельничества, роковых тайн. Бесспорно, однако, и то, что детство Александра не было безоблачным и беспечальным.

Первые воспитатели, обучавшие его вместе с братом, предъявляли к робкому и застенчивому мальчику, не умевшему схватывать все на лету и не отличавшемуся крепким здоровьем, те же требования, что и к двумя годами старшему Вильгельму, выделявшемуся сметливостью, открытостью и живостью характера. Г-жа фон Гумбольдт целенаправленно и методично готовила их к государственной службе; она и

после смерти супруга поддерживала связи со двором, и ей хотелось ввести в «большой свет» своих сыновей от второго брака, тем более что сын от первого брака, Генрих Фридрих Людвиг Фердинанд фон Холльведе (родившийся в 1763 году), ее честолюбивых надежд не оправдал. Мать Гумбольдтов была женщиной холодной и суровой; любовь к сыновьям, если такое чувство ей и было ведомо, она ничем не выказывала и в обращении с ними прежде всего требовала дисциплины и строгого соблюдения этикета. Правда, несмотря на все ее усилия, воспитать в младшем сыне чувство сословной гордости ей так и не удалось.

Однажды — согласно семейному преданию — заносчивая тетушка-аристократка, супруга камергера его величества, спросила Александра с издевкой, не собирается ли тот случаем пойти в аптекари, на что одиннадцатилетний мальчик, коллекционер камешков и растений, ответил не без дерзости: «Уж лучше в аптекари, чем в камергеры».

Мать Александра и Вильгельма Мария Элизабет фон Гумбольдт происходила из семьи французских иммигрантов по фамилии Коломб и — как знать — возможно еще и поэтому в вопросах воспитания была сторонницей руссоизма, имевшего, впрочем, к тому времени своих поборников и среди немецких педагогов. Не случайно первым домашним учителем, приглашенным в Тегель к шестилетнему сводному брату маленьких Гумбольдтов (еще при жизни майора, в 1769 году, когда Александр еще только появился на свет), был Иоахим Генрих Кампе — тот самый Кампе, известный писатель и педагог, что создал и возглавил потом в Гамбурге педагогический институт. В семействе Гумбольдт Кампе пробыл недолго; в августе 1772 года он нашел место проповедника в Потсдаме; в 1775 году он на несколько недель возвращался в Тегель. Непосредственного влияния на формирование личности

Александра, однако, он, судя по всему, не оказал, хотя и говорят, что его вышедшая в 1779 году книга (вольная переработка романа Даниэля Дефо «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» с продолжением [\[5\]](#)) приводила Александра в восторг. Сам младший Гумбольдт не называет Кампе в числе своих учителей. Искусство владения гусиным пером он осваивал уже под присмотром Генриха Сигизмунда Кобланка, позднее ставшего проповедником в берлинской церкви св. Луизы.

С одним учителем семейству повезло особенно: за два года до своей смерти Георг фон Гумбольдт обратил внимание на одного молодого человека, показавшегося ему весьма даровитым. Это был двадцатилетний Кристиан Кунт, сын протестантского священника, хорошо «разбиравшийся» в изящных искусствах, в древних и новых языках, но бросивший учение из-за недостатка средств. Отец Гумбольдтов предложил ему исполнять обязанности гофмейстера при сыновьях и пасынке и роль секретаря при нем самом. Когда майор умер, оставив вдову с двумя сыновьями (одному было десять, другому — Двенадцать лет), и ей ко всем неурядицам прибавилась еще необходимость присматривать за большим имением, заботы о хозяйстве Кунт взял на себя; он оказался на редкость толковым и добросовестным управляющим, мудрым советчиком г-жи фон Гумбольдт во всех ее затруднениях и способным воспитателем ее детей. Вскоре она настолько привыкла к его помощи, что в повседневных делах и заботах просто обойтись не могла без этого умного и скромного человека; мальчики же получили в его лице на всю жизнь надежного доверенного, осмотрительно распорядившегося их имуществом, и не менее надежного и чуткого друга.

Кунт был человеком свободомыслящим, в котором патриотизм сочетался с широтой и демократизмом

воззрений. Многие годы спустя, уже при содействии Вильгельма, он станет одним из ближайших сподвижников барона фон Штейна, а будучи облечен властью видного государственного чиновника, будет упорно бороться за свободу ремесел и за устранение внутренних таможенных барьеров в тогдашней Германии.

Войдя в роль домашнего учителя, Кунт очень скоро уловил разницу в характере и способностях обоих мальчиков и в своих учебных и воспитательных программах умело ее учитывал. Благоприятно сказывались на детях и его личные качества — у Кунта было чему поучиться. Особенно настойчиво учитель развивал и укреплял в юных питомцах тягу к знаниям, к труду, к общественно полезной деятельности, ставя им в пример людей, чье высокое положение определялось исключительно их талантами, трудолюбием, творческой энергией, личными заслугами и пользой, которую они приносят обществу. И все же, несмотря на все добрые намерения, привить к себе любовь своих подопечных Кунту так и не удалось. Хотя их уважение к нему и переросло потом в крепкую дружбу, но его всегдашняя готовность идти во всем на поводу у г-жи фон Гумбольдт и услужливо подталкивать ее сыновей к будущей чиновничьей карьере постоянно вызывала у них неудовольствие и противодействие.

Годы возмужания в Берлине

Пришло время, и г-жа фон Гумбольдт согласилась с Кунтом, что рамки Тегеля стали узковаты для ее детей и что им нужны новые, более сведущие учителя. И вот в 1783 году гофмейстер с учениками едет в столицу и поселяется с ними в доме на Егерштрассе. Там он подыскивает братьям наставников из числа лучших берлинских преподавателей, а на себя берет, так сказать, общее руководство и организационную часть.

Если бы читатель увидел один только перечень дисциплин, коим обучали молодых Гумбольдтов с 1783 по 1787 год, он весьма удивился бы как его длине и пестроте, так и уровню требований, предъявлявшихся к ученикам. Благо что семья не знала материальных забот и г-же фон Гумбольдт не приходилось ломать голову над тем, как расплачиваться с маститыми педагогами. А чего стоило такое обучение, можно себе представить.

Насколько разнообразной была учебная программа братьев, настолько же пестрым был и состав их берлинских наставников. Среди них были люди прогрессивно мыслящие, известные деятели «берлинского просвещения», как, например, писатель и философ Иоганн Якоб Энгель, и люди умеренных взглядов — как проповедник, а позднее профессор Франкфуртского-на-Одере университета Иозиас Лёффлер, выступавший против церковной ортодоксии, или математик Эрнст Готтфрид Фишер, и реакционеры вроде преподавателя общественных наук, бывшего пажеского гофмейстера при брате Фридриха II, тайного архивариуса и военного советника в департаменте иностранных дел — Кристиана Вильгельма Дома.

Александр был очень старателен в учебе, но, как ни старался, ожидания своего гофмейстера и учителей

оправдывал не вполне — схватывать все на лету он по-прежнему не умел. К тому же часто хворал и физически был не очень крепок. Развивался он медленно — настолько, что даже заронил в Кунте сомнения в целесообразности поступления его в университет. Сам Гумбольдт признавался потом в одном из писем к другу юности Фрайеслебену, что в ранние годы детства воспитатели приходили от него в отчаяние и не верили, что в нем могут развиться хотя бы заурядные способности, и что лишь в годы позднего детства в его голове забрезжил свет.

В оправдание «маленького аптекаря», как, говорят, называли Александра в детские годы, следует добавить, что в выборе учебного материала и темпа занятий решающий голос принадлежал старшему, более способному брату. Например, Вильгельм очень увлекался логикой и философией, в то время как Александра отвлеченные умствования не занимали, он любил бездумную созерцательность или же, наоборот, предавался деятельным занятиям, искал новых впечатлений, любил что-то узнавать на практическом опыте. Георг Форстер, считавший берлинских интеллектуалов людьми поверхностными, писал еще в 1790 году своему тестю Кристиану Готтлобу Гейне: «Я убежден, что у него (Александра. — Г. Ш.) слишком деятелен дух и из-за этого страдает тело и что господа берлинцы своим логическим воспитанием просто заморочили ему голову».

Жажда знаний у Александра Гумбольдта была не такого рода, чтобы ее могли утолить ученые филологи или камералисты, как называли в те времена специалистов по финансам, экономике и управлению. Его любопытство было устремлено скорее на живую природу, раскрывавшуюся ему в местных и чужеземных растениях и манящую в неизведанные края. «Наивный интерес к причудливой форме материков и морей на

карте мира, — читаем мы в „Космосе“ (в автобиографическом экскурсе), — красочные изображения пальм и ливанских кедров в иллюстрированной Библии, желание увидеть южные созвездия, которых нет на нашей карте неба, — все это способно заронить в душу ребенка ростки страсти к дальним странствиям. Если бы меня попросили вспомнить, что именно послужило первым толчком, породившим непобедимое влечение к тропикам, мне пришлось бы назвать описания экваториальных островов у Георга Форстера^[6], картину Ходжа с изображением берегов Ганга, висевшую в доме сэра Уоррена Гастингса в Лондоне^[7], и огромное драконовое дерево в Берлинском ботаническом саду».

Заметный след в душе молодого Гумбольдта оставили те люди из немногочисленной образованной берлинской публики, которые не только отдавали дань философским идеям эпохи, но и живо интересовались прогрессом естественных наук. Одним из них был очередной наставник братьев — врач еврейского происхождения Маркус Герц, ученик Канта, читавший в доме знаменитого философа что-то вроде лекции по физике и устраивавший для развлечения гостей разные эксперименты. Александр называл его впоследствии «дорогим учителем, другом и наставником». Любопытно, что в семействе Герц братья Гумбольдт интересовались не одним и тем же: в то время как Александру дороже всего был сам учитель, его уроки, увлеченность предметом, знания, Вильгельм искал общества его жены — Генриетты Герц, знаменитой красавицы, португалки по происхождению. Впрочем, Александр тоже не без удовольствия кокетничал с ней и в часы развлечений помогал ей, например, осваивать трудные па менуэта.

Генриетта Герц и Доротея Фейт (дочь Мозеса Мендельсона, впоследствии вышедшая замуж за Фридриха Шлегеля) устраивали у себя салоны, где

собирались молодые писатели и ученые, молодые люди незнатного происхождения, тянувшиеся к знаниям, порвавшие со своим сословием дворяне, чувствительные юноши и женщины-интеллектуалки.

Вскоре оба молодых Гумбольдта вошли в узкий круг друзей Генриетты Герц и Рахили Левин-Варнхаген, с которой они познакомились в доме Маркуса Герца. Надо думать, что среди знакомых Гумбольдтов находились и такие, в которых силен был прусский националистический дух и которые с неодобрением наблюдали за легкомысленными «шашнями» братьев с этой «сомнительной компанией».

В интеллектуальной атмосфере берлинских литературных салонов обнаружилась и развилась еще одна характерная черта Александра — подчеркнуто ироничный склад ума, благодаря которому позднее он снискал себе славу язвительного насмешника, а к старости — мастера устных сатирических рассказов и забавных историй. Именно эта черта плюс обостренное чувство реальности, укрепившееся в нем от общения с берлинцами, коим, говорят, оно очень свойственно, объясняет нам холодок в его отношении ко всякому мечтательному идеализму, восторженности и самонадеянности. Оно позволяло Гумбольдту-ученому интуитивно и безошибочно нащупывать верные пути и в изучении сложных явлений природы, и в анализе противоречий современного ему общества (оно же дает себя знать в насмешливых замечаниях социально-критического характера, рассыпанных в дневниках Гумбольдта последних десятилетий его жизни).

Месяцы скуки во Франкфурте-на-Одере

Осенью 1787 года, когда Вильгельму исполнилось двадцать, а Александру — восемнадцать лет, г-жа фон Гумбольдт решила, что настало время послать сыновей в университет. Поскольку ни один из прусских королей еще не удосужился украсить столицу подобным учебным заведением, то молодым людям неизбежно предстояла разлука с отчим домом.

В том, что мать выбрала университет во Франкфурте-на-Одере, сыграла свою роль не только географическая близость этого города к Берлину, но и то обстоятельство, что там преподавал профессор теологии Иозиас Лёффлер, один из их прежних берлинских наставников. Лёффлер без колебаний выразил готовность приютить у себя двух бывших учеников и обеспечить их пропитанием вместе с гофмейстером (не отказываясь, правда, и от платы за свои услуги, но братьев это не интересовало).

Впечатления от первых недель занятий в этом университете не очень, мягко говоря, обнадеживали. «Если у королевы наук (философии. — Г. Ш.) где-нибудь и есть свой храм, — писал Александр домой, — то, уж конечно, не в этом городе».

Пришедший в упадок университет пользовался «хорошей» репутацией только в одном отношении: в нем легко было получить докторскую степень. Студентов насчитывалось в нем от двух до двух с половиной сотен, библиотека находилась в плачевном состоянии, а естественнонаучных кабинетов, лабораторий и коллекций как-то даже не имелось вовсе.

Вильгельм изучал право, Александр — по тогдашней терминологии — камеральные науки, то есть экономику,

финансы и управление, однако посещал вместе с братом лекции по философии и языкознанию, а лекции по естественным наукам слушал один. Александр был в учебе «весьма усерден», как сообщал его старший брат Генриетте Герц. «Ему здесь скучно, но он не очень этим огорчается. Он не сидит на месте, везде бывает, повсюду бегаёт, над всем насмешничает, язвит и издевается». А позднее, в феврале 1789 года, в письме к ней уже из Геттингена Вильгельм писал: «Он очень славный малый, и от него в свое время определенно можно ждать много пользы. Хотя порой он и кажется злым, но сердце у него доброе. Его главный недостаток — тщеславие и страсть чем-нибудь блеснуть».

Итак, обоим братьям на собственном опыте пришлось познать, что само название еще не делает учебное заведение университетом, как не обязательно способствует его славе и весьма почтенный возраст (а у франкфуртского храма науки была почти трехсотлетняя история). Кстати сказать, ни один из профессоров, чьи лекции молодые Гумбольдты слушали во Франкфурте-на-Одере, так и не вошел в историю своей науки. А их старый знакомый Лёффлер в конце концов предпочел-таки сменить здешнюю кафедру на должность советника консистории в Готе (в 1788 году).

Отправившись после первого семестра на каникулы к матери в Тегель, они решили во Франкфурт больше не возвращаться. Вильгельм, отпраздновав пасху в 1788 году, уехал в Геттинген. Александр последует за ним весной 1789 года, проведя год в Берлине. А пока он как будущий камералист собирался посвятить ближайшие несколько месяцев изучению некоторых вопросов практического применения математики, физики и химии в промышленном производстве, ориентируясь прежде всего на берлинскую текстильную промышленность.

Берлин. Увлечение ботаникой

Как ни усердствовал Александр в изучении технологии текстильного производства и практической экономики этой отрасли, его по-прежнему интересовало и многое другое. «Весьма серьезно», по его собственным словам, он занимался греческим, как говорится в его автобиографии, написанной специально для энциклопедии Брокгауза — издания 1853 года, — поскольку греческий, по мнению Гумбольдта-студента времен «берлинского семестра», есть «основа основ всякой учености». Таким занятиям, вероятно, отчасти благоприятствовала и общая атмосфера возрождения интереса к античности, пробужденного в Европе Винкельманом и Лессингом.

К «камералистским» и классическим студиям младшего Гумбольдта незаметно прибавилось изучение местной природы. Он искал разные мхи, лишайники и грибы в Тиргартене, вдоль и поперек исходил ботанический сад, который был тогда одним из самых молодых в Германии. Он учился рисовать с натуры, осваивал граверное искусство — ему многое хотелось запечатлеть на бумаге.

Особое значение для возрастающего интереса Гумбольдта к ботанике имела встреча с ученым-ботаником Карлом Людвигом Вильденовом. Вильденов был на четыре года старше Александра; медицину и ботанику он изучал в Галле и очень рано проявил склонность к систематизации и классификации растений. Почувствовав в Гумбольдте заинтересованного ученика и единомышленника, он стал опекать Александра и помогать ему. Забегая немного вперед, скажем, что Вильденов, вошедший в историю науки как основатель дендрологии и

бессменный директор Берлинского ботанического сада, потом стал одним из ближайших друзей и сподвижников Гумбольдта в его научной деятельности.

О настроениях и образе мыслей Гумбольдта этой поры может дать представление отрывок из его письма к франкфуртскому однокашнику Вильгельму Габриэлю Вегенеру, теологу, датированного 25 февраля 1789 года. «Я только что вернулся с одинокой прогулки по Тиргартену, — писал он, — где я искал мхи, лишайники и грибки, для которых сейчас наступило лето. Что ни говори, а бродить вот так в одиночку все же немного грустно. Но, с другой стороны, в отрешенном общении с природой есть какое-то невыразимое очарование. Целиком отдаешься чистейшему и невиннейшему из наслаждений, окруженный тысячами существ, радующихся жизни (блаженная мысль лейбницевской философии)... Такие наблюдения, дорогой брат, всегда погружают меня в сладостную меланхолию. Мой друг Вилльденов — наверное, единственный человек, кому мое настроение созвучно. Однако мелкие дела и заботы препятствуют нам рука об руку вступать в храм природы и делать это чаще, чем нам удастся. Подумать только — среди остальных 145 тысяч берлинцев вряд ли сыскать четверых, кто интересовался бы наукой о природе хотя бы между прочим или для развлечения. А ведь сколь многим полагалось бы изучать ее уже по профессии, например врачам или жалкому народцу камералистов. Чем больше становится людей на земном шаре, чем дороже продукты питания и чем тяжелее бремя разлаженных финансов, тем энергичнее стоило бы направлять свои мысли на поиски новых источников продовольствия, чтобы как-то покрывать обступающий нас со всех сторон их дефицит. Как много, необозримо много ресурсов остается в природе безо всякого употребления, тогда как разработка их могла бы дать тысячам людей пищу и занятие. Многие продукты,

доставляемые к нам из дальних стран, мы имеем у себя дома и топчем их ногами, пока чистая случайность не откроет нам на них глаза, и если не помешает другая, то это открытие, опять же благодаря случаю, становится (что бывает реже) всеобщим достоянием. Большинство людей считают, что ботаника — наука для врачей, а коли ты не врач, то можешь заниматься ею только для собственного удовольствия или в целях расширения кругозора (а уж польза такого рода понятна далеко не каждому). Я вообще считаю ее одним из тех занятий, от которых человечество может ожидать больше выгоды, чем от любых других. Нелепо думать, что те несколько растений, которые растут у нас в огороде (я говорю „несколько“ в сравнении с двадцатью тысячами, покрывающими наш земной шар), содержат все ценные вещества, вложенные доброй нашей природой в растительный мир для удовлетворения наших потребностей. Везде я вижу человеческий разум в путях одних и тех же заблуждений, везде ему мнится, что он нашел истину и что улучшать или открывать ему больше нечего. Он избегает любых научных изысканий, поскольку убежден, что все давно исследовано. Так обстоит дело и в религии, и в политике — повсюду, где последнее слово отдается толпе. То, что я сказал о ботанике, — не априорные умозаключения. Нет, об этом говорит судьба великих открытий, которые, например, я сам обнаруживаю в работах древних знатоков ботаники и которые проверены и подтверждены учеными химиками и технологами в наши дни. Но какой прок от этих открытий, если нет средств и путей сделать их общедоступными и полезными для всех? Я, наверное, должен просить прощения, дорогой брат, что докучаю предметами, тебе, возможно, не так уж интересными. Мне же они важны потому, что я готовлю материал для большой работы, где будут собраны воедино все основные сведения о растениях (за исключением

лекарственных). Один я с нею не справлюсь — потребуется собрать по крупицам огромную массу данных, понадобятся обширные ботанические знания (моих тут явно не хватит), поэтому я стремлюсь привлечь к своей работе побольше людей. Пока что тружусь для собственного удовольствия и часто натываюсь на такие вещи, что, выражаясь простонародно, разеваю рот от удивления. О своих планах напишу позднее. Можешь не бояться, что я как автор сразу стану знаменитостью. Я думаю, что в ближайшие лет десять меня минует чаша сия, если только мне не удастся открыть что-то уж очень новое и важное...»

**Студент — горняк — искатель
первооснов жизни 1789-1796**

Студент в Геттингене

«Моя академическая жизнь начинается заново», — писал Гумбольдт Вегенеру перед отъездом из Берлина в конце марта 1789 года. «И теперь все обстоит со мной иначе. Я готов сделать первый шаг в большой мир, но только без наставников, совершенно самостоятельно. Если человека долго водят на помочах, как ребенка, то он рано или поздно начинает тяготиться своей участью и жаждет случая, чтобы употребить свои силы по собственному усмотрению, а будучи наконец предоставлен самому себе, стать творцом своего счастья — или несчастья. С некоторой уверенностью я уже предчувствую приближение такого момента. В каких бы затруднительных обстоятельствах я ни находился, у меня было достаточно возможностей наблюдать людей вокруг. Не похоже, чтобы меня могла увлечь сильная страсть. Серьезные дела, и прежде всего изучение природы, должны удерживать меня от соблазнов чувственности».

Учебный год в Геттингене (с апреля 1789-го по март 1790 года) прошел в напряженных трудах. Молодой университет, созданный в 1737 году, уже успел занять ведущее место среди учебных заведений страны. Классическая филология и другие гуманитарные дисциплины хорошо уживались там с математикой, медициной и естествознанием. То, что университет был основан много позже других, пошло ему только на пользу: молодым наукам в нем легче было утвердиться рядом с философией, потеснившей теологию и занимавшей теперь господствующее положение среди учебных дисциплин.

Вильгельма в ученых кругах Геттингена к тому времени уже успели узнать и оценить, и благодаря

брату у Александра завязались знакомства с известнейшими профессорами университета.

Впрочем, самое важное в его жизни знакомство было не с профессором и состоялось не в Геттингене, а в Майнце и притом годом позже, во время поездки по Рейну, — с ученым, путешественником и писателем Йоганном Георгом Форстером, зятем геттингенского преподавателя, историка античности Кристиана Готтлоба Гейне.

О самом Гейне Гумбольдт отзывался необычайно высоко. «Гейне — тот человек, которому наш век обязан больше, чем кому-либо, — писал он Вегенеру с юношеским пылом, воодушевленный широтой открывающихся ему в Геттингене горизонтов знания. — В нем редкое сочетание редких качеств: просвещенной религиозности, обширнейших знаний и либеральности мысли, в его лекциях научная археология соединяется с филологией и эстетикой». На семинарах Гейне Александр сидел рядом с братом и, забыв обо всем на свете, как замороженный слушал этого удивительного человека, происходившего из бедной семьи и сумевшего не только пробиться к культуре, но и стать основателем целой науки об эпохе классической древности.

Критичнее отзывался младший Гумбольдт об историке Людвиге Тимотеусе Шпиттлере; этот профессор имеет обыкновение «в витиеватых и вычурных выражениях» рассуждать, например, о народах как о «бурных потоках», о прусском королевском доме — как о «древнем дубе, под сенью которого находит прибежище каждый свободолюбивый немец». Его лекции Александр слушал не без иронии: он приехал в Геттинген, уже насмотревшись на иные картины из жизни прусского двора.

Красочно и остроумно описывал он в письмах к друзьям всех своих учителей, немного щадя лишь юристов и «камералистов». Из последних, правда,

только один — технолог и специалист по сельскому хозяйству Йоганн Бекманн — отвечал представлениям Гумбольдта о том, каким должен быть человек, преподающий основы государственной экономической политики, призванной служить прогрессу человечества.

Захватывающе, почти магически действовали на Александра и блестящие лекции, и незаурядная личность тогда еще совсем молодого естествоиспытателя Йоганна Фридриха Блюменбаха. В 1776 году в возрасте двадцати четырех лет он прибыл в Геттинген, где стал профессором медицины и инспектором естественнонаучных коллекций; к тому времени им была уже заложена основа всемирно знаменитой впоследствии коллекции черепов, и среди любителей наук о природе он пользовался репутацией *Magister Germaniae*. Много лет спустя, на всегерманском съезде естествоиспытателей и врачей осенью 1828 года, Гумбольдт высоко отозвался о «глубокоуважаемом учителе» — как об ученом, «который своими трудами и живым словом всюду будил любовь к сравнительной анатомии, физиологии, к естествознанию вообще и на протяжении полувека бережно лелеял эту любовь, как священный огонь».

Благотворное влияние оказали на молодого Гумбольдта и два других преподавателя — математик Абрагам Готтгельф Кестнер и физик Георг Кристоф Лихтенберг. Оба были широкообразованными и очень одаренными людьми, блестяще владевшими несколькими предметами (математикой, физикой, астрономией), да к тому же талантливыми литераторами. Убежденные сторонники просветительских идей, они в своих произведениях высмеивали социальные пороки и эстетические вкусы своего времени. Сословная спесь, религиозное лицемерие, схоластическая псевдоученость, патетика и сентиментальная сверхчувствительность (вошедшая в

моду вместе с движением «Бури и натиска») подвергались едкому и остроумному осмеянию в афоризмах Лихтенберга и эпиграммах Кестнера. Они оба, между прочим, слыли опасными острословами, и в литературных кругах Германии их немало побаивались.

Кестнер, общение с которым давало Александру богатую пищу для собственных упражнений в остроумии, представлял, по его словам, «комичнейшую фигуру, какую только можно сыскать на земле, и в то же время это добродушнейший и милейший человек». «С кафедры Кестнер говорит невнятно, — писал Гумбольдт Вегенеру, — потому что у него уже нет зубов. Он всегда острит, посмеивается над самим собой, но так, что „соль“ его шуток редко доходит до слушателей... Перестать острить на чужой счет он просто не способен, но обычно, отпустив рискованную шутку, испытывает такие угрызения совести, что тут же просит прощения». Сам Гумбольдт, кстати, в отличие от Кестнера, даже в почтенном возрасте, при славе и орденах, в подобной ситуации никогда не извинялся — поступиться самолюбием было, видимо, выше его сил.

Напряженная учеба и общение с эрудированными преподавателями способствовали быстрому интеллектуальному росту Александра. Что же касается обычной студенческой корпоративной суеты, то Гумбольдт как-то чурался ее, хотя позднее (в 1801 г.) в своих автобиографических заметках, вспоминая годы учения, писал: «Общество пошлых людей и тайны ордена унитаристов привлекали меня самым непростительным образом».

Примечательно, что именно в это время младший Гумбольдт переживал какой-то внутренний кризис, о чем можно судить по вышеупомянутым заметкам, «усугублявшийся отсутствием Вильгельма» (брат вместе с Иоганном Генрихом Кампе находился в Париже, чтобы ближе познакомиться с послереволюционной Францией).

«Я писал друзьям сумасшедшие письма и с каждым днем все больше переставал сам себя понимать».

Унитаристы, о которых упоминает Александр, были одним из многих студенческих землячеств, мало чем отличавшимся от остальных, более известных, основывавшимся на принципе дружбы и декларировавшим стремление к свободе в духе Руссо. Унитаристы, думается, сыграли не последнюю роль в том, что именно в геттингенский период у общительного Гумбольдта появляется привычка осторожничать в выборе новых друзей из числа тех, кому не приходилось рассчитывать на его уважение ни благодаря большим знаниям, ни благодаря каким-либо выдающимся качествам.

О юношеских романтических увлечениях Александра нам известно мало. Бывал ли он влюблен? Дошедшие до нас скудные биографические сведения, как ни странно, дают повод сомневаться в этом. («У него никогда не было сильной страсти», — утверждает Вильгельм, полагая, что причиной тому, видимо, чувствительное самолюбие брата.) Легких амурных приключений Александр не искал. Вырвавшись из-под повседневной опеки Кунта и бдительного надзора матери, он совсем не стремился воспользоваться полученной свободой каким-нибудь недостойным образом. Духовное общение с образованными людьми, расширявшее его кругозор и утолявшее жажду новых знаний, — вот в чем он по-настоящему нуждался. Он часто совершал небольшие путешествия по окрестностям в целях знакомства с местной природой, добирался даже до Гессена и Нижней Саксонии, много времени, конечно, проводил над книгами, стараясь не отставать в учебе от брата. «Должен признать, — писал он о Вильгельме, — что и сам начинаю восхищаться его теперешней разносторонней эрудицией». Не этим ли объясняется тот факт, что греческой литературе, да и вообще

классической филологии Александр уделял гораздо больше времени, чем другим дисциплинам? Он увлеченно изучал естественнонаучные и натурфилософские взгляды древних, привлекавших его стремлением к целостному познанию мира, изучал историю человеческих попыток постичь тайны природы и поставить ее себе на службу. В этот период им была написана (не сохранившаяся до наших дней) статья «О ткацком станке латинян и греков», в которой он выдвинул гипотезу, что «этот древнейший памятник человеческого ремесла и культуры попал на берега Средиземного моря через сарацин».

Хотя университет давал достаточно широкое общее образование, все же по своей ориентации оно было «классическим». Круг же интересов Гумбольдта-младшего был не только несравненно шире, но и вообще не укладывался в какие-то определенные рамки: уже в студенческие годы проявился один из важнейших его задатков (и одна из существенных особенностей его духовной конституции) — универсальность интересов. Ему было безразлично буквально все, что непосредственно касалось отношений человека и природы; в силу какой-то внутренней склонности Александр беспрестанно задавал себе вопрос о том, как использовать для потребностей человека богатства окружающего мира — будь то камни, растения или животный мир. Гуманизм мировоззрения Александра Гумбольдта был, так сказать, более земным и, если угодно, более прозаическим, чем у его брата, а отношение к природе — в каком-то смысле более утилитарным.

Вместе с тем в нем было куда больше скептицизма, чем в Вильгельме, — человеку эмоциональном и увлекающемся, способном, например, в разгар революции во Франции взять и поехать в Париж, чтобы,

по словам Кампе, «поприсутствовать на поминках по французскому абсолютизму».

В конце сентября 1789 года в обществе молодого голландского врача и ботаника Стевена Яна ван Гёнса Александр отправился в пятидневное путешествие по центральной Германии с целью изучения ее природных особенностей и знакомства с некоторыми достопримечательностями. В этой поездке ему удалось многое узнать, многое посмотреть, встретиться с интересными людьми. В Касселе была первая остановка, затем дорога шла через университетские города Марбург, Гиссен, Франкфурт-на-Майне — на юг, в Дармштадт, еще дальше — по горным дорогам в Гейдельберг, Шпейер, Брухзаль, Маннгейм, с короткими заездами в места, представлявшие для Гумбольдта какой-то особый интерес, например в ртутные рудники в Пфальц-Цвейбрюккене. На обратном пути вниз по Рейну Александр со своим спутником восемь дней гостил в Майнце в доме Георга Форстера. Затем они добрались до Бонна, а оттуда уже сухопутным путем двигались по направлению к Кёльну и Пемпельфорту (ныне окраина Дюссельдорфа), где они пробыли тоже восемь дней, чтобы затем (не считая небольших зигзагов и отклонений) взять курс через Дуйсбург, Мюнстер, Падерборн и Кассель на Геттинген. Другой приятной и полезной встречей на этом пути была встреча с философом Фридрихом Генрихом Якоби, состоявшим в дружеских отношениях со старшим братом Александра. Рекомендательное письмо Вильгельма к Якоби содержит любопытные штрихи к портрету младшего Гумбольдта тех лет.

«Сие письмо, дорогой друг, вы получите из рук моего брата. О нем я вам говорил уже кое-что в Ганновере и смею надеяться, что вы найдете мои слова о нем верными. Я бесконечно люблю его за необычайную доброту сердца, за его характер и привязанность ко

мне, ценю за широту и основательность знаний, за живое усердие, с которым он, ни на что не отвлекаясь, стремится их умножать и извлекать из них пользу. Его слабости, являющиеся отчасти следствием, отчасти источником его лучших качеств, вы скоро заметите сами и (зная по собственному опыту вашу снисходительность), хочу верить, найдете возможным их простить. Я очень прошу вас принять его с той же добротой, которая сделала первый день нашего знакомства в Пемпельфорте одним из самых радостных в моей жизни, и удостоить его дружеским общением, к которому он так истово стремится. Надеюсь также, что в предметах, кои вы могли бы затронуть в беседе с ним, не возникнет недостатка. Он, правда, мало занимался метафизикой и только недавно начал штудировать Канта. Однако к любой иной беседе, где мысль непосредственно касается фактов, у него, без сомнения, есть вкус, и вы, быть может, заинтересуетесь его живой восприимчивостью, открытостью суждений и остроумием — а этого в непринужденной обстановке ему не занимать. Собственно научные его познания распространяются на высшую математику, природоведение, химию, ботанику и прежде всего технологию. Наряду с этим он занимается филологией, и Гейне время от времени обращается к нему за разъяснениями таких мест в текстах древних, где требуются основательные знания их искусств и ремесел. Между ним и мною вы обнаружите очевидное несходство. Получив совершенно одинаковое воспитание, мы с детства разнились темпераментами, характерами, склонностями, даже научными интересами. Его голова быстрее и плодовитее моей, его воображение живее, он тоньше чувствует красоту, его художественный вкус изощреннее — потому, быть может, что он с большим усердием упражнялся в изобразительных искусствах (в рисовании и гравировке

на меди). В каждом деле у него больше практической сметки, больше сил и способностей схватывать новое, добираться до самой сути, — я же по складу своему больше склонен развивать новые идеи, сопоставлять и обобщать их. Именно так я обозначил бы основную разницу между нами, и только ею я решился бы объяснить все прочие различия — вплоть до мельчайших. Но довольно о нем и о себе. Простите мне, что я занял всем этим большую часть письма. Однако само желание устроить так, чтобы и моему брату перепало от вашей дружбы, покажет вам, как бесконечно дорога мне та ее доля, которой вы одарили меня...»

Встреча с Георгом Форстером

Итогом поездки с ван Гёнсом явилась опубликованная в 1790 году работа «Минералогические наблюдения над некоторыми базальтами вкупе с разрозненными замечаниями о базальтах у древних и новых авторов».

Примечательным в ней является не столько связь работы со взглядами античных ученых и не диапазон исторического охвата материала, сколько тот факт, что студент, прослушавший небольшой курс по минералогии у Генриха Фридриха Линка и не имевший фундаментальной подготовки в этой области, мужественно вступил в спор, будораживший умы ученых того времени. Упоминаясь ранее фрейбергский геолог Абраам Готлоб Вернер отстаивал идею о том, что горы образовались путем осаждения из морской воды ила и других твердых веществ. Эти взгляды поддерживал Иоганн Вольфганг Гёте и большинство немецких естествоиспытателей; сторонников этой теории называли «нептунистами» (по имени Нептуна, бога морей и рек в римской мифологии). Им противостоял лагерь «вулканистов», или «плутонистов» (по имени Плутона, бога подземного царства), возглавлявшийся английскими и французскими учеными; по их мнению, горные породы образовались из жидкого подземного расплава. У молодого Гумбольдта четкой концепции на этот счет тогда еще не было, хотя по отдельным замечаниям видно, что некоторое предпочтение он отдавал нептунизму.

Итак, первый семестр в Геттингене заполнен классическими, «камералистскими» и естественнонаучными студиями, а также работой над первыми научными публикациями по естественной

истории и естествознанию. Александр исправно готовится к предначертанной ему административной карьере и делает все, чтобы получить приличествующее для этого образование. Единственное, что порой его отвлекает от прилежных занятий, — это мечта о дальних странствиях, мечта почти несбыточная, она все чаще закрадывается в его мысли и все больше завладевает его фантазией; манящие видения экзотических уголков земли, живописных ландшафтов, диковинных растений и животных снова и снова встают перед глазами, зажигают воображение, тревожат ум и сердце, зовут в неизведанный мир...

Можно понять, почему на Гумбольдта-младшего так завораживающе подействовала личность легендарного немецкого ученого и писателя-демократа (а главное — мореплавателя!) Георга Форстера, с которым ему случилось познакомиться и близко сойтись в 1789 году.

Несколько слов о Форстере. Отец Георга, Рейнгольд Форстер, как известно, был приглашен Джеймсом Куком принять участие в его второй кругосветной экспедиции (1772-1775) в качестве ученого-естествоиспытателя; он решил взять с собой в плавание старшего сына — Георга, который за семь лет до того уже вкусил радостей путешествия, когда одиннадцатилетним мальчишкой сопровождал отца по дальним дорогам России в 1765 году. Для Форстера-старшего плавание с Куком закончилось не очень утешительно; его заслуги перед Великобританией получили у англичан весьма своеобразное признание: он был удостоен титула почетного доктора Оксфордского университета — и брошен в долговую тюрьму Кингсбич.

Поскольку отцу пришлось в свое время взять обязательство не писать в Англии о путешествии ничего, кроме официального отчета, предназначенного исключительно для членов Государственного совета, то рассказать об интереснейшем кругосветном плавании

широкой публике пришлось сыну. Его описание экспедиции Кука, опубликованное сначала на английском языке — в 1777 году (а два года спустя — и на его родном), — сделало Георга Форстера популярной фигурой во всей Европе.

Однако слава, как ни была приятна, ничего в его положении не меняла: отец по-прежнему томился в тюрьме, а ему самому приходилось немногим слаще; он долго мытарствовал, пока не получил наконец в 1778 году после многих безуспешных попыток место профессора естественной истории в Кассельском дворянском лицее. Лишь после этого ему с огромным трудом удается выволить отца из тюрьмы и выхлопотать для него соглашение в университет Галле. Сам Георг с 1784 года — профессор естествознания в Вильно, в 1788 году он становится библиотекарем университетской библиотеки в Майнце.

Георг Форстер был личностью выдающейся, разносторонней и деятельной; он был одинаково замечателен и как ученый с широким научным кругозором (достаточно сказать, что он был естествоиспытателем, этнографом и филологом), и как отважный мореплаватель, и как талантливый писатель (утвердивший за собой славу мастера путевых заметок и острых публицистических статей), и, по отзывам многих современников, как человек благородных качеств.

Форстеру в высшей степени было присуще внимание к окружающим, способность сочувствовать простому человеку в его бедах и невзгодах. Форстер с его аналитическим умом умел видеть причины людских страданий, и он страстно ненавидел рождающую их социальную несправедливость. Он был непримирим ко всякому рабству и деспотизму; то, что он наблюдал в Европе, — произвол князей и чиновных лиц — возмущало его до глубины души, так же как и бесчинства

колонизаторов в порабощенных странах, на которые он насмотрелся за годы своих странствий по миру.

Находясь и 1790 году в Англии и наблюдая враждебность господствующих классов этой страны к французской революции, Форстер в конце концов приходит к выводу, что в правое дело надо не только верить, но и бороться за него. Если до сих пор он как гуманист и честный человек страстно осуждал порабощение человека в условиях деспотического строя, то теперь он открыто заявлял, что пришла пора действовать в защиту гуманности. С этого момента во французской революции, даже в самые ее кровавые периоды, он усматривал «акт справедливости природы». «Национальное собрание, — писал он, — не стремилось заходить так далеко, однако железная необходимость времени и обстоятельств вынудила его к этому». Действовать, именно действовать в соответствии со своими принципами убеждали его и события в Майнце, где он наблюдал и подлые интриги эмигрировавших из Франции аристократов, и постыдное бегство немецких князей от подступившей французской армии, и позорное бессилие правящего класса Германии перед лицом новых проблем и глубоких перемен, которые несла с собой французская революция.

Пришло время, и Форстер возглавил клуб майнцских якобинцев, несших на немецкую землю знамя борьбы угнетенных людей за свои права. Он не желал мириться с разделением людей на два сорта — на господ и холопов. «Оно придет, это время, — писал он, — когда ценность человека будет измеряться не унаследованным или случайно доставшимся званием и не властью или богатством, а только степенью его добродетели и мудрости». В 1793 году Форстер отправился в Париж с необычайной миссией: добиваться воссоединения левобережных рейнских областей Германии с Францией, чтобы тем самым помочь

обездоленным немцам в их борьбе за свои права и хотя бы на этой территории закрепить завоевания французской революции. Трагизм, которым были отмечены последние годы его жизни, заключался не только в том, что дело свободы в Майнце оказалось загубленным немецкими князьями (руками наемников), сколько в том, что ему не пришлось увидеть воплощенными в жизнь безмерные надежды, которые он возлагал на французскую революцию и на ее продолжение в Германии. Вконец измученный болезнями, он умер 10 января 1794 года в Париже в полной изоляции и одиночестве, — один из благороднейших сынов немецкого народа, непонятый на родине и отвергнутый ею...

Под обаянием Георга Форстера

Весной 1790 года (за четыре года до своей смерти) Форстер вместе с Александром фон Гумбольдтом предпринимает поездку вниз по Рейну, через Нидерланды в Англию и затем — в революционный Париж, поездку, по словам Гумбольдта, «не только очень увлекательную, но очень полезную и поучительную». Времени у них всюду в обрез, все же рядом с опытным путешественником и ученым Александру удалось многое увидеть, многое узнать и многому научиться, так что в образовательном смысле поездка эта стала для него чуть ли не самым значительным событием всего геттингенского периода. Форстер потом опишет ее в работе «Заметки о Нижнем Рейне, Брабанте, Фландрии, Голландии, Англии и Франции, сделанные в апреле, мае и июне 1790 года».

Форстер — ботаник и зоолог, химик и физик, географ и историк — разбирался в соборной архитектуре и в конструкциях шахт, в музейном деле и в пейзажной живописи; находясь рядом с Гумбольдтом, он повсюду — в почтовой карете, на парусном корабле, на трибуне английского парламента — своими едкими и точными репликами постоянно помогал Гумбольдту критически оценивать происходящее у них перед глазами, а также иронично и остроумно рассказывал Александру об интересных эпизодах своего кругосветного путешествия.

Форстер, мастер живого и страстного слова, способен увлечь любого слушателя, он образованнейший ученый-универсалист, знал языки, нравы и обычаи народов тех стран, где ему довелось побывать, у него могущественные и влиятельные друзья, — словом, Форстер был тем, чем еще только хотелось стать

молодому честолюбивому Гумбольдту. Стоит ли удивляться, что он ловил каждое слово своего старшего друга и старался многое у него перенять.

В зрелые годы Гумбольдт не раз будет говорить о благотворном влиянии, которое оказал на него в юности Форстер. В «Космосе», например, он называет его «прославленным учителем и другом», чье имя не может «произносить без чувства глубочайшей благодарности». Вместе с тем его восхищение Форстером не было слепым и некритичным. Отнюдь нет. В записях от 1801 года он как бы вскользь отмечает, что «совместную жизнь с кругосветным путешественником все же несколько омрачала мелочная и тщеславная натура» последнего.

Влияние Форстера на Александра Гумбольдта было глубоко и многообразно. Всякий, кому случается читать «Картины природы» Гумбольдта или отдельные части его «Путешествия в равноденственные области Нового Света» и сравнивать их с «Путешествием вокруг света» или «Заметками о Нижнем Рейне» Форстера, не может не заметить в гумбольдтовских работах явное влияние Форстера.

Не будет преувеличением сказать, что встреча с Георгом Форстером во многом предначертала жизненный путь Александра Гумбольдта. Главный импульс, приведший его к окончательному решению распрощаться с карьерой государственного чиновника, уготованной ему матерью, а вместо этого пуститься в заокеанские дали и всю жизнь отдать науке, исходил именно от его старшего друга. Александру хотелось, конечно, подражать Форстеру и в политической сфере, например в роли государственного мужа, борющегося за утверждение политических принципов французской революции у себя на родине, но тут ему, пожалуй, не хватало необходимых природных данных — ни жесткости, ни тактической хитрости.

На последнем году жизни (28 июля 1858 года) Гумбольдт писал биографу Форстера Генриху Кёнигу: «В течение полувека и повсюду, где мне пришлось побывать за всю мою долгую странническую жизнь, я постоянно говорил себе и другим о том, сколь многим я обязан моему учителю и другу Георгу Форстеру — и в обобщении множества частных взглядов на природу, и в развитии всего того, что до той счастливой близости во мне лишь смутно брезжило. Теперь, когда я долгими ночами предаюсь печали, чувствуя, как быстро идут на убыль мои силы, во мне еще явственнее оживают воспоминания об этом человеке, резче бросаются в глаза странные параллели и контрасты в его и моей жизни: родство политических мнений и пристрастий (рождено оно было, собственно, не Форстером, а существовало и ранее, им только укрепилось); море я увидел впервые, находясь рядом с человеком, совершившим кругосветное плавание, в тот момент, когда мне и в голову не приходило, что через какие-нибудь двенадцать лет я и сам смогу выйти в открытый океан; моя остановка в Лондоне, когда еще была жива вдова Кука, и то, как приласкал меня, двадцатилетнего юнца, сэр Джозеф Бэнкс [\[8\]](#);

во время сибирской экспедиции я ступил на землю Самары, откуда Форстер-старший послал Линнею в Упсалу несколько экземпляров странно одичавшей пшеницы, я же там был в 1829 году, а Рейнгольд Форстер с мальчиком Георгом — в 1765-м, за четыре года до моего рождения; при императоре Александре I я был в 1812 году приглашен графом Румянцевым совершить большое естественнонаучное путешествие по азиатской части страны, подобно тому как Георг Форстер при императрице Екатерине II был приглашен совершить кругосветное путешествие с научными целями капитаном Муловским; та же горечь обманутых

сладчайших надежд, те же препятствия на пути экспедиции: война — то с французами, то с турками».

Гамбург и новые планы на будущее

Расставшись со своим знаменитым спутником в Майнце в июле 1790 года, Александр фон Гумбольдт вскоре отправился в Гамбург, чтобы продолжить свои занятия там. Но чем бы он теперь ни занимался, перед глазами у него стоял пример Форстера и богатые коллекции Джозефа Бэнкса, позволившие ему краешком глаза заглянуть в заповедные уголки мира. «Сильная, внезапно вспыхнувшая страсть к морю и к путешествиям в тропические страны завладела всеми моими помыслами и окончательно определила планы на будущее, осуществить которые оставалось в удобный момент — после смерти матери».

Вольный имперский и ганзейский город Гамбург своего университета еще не имел, но там было одно крупное учебное заведение, к которому Гумбольдт в последнее время приглядывался все пристальнее: частная торговая академия, основанная только в 1767 году и уже успевшая завоевать мировое имя. Англичане, русские, датчане, шведы, испанцы и американцы осваивали здесь основы науки большой коммерции. Молодых немцев эта академия привлекала потому, что камеральные науки преподавались в ней с более трезвым учетом практических потребностей экономики страны, чем в университетах. Кроме того, постоянное общение с иноземными студентами позволяло между делом изучать языки и обычаи иных стран не по книгам, а в живой беседе (в высших учебных заведениях Германской империи хорошо было поставлено преподавание лишь классических, «мертвых» языков). Академию возглавлял Иоганн Георг Бюш, ее основатель, человек демократических и гуманистических воззрений, нередко пускавший в ход свое политическое влияние с

целью облегчения участи беднейших слоев населения города.

Открывающиеся тут возможности Гумбольдт со свойственной ему целеустремленностью вознамерился использовать сполна. Он поселился в одной комнате с англичанином и вообще предпочитал общаться с иностранцами, чтобы быстрее овладевать их языками. На лекциях он запоминал все то, что надо было знать о колониальных товарах, о денежном обращении, об основах бухгалтерии, самостоятельно же штудировал книги по ботанике и минералогии.

Необычные растения с Гельгоlanda, случайно попавшие к нему в руки, завлекли однажды его на этот остров в штормовую погоду: совершить экскурсию к месторождениям медистых сланцев в окрестностях Рихельсдорфа в Гессене его побудило «огромное скопление окаменевших рыб», покрытых мелкой галькой, и других, не вполне понятных ему окаменелостей. Александр изучал собранные в морском мелководье остатки растений, размышлял над возникновением костей животных, пытался проникнуть в загадку таинственного фосфоресцирующего свечения картофеля. Он был частым гостем в доме крупного коммерсанта Зифекинга, где еще хорошо помнили те времена, когда в Гамбурге жил и работал Лессинг, а также в доме писателя Маттиаса Клаудиуса. Одним словом, не скучал. И все же в письме к одному из своих знакомых в январе 1791 года он писал: «Живется мне в Гамбурге сносно, хотя и не очень радостно — менее, чем даже в Геттингене, где общество одного-двух друзей и близость гор, поросших мхами и лишайниками, скрашивали мне однообразие будней... Однако же в общении, под которым здесь понимают совместные обеды, я недостатка не испытываю. Я принят во всех видных кружках — и в буржуазных, и в аристократических, которые по похвальному

индейскому кастовому образцу свято держатся на порядочной дистанции друг от друга. Поскольку все поголовно играют в карты, то до ужпна я стараюсь в обществе не появляться...»

Время, отведенное госпожой фон Гумбольдт сыновьям на образование, истекло. Предстояло выбрать профессию. Страсть к морским путешествиям в дальние страны с чиновничьей карьерой не совмещалась. Как ни угнетала Александра необходимость принять окончательное решение, он сделал это с тяжелым сердцем, но без колебаний — в угоду своенравной владелице замка Тегель. Правда, он нашел компромиссный вариант, позволявший учесть и материнские пожелания, и собственные склонности и не преграждавший ему путь к осуществлению его замыслов. Такую возможность предоставляла ему служба в прусском горно-промышленном ведомстве.

С того момента, как Гумбольдт обратился к изучению рейнских базальтов, особой его любовью, помимо ботаники, стала геология. На Британских островах он пристально обследовал горные формации в центральной части Англии в графстве Дерби, а расставшись с Форстером, совершил еще одно путешествие по Германии (по маршруту: Майнц — Геттинген — Гамбург — через горы Фогельсгебирге и Рён). И, как выяснилось, время потратил не напрасно: его работа о рейнских базальтах привлекла внимание специалистов.

Обращению к горному делу благоприятствовало и то обстоятельство, что бразды правления прусскими шахтами, рудниками и соляными разработками находились в руках государственного министра фон Хайница, основателя Саксонской горной академии во Фрейберге (1765 г.), человека очень делового, открытого новым веяниям, терпимого к людям, не разделявшим его убеждений, сторонившегося распутной придворной

клики и стремившегося привлекать в свое ведомство знающих и энергичных людей. Юридической и камералистской подготовки Гумбольдта для такой службы было вполне достаточно, не хватало лишь основательного знакомства с горным делом, чтобы занятия им могли стать одновременно и профессией и сферой научных исследований. Поэтому Александр решил провести последние полгода, оставшиеся ему на завершение образования, во Фрейберге под руководством Абраама Готлоба Вернера.

Гамбург он покинул весной 1791 года; несколько недель провел с братом в Берлине и Тегеле и подал прошение о принятии его на службу в ведомство горнорудной промышленности и металлургии. Еще до отъезда из Берлина он получил предварительное уведомление министра, что «сразу же по возвращении из Фрейберга будущей зимой он будет допущен не только к докладам, то есть устным сообщениям, на основании которых министр принимает то или иное решение по линии соляного, горнорудного и вестфальского регионального департамента, но и в целях лучшего знакомства с канцелярскими формальностями будет зачислен ассессором *cum voto* при администрации горнорудной промышленности и главной администрации торфяных разработок».

Целеустремленная учеба во Фрейберге

Горная академия во Фрейберге пользовалась в те времена мировой известностью. И если в этот затерянный на отрогах Рудных гор крошечный городок, обязанный своим рождением открытию залежей серебряных руд, теперь со всех концов света съезжались геологи, минералоги и специалисты горнорудного дела, то главная заслуга в этом принадлежала одному из самых известных ее преподавателей — Абрааму Готлобу Вернеру. В письме к Вернеру от 25 июля 1790 года (в связи с пересылкой ему работы о рейнских базальтах) основателя геогнозии и металлургической науки Гумбольдт сравнивал с великим шведским систематизатором растений и подчеркивал, что Вернер «делает для минералогии столько, сколько сделал для ботаники Линней». В этих словах не было и тени лести, это совершенно искреннее признание той выдающейся роли, которую сыграли работы молодого Вернера в научном изучении земной коры.

Вернер, глава нептунистов, стоя за кафедрой, отстаивал свои идеи красноречиво и темпераментно, однако в шахте он также чувствовал себя почти как дома, не менее уверенно, чем в большой аудитории или в лаборатории. Смысл науки он, подобно другим подлинно выдающимся ученым, видел в служении на благо человечества.

Познакомившись с планами Александра Гумбольдта, Вернер их одобрил и выразил готовность оказывать ему посильное содействие. Для начала он прикрепил к нему одного из самых сведущих в горном деле студентов — Карла Фрайеслебена, которому и поручил сопровождать Гумбольдта в поездках по шахтам и рудникам.

«Я очень, очень доволен жизнью во Фрейберге», — говорится в одном из первых писем Александра. «Здесь я смогу осуществить все свои научные планы, с которыми я сюда приехал. Дел накопилось много, и я приступил к ним сразу по приезде. Почти каждое утро с семи до двенадцати часов я провожу в шахтах, в послеобеденное время у меня аудиторные занятия, а по вечерам я выхожу поохотиться, как это называл Форстер, за мхами».

Фрейбергский «семестр» Гумбольдта проходил под явным влиянием личности и идей Вернера. К Вернеру у Александра было особое отношение: тот был для него не только опытным научным руководителем, блестяще знавшим свой предмет, но также добрым наставником и остроумным собеседником, общение с которым будоражило мысль и воображение, побуждало к самостоятельному научному поиску.

И тогда, и годы спустя Гумбольдт отдавал дань глубокого уважения «всеохватывающему и упорядочивающему духу» Вернера, тем не менее его признательность «Линнею в области минералогии» оказалась не столь пылкой, как благодарная память о Георге Форстере. Между Вернером и Гумбольдтом все-таки не возникло той степени духовной близости, что установилась с Форстером; сыграл свою роль и тот факт, что в споре между нептунистами и вулканистами Гумбольдт встал на сторону противников Вернера, точка зрения которых казалась ему более убедительной. Венский профессор физики, автор нескольких научно-популярных книг Эдмунд Райтлингер, один из восторженных «гумбольдтианцев», добрую сотню лет спустя после рождения Гумбольдта определит вклад Вернера в естествознание своего времени так: «Он стал законодателем юного народца, рвавшегося в недра гор, он предписывал ему метод и язык. Подобно Винкельману, будившему любовь к сокровищам

античного искусства, Вернер учил разбираться в куда более древних каменных памятниках, возведенных самой природой, и восхищаться ими».

Итак, во Фрейберге Гумбольдт на восемь с лишним месяцев (с середины июня 1791 года по конец февраля 1792 года) с головой уходит в изучение горного дела. Даже ближайšie его друзья стали получать от сверхзанятого будущего «горного асессора» очень мало вестей.

«Александр фон Гумбольдт, — читаем мы в письме Форстера к Якоби от 6 августа 1791 года, — сейчас во Фрейберге и начинает от меня отдаляться. Вильгельм для меня давно уже все равно что умер, он собирается жениться в Эрфурте на какой-то девице фон Дахеръэден и в нынешнем настроении, похоже, намерен устраниťся от всякой общественной деятельности, о чем при его талантах можно только сожалеть, Александру же, наоборот, хотелось бы побольше такой деятельности, быть на виду и в самой гуще событий, блистать и бороться, но у него нет для этого физических данных».

Вильгельм фон Гумбольдт ввел Каролину фон Дахеръэден к себе в дом в июне 1791 года. Вопреки воле матери он на время устранился от государственной службы и, углубившись в научные занятия, жил то в поместьях Дахеръэденов в Мансфельде или в Тюрингии, то в Эрфурте, в доме курмайнцакого коадьютора барона фон Дальберга, дружившего, как и Вильгельм, с Гёте и Шиллером.

Александру во Фрейберге жилось и впрямь неплохо, если не считать того, что он временами прихварывал. Увлекательные занятия интересным предметом, открытая и дружелюбная атмосфера общения с собратъями по будущей романтической профессии, сладостное предвкушение того дня, когда все они покинут стены академии и вступят в самостоятельную

взрослую жизнь, — все это вызывало у него острое ощущение приближения чего-то значительного и настраивало на торжественный лад. Время летело с невообразимой быстротой, и не успел он оглянуться, как последние месяцы учебы остались позади. Накануне отъезда новые друзья подарили Гумбольдту прочувствованное прощальное стихотворение, и в числе тех, кто поставил под ним свою подпись, были Карл Фрайеслебен и Леопольд фон Бух, которым суждено было стать его близкими друзьями на всю жизнь.

Обербергмейстер во Франконии

Через три дня после отъезда Гумбольдта из Фрейберга (29 февраля 1792 года) в Берлине было выпущено министерское распоряжение, гласившее: «Его величество... постановили, что теоретические и практические знания, приобретенные Александром фон Гумбольдтом в математике, физике, естественной истории, химии, технологии, горном деле, металлургии и коммерции, надлежит использовать в вверенном Его Величеству горнорудном и металлургическом ведомстве и назначить его на должность асессора *cum voto* в администрации горнорудной и металлургической промышленности».

Министру фон Хайницу не стоило особых трудов уговорить короля Фридриха Вильгельма II принять на государственную службу сына рано умершего камергера фон Гумбольдта. И вот теперь перед Александром, располагавшим для своих двадцати двух лет весьма обширными познаниями, открывалась перспектива блестящей карьеры — и первый шаг был сделан.

Чтобы лучше понять не слишком восторженное отношение Гумбольдта к этой службе, стоит сказать о ней несколько слов. Юлиус Лёвенберг, один из соавторов трёхтомной научной биографии Александра Гумбольдта, изданной Карлом Брунсом в 1872 году, пишет об этом так:

«В административных коллегиях сплошь и рядом наблюдаешь обычные пороки бюрократии. Царят здесь бумажная деятельность, халатность и рутинность. Низшие чины, работая с отвращением, как на барщине, составляют горы отчетов, докладов и справок для подачи начальству, покорно следуя его вздорным капризам. Чиновники с хорошей специальной

подготовкой — редкое исключение; литературное же сочинительство им все равно что запрещено. Даже Теодор фон Гиппель, будущий городской президент Кёнигсберга, не отваживался публиковать книги под собственным именем. Одному кандидату на административную должность, написавшему экзаменационную работу на тему „К лицу ли чиновнику заниматься науками?“ и осторожно давшему утвердительный ответ, председатель экзаменационной комиссии вернул сочинение, недвусмысленно дав понять, что такая точка зрения не одобряется. Барон фон Штейн любил рассказывать один случай. Однажды к министру графу фон Хагену пришли подчиненные, чтобы торжественно поздравить его с днем рождения. Приняты они были благосклонно, но, когда попытались было вручить ему поздравительный адрес, министр вдруг перешел на жесткий тон: „Вы же прекрасно знаете, что я принципиально не беру в руки ничего печатного, сделайте мне это в письменном виде!“ В такой обстановке и самым энергичным, знающим и способным служащим трудно было повышать свою квалификацию. Сам Штейн, например, по словам обер-президента фон Шёна в письме к обер-бургграфу фон Брюннеку, до 1808 года не читал Гёте».

Об уровне тогдашнего чиновничества в ведомстве министра фон Хайница говорит и тот фурор, который произвели научные работы, представленные Гумбольдтом (из них в первую очередь работа о рейнских базальтах и памятная записка «О технологии добычи соли»), то есть работы, написанные, в сущности, молодым специалистом, прошедшим девятимесячный курс обучения горному делу даже без сдачи выпускных экзаменов.

Для Александра эта ситуация при всей ее комичности давала некоторые преимущества: он встречал любезную предупредительность со стороны

сослуживцев и пользовался покровительством министра, который не скрывал своего удовлетворения тем, что ему достался приличный специалист, и осыпал молодого асессора щедрыми похвалами. «Здесь все, кажется, озабочены тем, чтобы мне чем-нибудь угодить, — писал он другу Фрайеслебену в марте 1792 года. — Однако я смотрю на это все равно, как на чужую шахматную игру, то есть равнодушно. Если без конца услаждать себя незаслуженным фимиамом, то можно повредить себе органы обоняния».

Заскорузлый чиновничий мирок с его льстивой любезностью, самодовольной глупостью и пошлыми интригами изрядно претил Александру. Хотелось на свежий воздух, на просторы природы, к манящему царству растений, животных, минералов. Вскоре стали поговаривать, что ему, кажется, предстоит поездка на тюрингские горнодобывающие предприятия или в район вестфальских рудников, пока наконец он не получил официальное распоряжение посетить маркграфства Ансбах и Байрейт (присоединенные к Пруссии всего год назад), с тем чтобы ознакомиться с состоянием тамошнего горного дела, предваряя поездку в те места министра фон Хайница.

Во франконском горном управлении не было и следа той затхлой атмосферы, в которой священнодействовала прусская столичная бюрократия. Последний министр последнего маркграфа был взят в прусское правительство в качестве министра по делам франконских княжеств. Им был сорока двухлетний Карл Август фон Гарденберг, будущий канцлер Пруссии. Этот умный, ловкий и дипломатичный политик быстро распознал незаурядные дарования асессора фон Гумбольдта. Именно по настоянию Гарденберга уже в начале сентября, когда Александру не исполнилось еще и двадцати трех лет, он был назначен королевским обербергмейстером обоих франконских княжеств.

Обербергмейстеру были подчинены горные ведомства в Наиле, Вунзиделе и Гольдкронахе. Шахты, рудники, мелкие металлургические предприятия и кузнечные цехи, разбросанные на большой территории по горным массивам Фихтельгебирге и Франконского Леса, находились в безотрадном состоянии. Добыча ископаемых велась хищнически и бездарно, о планомерной разработке залежей руды никто и не помышлял, беспокоиться о здоровье и жизни горняков никому в голову не приходило. До того, как дела бывшего маркграфа перешли в руки Гарденберга (в 1790 г.), скромные доходы от горнодобывающих предприятий вместе с поборами с крестьян и ткачей текли в баварско-гогенцоллернскую казну и потом разбазаривались владельцами полдюжины больших и малых замков, изо всех сил стремившихся в роскоши двора подражать французским королям.

Прибыв на место, Гумбольдт не захотел селиться в резиденции. «Я живу высоко в горах в Штебене и Арцберге, двух деревушках в Фихтельгебирге», — писал он Фрайеслебену 27 августа 1792 года. Посланный им по инстанциям запрос о выделении средств на улучшение материальной базы местных горнодобывающих предприятий был одобрен и утвержден начальством. Хорошо зарекомендовали себя и его технические новшества: крепление штолен деревом и подача руды наверх осуществлялись теперь по методам, разработанным и испробованным на практике им самим. Надо сказать, что под землей Александр проводил гораздо больше времени, чем в конторе, упорно добываясь того, чтобы заброшенные шахты снова начинали работать и давать продукцию. Его усилия очень скоро увенчались успехом: к вящей радости начальства, добыча руды возросла скачком и далеко превзошла смелые прогнозы самого обербергмейстера.

Однако увеличение производительности шахт и рост доходов государства были отнюдь не единственной заботой Александра Гумбольдта: улучшению условий труда вверенных ему людей он отдавал не меньше сил и энергии. По его инициативе были построены удобные подъездные пути к рудникам и к самым отдаленным шахтерским деревушкам. Благодаря организованной молодым обербергмейстером производственной учебе горняков, основательному обучению их технике безопасности, правилам укрепления выработок и т. п., благодаря его усилиям по предотвращению обвалов и борьбе с рудничным газом количество несчастных случаев в шахтах резко снизилось. Задолго до получения официального разрешения он на свои личные средства основал бесплатную школу для горняков — сначала в Штебене, а потом вторую — в Вунзтаделе.

Александр трудился не за страх, а за совесть, бывало, что до полного изнеможения; частые спуски в шахту, многочасовая напряженная работа под землей и долгие переезды верхом бывали порой очень утомительны. Все же неграмотность горняков, незнание ими элементарных правил техники безопасности, суеверный страх перед подземными духами, питаемый частыми катастрофами, — все эти трудности были серьезными, но не так уж непреодолимыми. Значительно сложнее оказалось другое — справиться с рудничным газом. Гумбольдт смело и рискованно экспериментировал: ему случалось бывать прямо-таки на волоске от гибели, например при испытаниях сконструированной им безопасной лампы, а потом — воздухоочистительной машины. Он недоумевал, почему физики уделяют так мало внимания борьбе с удушливыми подземными газами. Стремясь привлечь их интерес к этой теме, а заодно найти себе сподвижников среди способных ученых, он написал статью «О видах подземных газов и средствах борьбы с ними». Молодой

обер-бергмейетер пытался наметить пути развития «подземной метеорологии» как точной науки и подчеркивал, что от решения этих вопросов «непосредственно зависит жизнь и здоровье целого класса трудолюбивых людей».

Своей самоотверженностью и энергией Александр снискал любовь и уважение тружеников плахт во всей Франконии. «Всеобщее доверие, которое мне оказывают повсюду простые горняки, заставляет меня еще больше любить свою работу», — говорится в его письме от 10 июня 1793 года; в письме же от 19 июня того же года мы читаем: «Я завоевал доверие этих людей; они говорят, что у меня восемь ног и четыре руки, а для представителя ленивого чиновничьего сословия это что-нибудь да значит».

Наука, обращенная к практике

Франконский дебют Гумбольдта проходил удачно; за что бы Александр ни брался, ему во всем сопутствовала удача, и в административной деятельности, и в практической работе горняка, и в научных занятиях. Ему доставляло удовольствие сознавать, что в увеличении суммы знаний, накопленных людьми, есть и его, пусть малая, доля, а все, что он изобрел, «служит сохранению трудящейся части человечества».

Александр умел строить свою работу так, что в круговерти повседневных рутинных дел ухитрялся соединять научные интересы с практикой, делать полезные наблюдения, подмечать необычное, извлекать ценные и неожиданные для себя выводы, дававшие новую пищу для мысли, толкавшие на новый поиск и будившие исследовательский азарт. Так, например, если ему приходилось часто производить химический анализ воздуха в шахте, то он не просто механически регистрировал его, а серьезнейшим образом задумывался над причинами, влияющими на «подземную погоду», а потом переходил и к более общим проблемам, в данном случае, к изучению атмосферного воздуха вообще. Статью по этому актуальному для своего времени вопросу он опубликовал в «Опытах по химическому разложению воздуха» (1799 г.) [\[9\]](#).

Во франконских шахтах (как и в рудниках под Фрейбергом) Гумбольдт-ботаник охотился за теми растениями и грибами, которые находят себе место в подземном лабиринте и, не получая солнечного света, ведут там странное полупризрачное существование. В это время его как исследователя интересуют вопросы физиологии растений, в частности процессы «дыхания» и обмена веществ, а также природа их окраски. В

Гольдкронахе (в Фихтельгебирге) у него созревает грандиозный план, о коем он доверительно сообщает одному из друзей: «Сейчас я тружусь над никому не известной частью мировой истории. Книга выйдет лет через двадцать и будет называться „Идеи к будущей истории и географии растений, или Исторический очерк о постепенном распространении растений по Земле и наиболее общих природных условиях их произрастания“».

Наблюдения, эксперименты, постановка научных вопросов в области геологии, ботаники, физиологии растений, химии и физики вытекали один из другого, взаимно дополняя друг друга, и находили свое отражение в больших и малых публикациях Гумбольдта, а отчасти и в его переписке. Со всех концов света во франконское горное ведомство приходили книги, статьи, письма. Научные дискуссии, споры, обмен идеями с немецкими и иностранными учеными углубляли его знания, расширяли кругозор, обращали внимание на новые факты и открытия. Постепенно к Александру Гумбольдту приходила международная известность.

«...Создан, чтобы соединять идеи»

Вильгельм фон Гумбольдт Карлу Густаву фон Бринкману 18 марта 1793 года

«Мне весьма любопытно услышать от вас кое-что о моем брате. Я считаю его, безусловно, самой светлой головой из всех мне известных. Он создан для того, чтобы соединять идеи, обнаруживать связи между явлениями, которые оставались бы десятки лет не замеченными. Необычайная глубина мысли, поразительная зоркость наблюдений и редкая быстрота комбинирования наряду с железным прилежанием, широкой эрудицией и неумемной страстью открывать новое позволят ему решать такие задачи, перед которыми спасовал бы любой смертный. Правда, из всего им сделанного я пока не могу выбрать ничего, что давало бы мне право на такие пророчества — но тут надо учесть мою неосведомленность относительно сути и ценности сделанных им открытий; однако в том, что я сказал, нет ни капли преувеличения, и я твердо убежден, что потомки (а имя его наверняка переживет многие поколения) будут повторять меня слово в слово. Хвалить и восхищаться — не моя задача, но всякий раз, когда я слушал, как мой брат излагает свои сокровенные идеи, я не мог удержаться от восторга; мне кажется, что я глубоко проник в суть его гениальности, и самое ее изучение открыло мне совершенно новые горизонты в постижении человека вообще. Необходимость полного обновления наук, более того — всех достижений человечества — назрела много веков назад, и эта необходимость становится острее с каждым годом... Важнейшим шагом к этому обновлению было бы внести единство во все человеческие устремления, показать, что этим единством является сам человек, а именно —

человек внутренний, проанализировать то, как он воздействует на окружающую его природу и как все окружающее воздействует на него, а отсюда уже контурно наметить общее состояние человеческого рода, указать на возможные революции — и попытаться объяснить революции уже происшедшие. Из всего, что влияет на человека в окружающем мире, самое важное — это, собственно, физическая природа, и действие ее тем весомее, чем менее понятны нам его причины. Физическая природа вообще важнее всего прочего; во многом, что мы изучаем, нам приходится иметь дело с плодами рук человеческих, а при изучении физической природы нам открываются как бы линии судьбы, которой подвластен человек. Тем не менее эта область остается неизученной, а сам способ ее воздействия на человека (тот, который я имею в виду) вряд ли кому известен как предмет исследований даже понаслышке. Изучение природы физической надо связать с изучением наук моральных, то есть гуманитарных, и, именно таким способом познавая вселенную, внести в нее подлинную гармонию, или, если выяснится, что все это превосходит силы одного человека, подготовить изучение физической природы так, чтобы этот второй шаг оказался легким, — к этой миссии, говорю я, из всех голов прошлого и настоящего, известных мне по книгам или по личному опыту, подходит только мой брат. При этом безразлично, что и как он будет изучать. Я часто замечал, что все, чем бы он ни занимался, как-то само собой ведет его к названной цели, даже если он ее себе никогда так и не формулировал. Я надеюсь и знаю наверное, что он посвятит свою жизнь только этим занятиям; он не позволит вовлечь себя в обстоятельства, которые, как бы ни были привлекательны сами по себе, всегда мешают сосредоточить усилия в одном направлении, и поскольку его положение позволяет заниматься только тем, что ему интересно, и там, где

ему приятно, то я с твердой уверенностью ожидаю от него великих свершений. Я охотно распространяюсь на эту тему только потому, что Вы, как и я, любите моего брата, и потому, что Вы не преминете заметить, что за этими восторженными славословиями стоит холодная трезвость, которая не позволит симпатии, любви или как хотите называйте это чувство, исказить истинное положение вещей».

Вопрос вопросов: что есть жизнь?

В 1793 году на латинском языке вышло ботанико-физиологическое исследование Гумбольдта «Флора Фрейберга», принесшее ему еще одну награду — большую золотую медаль саксонского курфюрста. Это было выдержанное в духе Линнея обстоятельное описание двух с половиной сотен разновидностей споровых, встречающихся в окрестностях Фрейберга, частью еще не изученных. Дополнением к книге были опубликованы его же «Афоризмы к химической физиологии растений».

Внимание Александра теперь все больше приковывают процессы жизнедеятельности растений. Ставя разнообразные химические опыты, он подтверждает недавнее открытие Пристли о взаимном обмене веществ при дыхании растений и животных; экспериментируя с «подземными» растениями (то есть такими, которые способны существовать без дневного света), он обнаруживает в золе питательные для растений вещества и оказывается на пороге будущей науки — агрохимии. Проводя опыты на семенах клоповника, гороха и фасоли, Гумбольдт приходит к выводу, что на рост растений, оказывается, можно влиять: одни вещества способны стимулировать его, другие — замедлять.

Его «Афоризмы» представляли собой собрание отрывочных мыслей, идей, любопытных наблюдений, тонких догадок и неожиданных прозрений молодого

ученого; они были не только сами по себе интересны, но и сослужили неплохую службу современной ему науке: они заставляли по-новому смотреть на привычные явления, побуждали к размышлениям, подсказывали новые идеи, намечали новые пути и методы исследования.

В «Афоризмах» мы находим, в частности, замечания относительно «раздражимости» растений и так называемой «жизненной силы» — двух дискуссионных тем, вокруг которых велись ожесточенные споры в естествознании на рубеже XVIII–XIX веков и много позднее. Гумбольдт подозревал, что эти понятия не изолированы одно от другого и не противоположны одно другому, а отражают различные стороны единого сложного явления. Что же до концепций, выдвигавшихся в этих спорах, то его не убеждала ни одна из них. В конце концов, обсуждавшаяся тема таинственного феномена жизни и его первоисточков настолько завладела его воображением, что он решил заняться ею самостоятельно.

Как все просто и почти буднично: в растениях, животных, людях зарождается, расцветает, некоторое время длится и потом угасает жизнь. Это с незапамятных времен каждодневно повторяющееся наблюдение заставляет человека снова и снова задаваться вопросом: что же, собственно, такое жизнь, что обуславливает в человеке факт сознательного бытия и что полагает конец этому бытию? «Жизненная сила», — говорили во времена Гумбольдта одни и объясняли ее как деятельность, которая начинается с возникновением органического тела и кончается с его увяданием. Другие обращали свои взоры к Болонье, где итальянский естествоиспытатель Луиджи Гальвани в 1790 году случайно обнаружил любопытнейшее явление: если на лапку лягушки подать импульс электрического тока от электростатической машины, то лапка

вздрагивает. Гальвани увидел в этом не просто рефлекторное сокращение мышцы, а доказательство наличия в теле животного собственного электричества. Кто знал, может быть, в этот момент, впоследствии часто называвшийся минутой рождения эпохи практического применения электричества, таинственная «жизненная сила» действительно начинала проявлять себя как сила материальная?

Словом, двадцатитрехлетний Александр Гумбольдт основательнейшим образом познакомился с открытиями Гальвани в 1792 году в Вене. Он внимательно изучил и возражения Алессандро Вольта (которого он посетил позднее, в 1795 году в Павии), утверждавшего, что источником электричества является не лягушачья лапка, а металлическая пластинка, через которую нервы и спинной мозг лягушки связаны с мышцами этой лапки. Ждать, чем кончится спор между обоими итальянцами, у Гумбольдта не было терпения, наблюдения над умерщвленными лягушками не давали уже ничего нового. Ему хотелось поскорее проникнуть в тайну «раздражимости» и испытать ее на человеческом теле, то есть на себе самом, не является ли она все же проявлением «жизненной силы», не идет ли каким-то образом «изнутри».

Искусственно создавая у себя на спине раны, он прикладывал к ним различные металлы. В письмах к немецким и иностранным ученым он подробно описывал свои ощущения. «Соприкосновение» вскрытых волдырей, созданных при помощи пластыря, «с цинком и серебром, — читаем мы в его письме к геттингенскому преподавателю Блюменбаху, — вызывало ощущение острых и болезненных ударов... Прикосновение серебра причиняло мне три-четыре простых удара, которые я вполне отчетливо различал. Лягушки подпрыгивали у меня на спине, даже если их нерв непосредственно не соприкасался с цинком, а находился на расстоянии в

полдюйма от него и имел контакт только с серебром. Моя ранка служила проводником; я же при этом не ощущал ровно ничего». Сильные боли, затяжные воспаления, а потом красные рубцы были следствием этих опасных опытов. «Спина, промытая спиртом, в течение многих часов была похожа на спину человека, отделанного шпицрутенами».

Эти изыскания и рожденные ими мысли молодого экспериментатора нашли свое отражение в «Опытах над раздражимостью мышечных и нервных волокон наряду с догадками о химических процессах жизни в животном и растительном мире» — двухтомном труде, завершенном в феврале 1798 года в Зальцбурге. Для развития естествознания этот трактат имел лишь то скромное значение, что Гумбольдт задался целью проникнуть в сущность предполагаемой жизненной силы химическими средствами. То, что никакой «особой силы», порождающей «жизнь», не существует, что жизнь не есть некое вещество или какая-то таинственная субстанция, а все еще не до конца проясненное сложное взаимодействие физико-химических и биологических процессов, — это стало известно ученым значительно позднее. И все же примечательно направление научного поиска Александра Гумбольдта в те годы; в упомянутой книге он писал: «Дело не в каких-то особых жизненных силах, а, вероятно, лишь во взаимодействии отдельных, давно известных веществ и материальных сил. Трудность удовлетворительного объяснения жизненных проявлений организма физическими и химическими законами определяется большей частью... сложностью самих явлений, множеством одновременно действующих сил, а также условиями их действия».

Подобного рода высказывание заслуживает тем большего уважения, что всего двумя годами ранее (в июне 1795 г.) Гумбольдт по просьбе Шиллера написал для журнала «Оры» рассказ «Жизненная сила, или

Родосский гений», в котором он выступил сторонником этой самой «жизненной силы», одухотворяющей «каждый зародыш органического творения». А уже в 1797 году он писал: «Размышления и углубленное изучение физиологии и химии пошатнули до самого основания мою прежнюю веру в так называемые собственные жизненные силы». Обратившись к другим, старым своим темам и предметам, он вскоре перестал заниматься «вопросом вопросов», решить который, как он понял, наука была еще не способна, а по прошествии некоторого времени, видимо, вообще забыл о том, как в феврале 1796 года с самоуверенным оптимизмом и почти торжеством он сообщал в письме своему другу Фрайеслебену: «Думаю, что теперь близок час, когда я развяжу гордиев узел жизненного процесса». Увы, узел этот остается не развязанным и по сей день.

Отказ служить Пруссии

Прусский королевский министр горного дела и металлургии не мог не обратить внимания на то, как хорошо зарекомендовал себя в деле обербергмейстер фон Гумбольдт и как быстро его труды оборачивались звонкой монетой от растущей добычи во франконских рудниках. «Не попробовать ли его для более ответственных поручений», — задумался министр. Желание Гумбольдта познакомиться с состоянием горного дела и добычей соли во всей Германии вполне отвечало его замыслу. Александру же это сулило удобную возможность продолжить практическое изучение геологии в интересовавших его уголках страны.

В сентябре фон Хайниц посылает молодого специалиста в продолжительную командировку по горным районам Южной Германии и Австрии (Мюнхен, баварские и зальцбургские соляные копи Траунштейна, Райхенхаля, Берхтесгадена и Халляйна). По его же просьбе Гумбольдту пришлось еще проделать утомительную зимнюю поездку через Вену в Галицию и Силезию — осмотреть тамошние районы горных разработок.

Эти месяцы оказались тем периодом, когда к Александру Гумбольдту пришло настоящее научное признание. 20 июня 1793 года он был избран в Эрлангене членом императорской Академии естествоиспытателей (звание доктора философии было присвоено ему позднее — в августе 1805 года, то есть уже после его американской экспедиции).

В марте 1794 года обербергмейстер совершил две инспекторские поездки: одну, девятидневную, — в Наилу, другую, шестидневную, — в Вунзидель. А до того,

в феврале, он с такими же визитами побывал в горных районах: Гольдкронахе (девять дней) и Каульсдорфе (восемь дней). Несмотря на напряженный ритм будней, он всетаки выкроил пять дней, чтобы в первой половине марта заехать к своему брату в Йену (где его за день до отъезда навестил Гёте, о чем речь еще будет впереди). 15 апреля 1794 года, во время остановки в Йене, пришло сообщение о том, что Александру присвоен чин горного советника.

В мае Гумбольдт получает задание предпринять шестинедельную поездку с целью изучения состояния горного дела в северо-западных и западных областях страны и на подчиненных Пруссии территориях и возможностей его улучшения. Ему предстояло, в частности, детально осмотреть солеварни и селитровые цехи, а также составить доклад о наличии нетронутых залежей полезных ископаемых, доступных для практической разработки. Его дорога лежала через Берлин на Кольберг, Торн, потом на Гнезен, Познань, Глогау, Прагу и, наконец, через Эгер назад в Байреит.

«Меня переводят горным советником в Берлин и положат, наверное, тысячи полторы талеров жалованья (здесь я получаю четыреста), — сообщал Гумбольдт Фрайеслебену перед отъездом из Франконии. — В Берлине я пробуду всего несколько месяцев, а потом меня ждет директорский пост в Вестфалии или в Ротенбурге с окладом в две-три тысячи. Но, скажу тебе откровенно, мой добрый Карл, я намерен им отказать. Съезжу вот только с инспекторской поездкой на балтийское побережье и в горные районы Польши и вернусь сюда опять обербергмейстером. Мои старые планы остаются без изменений: года через два я со всем этим распрощаюсь и отправлюсь в Россию (в Сибирь) или еще куда-нибудь».

Воспользоваться услугами способного и энергичного служащего хотелось не одному фон Хайницу. Свои права

на него заявлял и фон Гарденберг, министр по делам франконских княжеств. Будущий канцлер был целиком поглощен внешнеполитическими проблемами страны; его глубоко тревожила неосмотрительность политики прусского правительства, объявившего «крестовый поход» против революционной Франции; он видел опасности, таившиеся для франконских княжеств в гаагском договоре от 19 апреля 1794 года (по которому Пруссия обязалась предоставить в распоряжение морских держав, партнеров по коалиции, шестьдесят четыре тысячи наемных солдат), и поэтому задумал всеми средствами воздействовать на нерешительного и непоследовательного короля, чтобы добиться расторжения этого договора. «Франконию распоряжениями из Берлина не защитишь, если противник вдруг окажется в Пфальце», — повторял он. С этими намерениями он без приглашения отправился в ставку прусских войск во Франкфурте-на-Майне, взяв с собой и Гумбольдта. Там на долю Александра время от времени выпадали небольшие поручения дипломатического характера. Исполнял он их без особого энтузиазма, рассматривая их не как знак отличия, а как докучную повинность и «отрыв от дела». Разъезжая с поручениями от министра по запруженной войсками Европе, Гумбольдт неизменно старался выкроить время для занятий интересующими его предметами. «Я теперь знаю, как взбудоражена вся западная Германия, — читаем мы в дошедшем до нас отрывке из его письма от 10 сентября 1794 года, отправленного из английской штаб-квартиры, находившейся тогда в Брабанте. — Несмотря на сложность обстановки и занятость, мне удалось объехать много шахт, сделать геологические описания многих местностей; а зимой я собираюсь засесть за большой минералогический труд, что-то вроде геологического описания всей Германии». В начале

февраля он получает предложение фон Хайница взять под свое попечение и ответственность горные и металлургические предприятия в Силезии и Восточной Пруссии — предприятия, которые были гораздо крупнее франконских и которые перешли в прусское владение недавно — в результате второго раздела Польши.

Предложение министра Гумбольдт теперь отклоняет без колебаний. В письме к нему он мотивирует свое решение тем, что, «посвящая себя практике горного дела», он всегда имел дальней целью подготовку к большому путешествию. Берлинское начальство, не ожидавшее такого оборота, недовольно отказом; предполагая, что Гумбольдта скорее всего не прельщают ни убогая силезская провинция, ни перспектива оказаться под началом графа Хойма, человека властного и испорченного, оно предлагает ему место обербергмейстера в Вестфалии и заодно присваивает ему чин действительного оберберграта (то есть «старшего горного советника»). При этом начальство недвусмысленно дает понять, что готово «при случае предоставить ему отпуск для планируемых им зарубежных путешествий».

Александр продолжал стоять на своем — не уступать, не идти на компромиссы, не принимать никаких подачек и высоких должностей, а еще некоторое время поработать во Франконии, после чего «коренным образом изменить свое положение и вообще бросить службу». Последствия его неуступчивости были ему ясны, и он шел на них сознательно. Поступая так, он отказывался не только от конкретных выгодных предложений и заманчиво высокого жалованья, похожего, как поговаривали его знакомые, на подкуп (а «при моих не слишком богатых доходах, — признавал он, — это была интересная возможность поправить свои дела»), но и ставил крест на быстрой и многообещающей карьере (дослужиться, скажем, до

министра ему, без сомнения, не стоило бы чересчур большого труда), на блестящей перспективе служить отечеству в ближайшем окружении короля, как это рисовалось воображению его матери и ради чего она положила столько сил, чтобы дать ему приличное образование и воспитание.

А от матери вести приходили самые нерадостные: бороться с тяжелой болезнью ей становилось все труднее, силы ее быстро шли на убыль. В феврале 1795 году Александр отправляется в Тегель и проводит у ее постели шесть недель. «Состояние моей бедной матушки удручающее, — писал он из Тегеля Фрайеслебену. — У нее рак груди, страдает она ужасно, и тут не то что спасти, — боль снять невозможно. Похоже, что до осени она не проживет, поэтому все лето я проведу в Байрейте».

«Этот Александр, — писал Давид Фейт, общий друг обоих братьев Гумбольдт, Рахили Левин 15 июня 1795 года, — стал обербергмейстером. В Байрейте он многое переделал по своему вкусу и с минимальными затратами, да так толково, что его рудники теперь за год дают столько, сколько раньше давали лет за четырнадцать, и сейчас, когда все им налажено, присматривать за производством может там любой. Он отказывается от щедрого жалованья и поэтому сможет уехать, когда захочет; будущее лето он собирается провести в Швейцарии, а еще через год поедет в Лапландию или Венгрию, чтобы делать там свои открытия».

В июле 1795 года Гумбольдт отправляется в поездку по Италии. Сначала он один путешествует по Тиролю и Северной Италии, а в Шаффхаузене к нему присоединяется Фрайеслебен, и они вместе направляются в сторону Юры, Швейцарских Альп и Савойи.

«Во всем этом путешествии его в первую очередь занимала тектоника горных массивов и растительный мир, — вспоминал Фрайеслебен в 1828 году. — Но он также не упускал ничего, что имело отношение к физике земли, атмосфере или к естественной истории. За короткий срок, в семь-восемь недель, — большей частью пешком — мы успели побывать в горах Шаффхаузена, в Цюрихе и Берне, в долине Шамони, в Альтдорфе и Сен-Готарде; вспоминая об этом, я и сейчас испытываю удовлетворение от того, как хорошо мы распорядились своим временем, а Гумбольдт, между прочим, мастер по этой части».

В начале пути Александра сопровождал некий молодой офицер — тот самый лейтенант Райнхард фон Хефтен из Байрейта, чья сестра, судя по скупым записям немногословного в таких делах Гумбольдта, все-таки, по-видимому, была единственной женщиной, к которой он питал глубокое и нежное чувство. Никаких подробностей этой истории не сохранилось, никто так и не узнал, почему Александр не последовал зову сердца. Многие, в том числе и брат Вильгельм, предполагали, что причина была одна: связывать свою судьбу с судьбой другого человека, зная, что ты твердо решил отправиться в чреватое опасностями далекое путешествие и всю свою жизнь посвятить изучению природы в разных уголках земли, он, вероятно, считал совершенно недопустимым.

Среди разного рода естественнонаучных заметок, сделанных Гумбольдтом во время путешествия по Италии и Швейцарии, имеются и заметки более широкого содержания: мысли о жизни, о себе, об отношении к своим научным занятиям и т. д. Земная жизнь, например, представляется ему «горизонтом, не имеющим границ», где «нет ничего более захватывающего, нежели сильные движения нашей души перед лицом физической опасности»;

«удовольствия, которых мы обычно лишены», кажутся ему теперь «привлекательнее тех, что доступны нам каждодневно в узком круге сидячей жизни».

Весной и летом 1795 года состояние здоровья Александра несколько ухудшилось: появились странные недомогания, связанные, вероятно, с обострением крапивницы. Когда он наконец выздоровел, его ждало новое поручение Гарденберга, опять требовавшее от него применения его дипломатических способностей.

То, что предвидел прусский министр по делам франконских княжеств, свершилось. Французская революционная армия под командованием генерала Моро перешла Рейн и вторглась в герцогство Вюртембергское, где имелись наследственные владения князей Гогенлоэ. В случае продолжения военных действий оказывались под угрозой и франконские земли, а опасность такая существовала, поскольку Пруссии не удалось убедить французское военное командование в своих мирных намерениях. Напомним, что Пруссия, подписав — по настоянию Гарденберга — в апреле этого же года Базельский договор, вышла из войны, которую вела Германская империя против Франции.

Александр Гумбольдт как раз и был послан Гарденбергом, чтобы провести соответствующие переговоры с французами. Он отправился к ним в сопровождении трубача и команды гусар под командованием капитана. Двенадцать дней он колесил по всей Швабии, ведя нелегкие переговоры с французскими генералами. Наблюдая, как генерал Сен-Сир парил в воздухе на привязном аэростате Контэ, дерзко осматривая позиции изумленного противника, Гумбольдт выразил искреннее восхищение этим изобретением. На предложение генерала Дезе, доверенного лица Бонапарта, присоединиться к запланированной французами экспедиции в Египет,

вместо того чтобы в одиночку бродить по тропическим лесам, Александр ответил вежливым отказом.

Его миссия оказалась успешной. «Удачный исход этого дела, — сообщил он 2 августа 1796 года Фрайеслебену из Ингельфинга, — его важность для покоя столь многих людей, которым не нужно теперь оставлять насиженные места, дает мне ощущение удовлетворенного тщеславия. С другой стороны, противно смотреть, как немцы, находясь на своей земле, пресмыкаются перед французами и как вся Германия непрерывно болтает о так называемых мирных договоренностях».

Однажды ему довелось разговориться с одним французским часовым, невероятно грязным пареньком лет двадцати, о жестокостях имперских войск, которые обращались с пленными как с разбойниками или просто уничтожали их. «И все-таки, — сказал Гумбольдт, — они — хорошие солдаты». — «Солдаты? — переспросил француз. — Нет, гражданин, нельзя быть солдатом и не быть человеком. Эти люди ничего не знают о человечности».

Об этом эпизоде Александр тоже рассказал своему фрейбергскому другу и добавил: «Не похоже ли все это на сцену из трагедии Расина и из уст какого немецкого солдата можно услышать подобное?»

Когда Гумбольдт вернулся в Байрейт, Гарденберг предпринял новые попытки сохранить удачливого парламентаря для государственной службы, намереваясь — если тот уж твердо вбил себе в голову взять отпуск и отправиться в дальние края — по крайней мере, сохранением жалованья привязать его к прусской короне. Оба эти предложения Александр отклонил, преисполненный решимости в будущем году посетить вулканические районы Италии свободным естествоиспытателем, «независимо от того, будет ли еще жива его мать».

«Я обычно охотно следую советам друзей, — писал он тогдашнему камер-президенту Байрейта и Ансбаха, будущему прусскому министру фои Шукмаиу, который уговаривал Гумбольдта взять хотя бы оплаченный отпуск, — и я не настолько богат, чтобы пренебрегать даже малыми деньгами. Во мне говорит тщеславное чувство, что князя в состоянии кое-что делать и для людей моего скромного ранга, однако я считаю, что чем строже судишь поступки других, тем неукоснительнее должен соблюдать законы нравственности сам. Иметь случай злоупотребить дружбой министра и не воспользоваться им — вот, наверное, единственная моя заслуга, о которой будут помнить, когда я покину страну. Да и потом, государственные кассы здесь очень бедны, ибо я считаю, что страну можно назвать бедной, если попечители солидных школ, то есть важнейшие инструменты государства, получают семьдесят-девять гульденов жалованья и вынуждены перебиваться на эти деньги с семьей из пяти-шести человек... Если другие поступают плохо, то это не значит, что так же могу поступить и я».



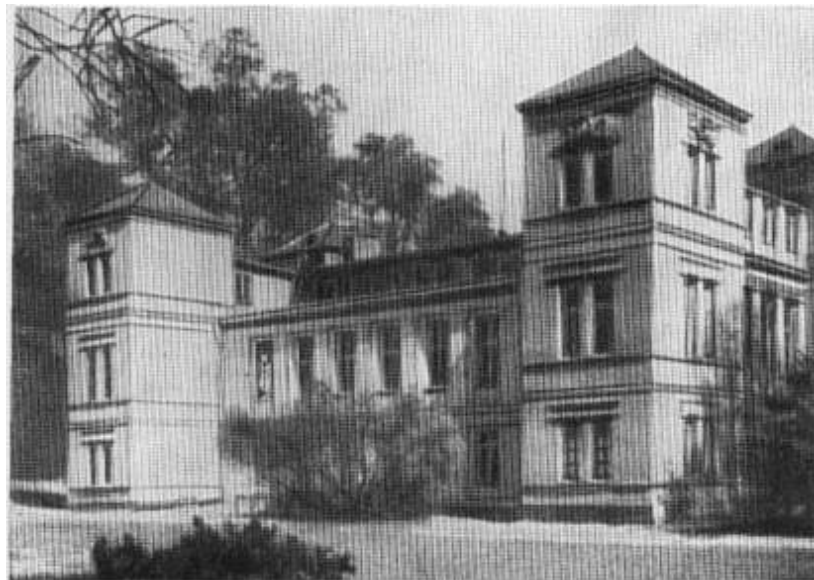
Мария Элизабет фон Гумбольдт, урожденная Коломб, — мать Гумбольдта.



Александр Георг фон Гумбольдт, — отец Гумбольдта.



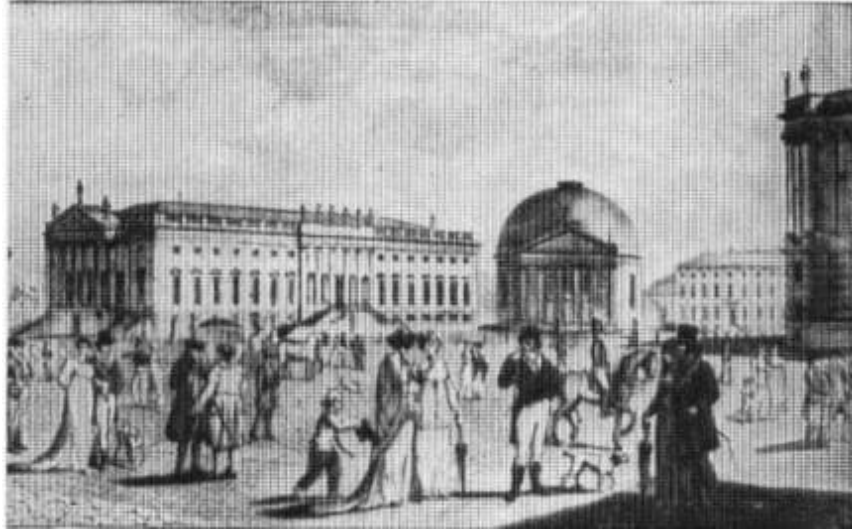
Замок Тегель в годы юности Гумбольдта (по старинной гравюре).



Замок Тегель после перестройки, осуществленной в 1822-1824 гг.



Александр фон Гумбольдт (по рисунку Франсуа Жерара 1798 г.).



Театральная площадь Берлине



Здание Берлинского оперного театра и улица Унтер ден Линден в конце XVIII в.



***Александр фон Гумбольдт. Фарфоровый барельеф
работы Фридриха Тика. 1828 г***



Берлинский университет. Около 1790 г.



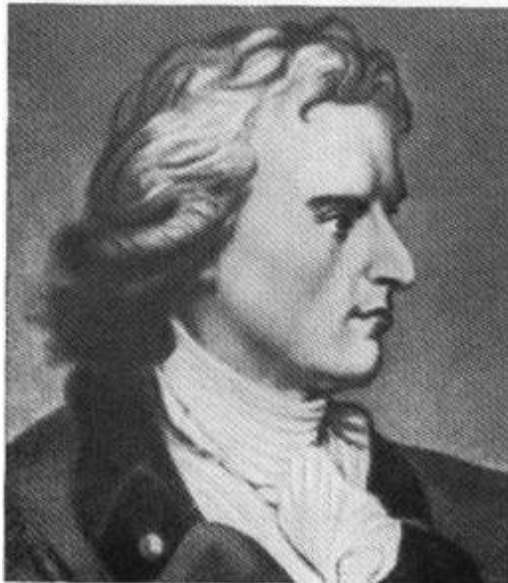
Вильгельм фон Гумбольдт. 1796 г.



Александр фон Гумбольдт. 1796 г.



Иоганн Вольфганг Гёте (портрет Линмо)



Фридрих Шиллер.



***Шиллер, Вильгельм и Александр Гумбольдт и
Гёте в Йене.***



***Александр фон Гумбольдт (репродукция картины
Ф. Г. Вейтша).***



Каролина фон Гумбольдт (портрет Шика).



Вильгельм фон Гумбольдт (по рисунку Шмеллера).



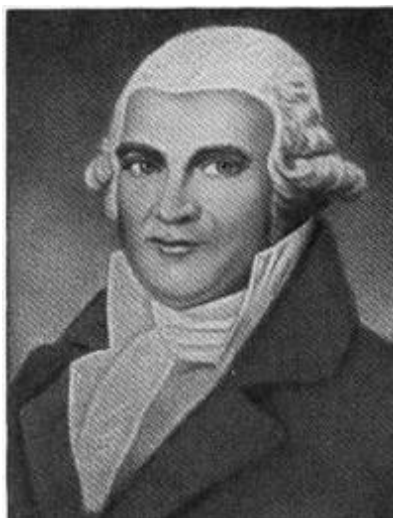
Леопольд Фон Бух



Карл Август Варнхаген фон Энзе.



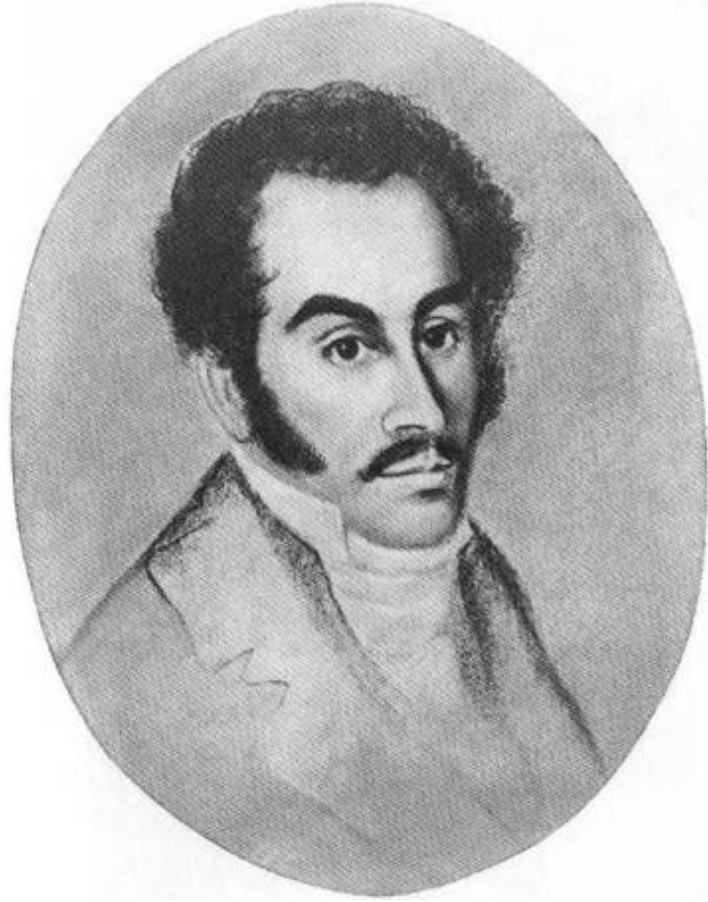
Александр фон Гумбольдт,



Абраам Готлоб Вернер



Георг Форстер



Симон Боливар.



***Александр фон Гумбольдт. Фарфоровый барельеф
работы Фридриха Тика. 1828 г.***

Второй Колумб 1797-1804

Долгожданная независимость

14 ноября 1796 года в Тегеле умерла г-жа Мария Элизабет фон Гумбольдт. Младший сын ее не был особенно огорчен этой потерей. «Ты же знаешь, дружище, — писал он Фрайеслебену, — с этой стороны меня не мог постичь сокрушительный удар, мы всегда были чужими друг другу».

В конце 1796 года обербергмейстер Александр фон Гумбольдт подает в отставку.хлопоты по разделу наследства г-жи фон Гумбольдт между ее сыновьями (Вильгельмом, Александром и их сводным братом Фердинандом фон Холльведе) взял на себя Кунт. При его посредничестве в июне 1797 года в Дрездене состоялся окончательный и официальный разговор на эту тему. Александр вместе с ценными бумагами и наличными получал ипотеку на Тегель (переходивший во владение Вильгельма) и еще одну солидную ипотеку на поместье в Рингенвальдс, которую нельзя, правда, было реализовать до 1803 года. В общем и целом после раздела имущества он оказался обладателем состояния в более чем девяносто тысяч талеров.

«Мое решение готовиться к путешествию — непоколебимо, — писал он Вильденову перед отъездом из Байрейта. — Несколько лет уйдет на сборы и поиски подходящих инструментов, год-полтора я пробуду в Италии, чтобы основательно познакомиться с вулканами, а потом отправлюсь через Париж в Англию, где, возможно, проведу примерно год (спешить мне некуда: важно прибыть на место хорошо подготовленным), а потом на английском судне — в Вест-Индию».

Первым делом Александр решил навестить брата в Йене и несколько месяцев провести у него.

Вильгельм сам долго не был в Йене, он только что возвратился туда после продолжительных разъездов, ибо ему пришлось бывать в Берлине и в разных местах на севере Германии, а также дежурить у постели больной матери в Тегеле. Свою йенскую квартиру он снял еще в феврале 1794 года по соседству с домом Шиллера. В эти дни в Йене находился и Гёте, дописывавший «Германа и Доротею», так что Александру предоставлялась хорошая оказия повидаться и с ним.

Среди дневниковых записей Гёте, сделанных за три года до этого (в 1794 г.), была такая: «Столь долгожданный Александр фон Гумбольдт, едва приехав из Байрейта, втянул нас в беседу на общие темы естествознания». Годом позже Гёте отмечал благотворное влияние Александра на свои занятия по анатомии. И вот теперь, когда в конце февраля 1797 года Гумбольдт-младший появился в Йене, они часто и охотно виделись друг с другом, вместе ходили на лекции профессора Лодера по анатомии. Гёте проявил живейший интерес к Гумбольдтовым изысканиям по части «мышечной раздражимости» и охотно участвовал в его гальванических экспериментах. В какой мере Гёте был одним из тех «многих», кто, как говорилось в гордом письме Александра Фрайеслебену от 18 апреля 1797 года, захвачен его «Опытами по стимуляции жизненных сил химическими средствами, по усилению и торможению раздражимости» и якобы с воодушевлением поддерживает мнение, что Гумбольдт «закладывает фундамент новой науки (витальной химии)», покрыто завесой тайны. Из Веймара, куда Гёте вернулся в начале апреля (и где его потом навестил Александр), он писал Шиллеру 26 апреля 1797 года: «С Гумбольдтом я провел время с большой приятностью и пользой; мои естественно-исторические работы

благодаря его присутствию разбужены от зимней спячки».

Сорокавосемилетнего Гёте и двадцатисемилетнего Гумбольдта объединяла не только общность интересов в области естественной истории, анатомии, геологии и ботаники. Их объединял также родственный подход к природе как к чему-то целостному, единому, взаимосвязанному, в отдельных своих частях и явлениях, объединял универсализм их воззрений и — что не менее важно — опора на непосредственный опыт как источник знаний. Были у них и расхождения, главным образом методологического свойства. Гёте, изучая какое-либо явление, предпочитал рассматривать его как чувственно воспринимаемый «феномен», Гумбольдт же отталкивался от «фактов». Гёте в качестве первичного звена своих наблюдений брал «образ», в то время как Гумбольдт исходил из «элементов». Гёте в своих воззрениях на природу делал упор на развивающееся, биологическое, Гумбольдт — скорее на готовое, оформившееся, на непосредственную данность, открывающуюся исследователю. Гёте во многом полагался на органы восприятия человека (вспомним хотя бы его учение о цвете), Гумбольдт настаивал на экспериментальном изучении физики явлений и процессов, происходящих в природе и в отдельном живом организме, безотносительно к человеческому восприятию. Характерная для Гёте постановка вопроса о некоем архаическом «прарастении» не занимала воображение Гумбольдта ни тогда, ни позже, когда он со своим спутником Бонпланом, возвратившись после долгого путешествия по Латинской Америке, привез тысячи малоизвестных растений из Нового Света. Не стоит, однако, преувеличивать значение этих разногласий, и далеко не всегда они были принципиальны. Гёте, опережая время, стремился рассматривать природу в движении и

развитии, доискиваться до единого «корня» всего многообразного сущего, в то время как Гумбольдт коллекционировал, взвешивал, измерял и сравнивал, чтобы обнаружить законы, господствующие во Вселенной. Их влияние друг на друга было глубоким, плодотворным, постоянным и, конечно, не исчерпывалось встречей 1797 года.

«Думаю, что его вполне можно назвать единственным и неповторимым в своем роде, — писал Гёте в 1799 году, — ибо мне не доводилось встречать человека, у кого подобная целеустремленность соединялась бы с такой разносторонностью духа. Трудно представить себе даже, как много он способен сделать для науки». А Гумбольдт, в свою очередь, годы спустя, уже после смерти Шиллера, писал Каролине фон Вольцоген, шиллеровской свояченице: «Повсюду, где бы я ни странствовал, я снова и снова проникался ощущением того, насколько могучим было воздействие на меня тех йенских встреч, когда я, духовно обогащенный взглядами Гёте на природу, чувствовал себя как бы вооруженным новыми органами чувств».

Иное мнение об Александре сложилось у Шиллера. Сначала он, видимо, слишком много ожидал от младшего брата Вильгельма фон Гумбольдта, своего друга. На первых порах все шло гладко: младший Гумбольдт был единственным представителем естественных наук, кого Шиллер пригласил сотрудничать в журнале «Оры». В письме к критику Готфриду Кёрнеру от 12 сентября 1794 года Шиллер называл его «самым блестящим» ученым во всей Германии; ему казалось порой, что способностями Александр, возможно, даже превосходит «своего брата, который, безусловно, выдающийся человек». Сыграло свою роль, вероятно, и небольшое недоразумение: Шиллер почему-то заключил, что основная специальность Александра — философия природы. При

ближайшем знакомстве в их взглядах, склонностях и характере обнаружили очень существенные различия, ставшие причиной взаимного разочарования, охлаждения и отдаления. Первое, что Шиллеру пришлось не по вкусу, — это человеческие качества младшего Гумбольдта. Говоря об этом, не надо забывать, что Шиллер был человеком горячим и ему не раз случалось выносить скорый и предвзятый приговор. Можно предположить также, что Александр вполне мог дать для этого повод: необычайные успехи по службе, домогательства двух министров, жаждущих иметь его в числе ближайших сотрудников, быстрая и громкая слава все-таки немного вскружили ему голову. Шиллер пишет 6 августа Кёрнеру. «Насчет Александра у меня нет твердого мнения; однако я боюсь, что, несмотря на все его таланты и неустанную деятельность, больших высот в своей науке ему не достичь. Слишком мелкое и неумное тщеславие до сих пор пронизывает все его дела. Мне не удастся обнаружить в нем ни искры чистого, объективного интереса, и, как ни странно это может звучать, при всем огромном богатстве его знаний я нахожу в нем странное убожество духа и чувства, а для предмета, коим он занимается, это — наихудшее из зол. Что я нахожу в нем в избытке, так это голый и острый рассудок, беспардонно притязающий на то, чтобы куцыми мерками вдоль и поперек обмерить самую природу, которая во всех своих частях необъятна и непостижима, и с дерзостью, мне непонятной, подступает к ней со своими убогими формулами. Короче говоря, мне кажется, что для своего предмета он человек слишком грубо организованный, слишком ограниченный и узкопрактический. Он ведь начисто лишен воображения, и в одном этом, насколько я могу судить, ему недостает качества, совершенно необходимого в науке, поскольку природу надо уметь созерцать и чувствовать как во всех ее конкретных

проявлениях, так и в высших законах. Если многим Александр очень импонирует и обычно выигрывает в сравнении с братом, то только потому, что он выскочка и у него лучше подвешен язык. По самым же главным качествам братьев и сравнивать-то нельзя — настолько достойнее представляется мне Вильгельм».

Шиллер в общем верно подмечает человеческие слабости Гумбольдта-младшего, однако верно и то, что он по своему духовному складу остается далек от понимания сути методов естественнонаучного исследования, ориентирующегося не на эмоции и смутные ощущения, а на непреложные факты, объективные связи и закономерности. Не случайно Кёрнер в ответном письме от 25 августа счел необходимым в деликатной форме сказать об этом Шиллеру и попытался смягчить его «резковатое суждение» об Александре: «Положим, ему в самом деле не хватает воображения, чтобы чувствовать природу, и тем не менее, сдаётся мне, он может многое сделать для науки. Его стремление все измерять и анатомировать служит предпосылкой для точных наблюдений; а без таких наблюдений естествоиспытателю не получить приемлемых исходных данных. К Александру как математику нельзя быть в претензии, что ко всему он подходит с мерками и цифрами. Он ведь стремится сводить разрозненные факты воедино, в одну систему, учитывает и взвешивает все гипотезы, расширяющие взгляд на вещи, и таким образом оказывается перед новыми и новыми вопросами к природе. Сама специфика его деятельности мешает ему держать равновесие во всем — так я думаю. Люди такого типа всегда слишком погружены в свои проблемы, чтобы уделять много внимания тому, что происходит вокруг. Из-за этого они кажутся окружающим сухими и бессердечными».

Несостоявшаяся поездка в Италию

Весть о заключении мира между Австрией и Францией, как оказалось, несколько опередила события. Хотя Бонапарт крепко держал в руках Северную и Центральную Италию, а его смелый проход через Восточные Альпы к Вене привел к перемирию в начале апреля 1797 года, цена, которую он требовал от германского императора, была слишком высокой; переговоры затянулись на долгие месяцы.

Александр фон Гумбольдт выехал из Дрездена 25 июля и направился через Теплиц в Прагу, рассчитывая, что в пути к нему присоединится брат с семьей, который давно уже лелеял планы поездки на юг, но всякий раз задерживался из-за приступов малярии, мучивших его жену и детей. В начале августа они встретились наконец в Вене и некоторое время оставались там, пережидая, пока не прояснится политическая обстановка. Без дела Александр не сидел и тут; еще до отъезда из Дрездена он учился обращаться с секстантом (ибо знал, что ему придется с ним работать) и продолжал изучать геологию, пользуясь частными коллекциями минералов, а здесь, в Вене, все свободное время тратил на изучение флоры в ботанических садах Шёнбрунна, уже тогда известных по всей Европе.

Лето было на исходе, осень близилась. Братья уже стали подумывать о том, что отправляться в Италию через Альпы поздновато, даже если мир и будет заключен в ближайшем будущем. Из Парижа пришло известие о том, что Директория в начале сентября произвела переворот, устранила угрозу монархического заговора и, более чем вероятно, спасла республику. Вильгельм не был склонен считать, что события в Париже создают почву для нового переворота (и

оказался прав); поэтому он решил отправиться с семьей во французскую столицу, а Александр — заняться геологическими и метеорологическими наблюдениями в Альпах, готовясь к большому путешествию. Оба уже покинули Вену, когда 18 октября 1797 года был подписан мир в Кампо-Формио, содержащий, как оказалось потом, в себе зародыш новой войны: Австрия вынуждена была уступить Франции Милан и Мантую, а полученные ею самой Венеция и большая часть венецианских владений не могли служить достаточным за них возмещением. Уже состоялся триумфальный въезд в Париж генерала Бонапарта, который теперь поджидал удобный момент для захвата власти.

Александр Гумбольдт, вместо того чтобы ехать в Швейцарию и переждать там, как он поначалу планировал, пока не стабилизируется обстановка в Италии, направился в Зальцбург и... застрял там на всю зиму. Виной тому был Леопольд фон Бух, его бывший университетский товарищ, случайно встреченный им в Вене.

«Встреча с ним была несказанной радостью, — писал Гумбольдт Фрайеслебену, — это удивительный, неподражаемый, гениальный человек, которому удастся делать массу тонких научных наблюдений. Своими повадками он, правда, производит впечатление чудака, свалившегося с луны... Я пытался выводить его на люди, но ничего путного из этого не получалось. Придя в гости, он обычно нацеплял на нос очки, забивался в дальний угол и начинал пристально изучать трещинки на глазурованных плитках печи — это его любимое занятие, или же, крадучись вдоль стен, как еж, принимался внимательно разглядывать подоконники и карнизы. Человек он невероятно интересный и приятный — настоящий кладезь знаний, из которых я тоже надеюсь извлечь немало пользы».

Друзья занимались географическими определениями на местности и проводили метеорологические наблюдения в окрестностях Зальцбурга. Александр опробовал там «прекрасный двенадцатидюймовый, но, к сожалению, очень тяжелый секстант». Пять месяцев жили они «в полном отшельничестве», увлеченные своими опытами, и были трудолюбивее и счастливее, чем когда-либо за всю свою жизнь.

Надо думать, что именно в это время оба геолога, независимо друг от друга интересовавшиеся вулканическим ландшафтом Италии, поняли всю шаткость учения их старого наставника Абраама Готлоба Вернера об океаническом происхождении рельефа Земли. Не случайно Гумбольдт всего несколько лет спустя (уже после своего латиноамериканского путешествия) на основе изучения вулканических районов и местностей с частыми землетрясениями придет к выводу, что процесс образования речных дельт, морских наносов, пещерных сталактитов, «вся эта система медленных действий и слабых сил, требующих долгого времени», не удовлетворяет «нас, когда мы глядим на гигантские нагромождения камней, служащих нам сегодня местом и средой обитания». Стараниями же Леопольда фон Буха, обследовавшего к тому времени потухшие вулканы в центральных областях Франции, гипотеза Вернера была сильно поколеблена. Отдавая должное заслугам своего «вулканического друга», Гумбольдт называл его «основателем гипотезы поднятия гор». Бух стал одним из самых решительных сторонников плутонизма; он, в частности, выдвигал мнение, что важнейшую роль в возникновении и изменении земной коры играет внутреннее тепло Земли и выбросы наружу расплавленных масс. После многочисленных наблюдений и сам Гумбольдт изменил свою точку зрения. «Капля дождя пускай и точит камень, если это

только происходит достаточно долго, но не она придает коре нашей планеты ее нынешние физиогномические очертания».

Хотя чаша весов в этом споре и склонилась в пользу сторонников гипотезы вулканизма во главе с Бухом и Гумбольдтом, все же спор о происхождении рельефа Земли не стихал еще многие десятилетия, прежде чем современная геофизика на основе изучения метеоритов и возникающих при землетрясениях колебаний в толще Земли не пришла к гипотезе о ее оболочечном строении. Переход Гумбольдта в лагерь вулканистов очень огорчил Гёте, оставшегося неизменным сторонником гипотезы Вернера. Гёте навсегда сохранил верность «жизненной влаге» как силе, сформировавшей облик земной коры, а «проклятое горнило нового творения» не преминул почтить во второй части «Фауста» едкой иронией.

Планы путешествия в Египет перечеркнуты Наполеоном

Еще в Вене, подумывая о возможном путешествии в Вест-Индию, Гумбольдт начал присматриваться: кого бы взять себе в спутники? Хорошо бы найти ботаника, тогда и интересы были бы общие, и работу можно было бы делить пополам. А замыслы у Александра были необъятные, и чья-нибудь постоянная помощь в пути была бы ему очень кстати. Помимо всего прочего, ему нужен был не только сотрудник, но и просто компаньон: в отличие от нелюдимого всезнайки Леопольда Буха он был человеком весьма общительным и путешествовать в одиночку не любил, даже на небольшие расстояния. Иметь приятного собеседника, вести содержательные разговоры, касающиеся по-настоящему волнующих его тем, ловить знаки восхищения — в этом он всегда нуждался.

Денег на экспедицию пока не было. Кунту, занятому урегулированием формальностей, связанных с наследством, никак не удавалось высвободить крупную сумму наличными, а «проклятая, путающая все карты морская война» между англичанами и французами заставляла Гумбольдта отодвигать вест-индское путешествие на неопределенный срок. Поэтому предложение английского лорда Бристоля, с которым Александр познакомился в Зальцбурге, принять участие в небольшой поездке по Египту, вверх по Нилу до Асуана, показалось ему заманчивым. Условия Бристоля устраивали его, а кроме того, он решил, что сможет потом отделиться от всей компании в верховьях Нила и самостоятельно проехать по Сирии и Палестине.

В египетской экспедиции собирались принять участие интересные люди, например, берлинский

археолог Алоис Хирт, да и сам Бристоль не был такой уж посредственностью: он слыл знатоком искусств и наук, кроме того, был заядлым непоседой и любителем странствий. Так что поговорить в этой поездке было бы с кем и о чем. Останавливало Гумбольдта, пожалуй, только одно: этот лорд — епископ из Дерри, располагавший миллионным состоянием, был изрядным жуиром. В путешествие он пригласил двух титулованных особ: некую французскую графиню и графиню Лихтенау из Пруссии, любовницу Фридриха Вильгельма II. Вильгельмина Энке — таково было ее настоящее имя, — в 1796 году возведенная в графское звание, получившая от прусского короля в дар несколько поместий и 500 тысяч талеров деньгами, самая известная из всех его фавориток, вскоре после смерти Фридриха Вильгельма (случившейся 16 ноября 1797 года) была арестована, так что сиятельному британскому церковнослужителю волей-неволей пришлось от ее очаровательного общества отказаться.

Гумбольдт, надо думать, вполне отдавал себе отчет в том, что путешествие с этим «старым сумасбродом» и его спутниками таило в себе немалый риск, но иной возможности выбраться из европейской «западни» он не видел, и сама мысль о том, что ему наконец подворачивается реальная okazия незамедлительно двинуться в путь, окрыляла его настолько, что заставляла пренебречь всякой осторожностью и благоразумием.

Политическая обстановка в Европе к путешествиям явно не располагала. «Отовсюду, — писал он Фрайеслебену, — я слышу разговоры о предстоящей высадке (французов — Г. Ш.) в Египет», и если это произойдет, то она будет «либо очень благоприятствовать» осуществлению его плана, «либо вообще его перечеркнет». Он с тревогой следил за развитием событий в Париже — некогда колыбели

революции, превратившейся теперь в опасный очаг войн европейского масштаба. «Я стараюсь убедить себя, что все, что сейчас происходит, когда-нибудь приведет страну к расцвету наук. Что до меня, то я чувствую себя во всех своих устремлениях связанным по рукам и ногам до такой степени, что желал бы жить лет на сорок раньше или позже». «Республиканские драгонады. — писал он в одном письме, предназначенном для опубликования, — насильственные правительственные меры в оккупированных областях, проводимые нынешней антидемократической властью (осуществляемой Директорией и двумя советами), так же возмутительны, как и религиозные... Только одно благое дело — разрушение феодальной системы и аристократических предрассудков, от которых так долго страдал неимущий и благородный класс, начинает приносить свои плоды уже сейчас и будет приносить в будущем, даже если монархические конституции снова повсеместно будут входить в силу, как это сейчас, кажется, происходит с республиканскими».

Упорные слухи о «высадке в Египте» оказались небеспочвенными, в чем Гумбольдт убедился вскоре после прибытия в Париж. Началась египетская экспедиция генерала Бонапарта, осуществленная им при поддержке Директории, с целью подорвать позиции англичан в Средиземном море и в Индии, поскольку прямая высадка французских войск на побережье Англии представлялась слишком рискованной. Лорд Бристоль, в ком французская полиция заподозрила британского агента, был арестован в Милане. Так рухнул план первой заморской поездки Гумбольдта, уже разработанный в деталях.

С 25 тысячами солдат на 400 транспортных судах, прикрываемых 40 военными кораблями, прихватив с собой несколько сотен технических специалистов, учёных-естествоиспытателей, историков и художников,

Бонапарт двинулся в середине мая из Тулона, взяв курс на Египет, и 1 июля высадился в Александрии. 25 июля в руках завоевателя оказался Каир. Перед египтянами Бонапарт изображал из себя не иначе как освободителя, сумевшего избавить их от гнета мамлюков. Через несколько недель английский флот, стоявший наготове у британских островов на случай возможного вторжения французов в Англию, прибыл к берегам Египта. Французская эскадра была уничтожена у Абукира, и задуманный Бонапартом удар по английскому морскому господству потерпел полный провал. Так, в ноябре 1801 года после трех с лишним месяцев, почти одинаково грозных и для французов, и для египтян, подошла к своему бесславному концу эта кровавая авантюра на Ниле.

Надежда «принести большую пользу людям» тоже пока не сбывается

С осени 1797 года Вильгельм фон Гумбольдт с семьей жил в Париже. Его дом был открыт для всех; вместе с Каролиной фон Гумбольдт Вильгельм поддерживал в нем ту особую атмосферу свободного и просвещенного общения, в которой обычаи берлинских литературных салонов совмещались с традициями духовной жизни французской столицы. Редкая образованность, разносторонность интересов и светские манеры Вильгельма привлекали в его обитель многих художников, писателей и ученых страны. Ввести в их общество своего младшего брата, когда тот появился в Париже, ему, естественно, не стоило труда.

В то время во французском естествознании, несмотря на войны, глубочайшие общественные потрясения и разруху, царило большое оживление. В 1792 году, например, в самый разгар революции и революционных войн, французскими учеными была осуществлена трудоемкая работа — определение длины земного меридиана, проводившееся на участке от Дюнкерка до Барселоны^[10] (Александр, между прочим, по приезду в Париж воспользовался возможностью поучаствовать в последних замерах, проходивших неподалеку от столицы, — между Меланом и Льессеном). Много видных французских ученых получили всемирную известность и признание за свои работы по математике, астрономии, минералогии. Александр, поддерживавший оживленную переписку с французскими учеными и обменивавшийся с ними научными идеями, имел некоторые основания предполагать, что в мировой столице естественных наук он не совсем уж неизвестен,

но что ему будет оказан настолько восторженный прием, не ожидал. «В Париже я был принят так радушно, как не мог себе даже вообразить», — писал он Вильденову. Национальный институт — восстановленное в 1795 году объединение парижских академий — пригласил немецкого естествоиспытателя выступить с докладами об анализе атмосферного воздуха и о свойствах и химической активности окиси азота. Общение с французскими учеными побудило Гумбольдта, в частности, заняться изучением влияния ряда кислот на всхожесть семян различных растений, результаты которого с одобрением были встречены в научном мире.

Все же главная тема, которая в эти месяцы постоянно занимала Гумбольдта, — это его будущее путешествие.

Как ни уютно чувствовал он себя в Париже, желание достичь наконец той цели, которую он поставил себе после общения с Георгом Форстером, брало верх. Он говорил о своих планах с Луи Антуаном де Бугенвилем, первым французом, который еще до Джеймса Кука совершил кругосветное путешествие на парусном судне и в своей книге об островах Полинезии прославлял — почти в духе Руссо — незамысловатый быт и мирный уклад жизни тамошних жителей на лоне природы, как самый счастливый для человека. Этот пионер больших экспедиций с научными целями, несмотря на почтенный возраст, планировал новое плавание вокруг света. Теперь его интересовал главным образом Южный полюс. «Он уговаривал меня пойти вместе с ним, — писал Гумбольдт Вильденову. — Я преисполнился было самых радужных надежд, как вдруг Директория принимает решение послать в кругосветное путешествие не семидесятилетнего Бугенвиля, а капитана Бодена. Не успел я об этом услышать, как получаю приглашение от французского правительства занять место на „Вулкане“,

одном из трех корветов, отправляющихся в эту экспедицию. Мне открыт доступ во все национальные хранилища и лаборатории, где я могу выбрать все необходимые мне инструменты. В подборе ученых, а также во всем, что касалось оснащения, каждый раз обращались за советом ко мне. Многие из моих друзей с неудовольствием восприняли весть о том, что я уйду в плавание и подвергаю себя опасностям пятилетнего морского путешествия, но мое решение было твердым, и я стал бы себя презирать, если бы упустил такую возможность принести большую пользу людям... Каково же было мне, когда две недели спустя эти надежды лопнули как мыльный пузырь!»

Образовалась новая антинаполеоновская коалиция, возникла угроза новой войны. Средства, отпущенные для экспедиции Бодена, пришлось заморозить в интересах обороны страны, а экспедицию отложить до более спокойных времен. «Горечь подобного положения может понять только тот, кто это испытал, но мужчины должны действовать, а не впадать в уныние».

Эме Бонплан. Новые неудачи

У Гумбольдта созревает смелое решение — отправиться вслед за французским экспедиционным корпусом, находившимся в то время в Сирии, в надежде присоединиться к одному из караванов в Триполи и вместе с ним совершить переход через пустыню в Каир.

Своим планом ему удалось воодушевить одного молодого француза, тоже мечтавшего отправиться в дальнее научное путешествие и уже включенного в состав экспедиции капитана Бодена. Это был врач Эме Бонплан, родом из портового городка Ла-Рошель в Вандее, где его отец имел хирургическую практику. Бонплан изучал медицину, в 1794 году был призван на военную службу во флот, где некоторое время исполнял обязанности ассистента хирурга в Рошфоре, но потом как «студент отечества» был досрочно допущен к первому экзамену по специальности. По настоянию отца завершил учебу в парижской *École de Médecine*. Успехи Бонплана на медицинском поприще оставляли желать лучшего: из всех предметов, которые ему пришлось сдавать на выпускных экзаменах, единственную хорошую оценку он получил по ботанике. Подлинным и страстным его увлечением были растения. Впоследствии Гумбольдт рассказывал, как, проходя мимо конторки портье отеля «Бостон» на улице Коломбье, где он в то время жил, он часто сталкивался с молодым человеком с ботанизированной в руках, жившим там же. Собственно, ботанизированной, этому постоянному спутнику любого ботаника, они и обязаны своим знакомством, именно благодаря ей Гумбольдту суждено было заполучить надежного друга, верного спутника и компетентного помощника во многих своих делах: в сборе растений, в

их классификации и даже в разработке основ целой науки — географии растений.

Двадцатипятилетний врач мастерски владел скальпелем, что очень потом пригодилось в пути, так как им постоянно приходилось препарировать мелкие растения, к тому же у него был опыт участия в составлении большого французского каталога растений. Гумбольдту не понадобилось потратить слишком много усилий, чтобы увлечь молодого француза своими планами: врачебная карьера тому совсем не улыбалась и еще менее — перспектива возглавить в будущем отцовскую практику в Ла-Рошели. Как выяснилось потом при близком общении, бациллой авантюризма и жаждой опасных странствий сей славный гражданин Франции был заражен еще больше, чем непоседливый прусский дворянин. Единственное, что препятствовало участию Бонплана в этих обширных и дорогостоящих планах, — это отсутствие денег. Но поскольку Кунту тем временем удалось перевести часть недвижимости в деньги, то у Гумбольдта руки оказались развязанными. Он целиком взял на себя все расходы по экспедиции, а также уговорил своего французского друга, не упорствовать в щепетильности и участвовать в ней за его счет.

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что направление путешествия было для них не так важно, как сама возможность вырваться из сферы влияния европейских морских держав, попеременно блокировавших друг друга на море. Серьезнейшей проблемой было получить разрешение посетить интересующие их места. Поскольку их предприятие было сугубо частным делом, то первое, что им предстояло, — это преодолеть недоверие колониальных держав ко всякого рода путешествиям и экспедициям, совершавшимся не по инициативе правительств.

Неожиданно подвернулась оказия добраться до Северной Африки. Шведский консул в Алжире,

заехавший по делам в Марсель, ожидал прибытия шведского фрегата, который смог бы доставить его в Алжир, не подвергаясь опасности нападения со стороны англичан, охотившихся за французскими судами. Он и пригласил Гумбольдта и Бонплана воспользоваться его кораблем. 20 октября 1798 года друзья покинули Париж и спешно направились в Марсель — увы, навстречу еще одному разочарованию.

Шли недели, а фрегат не появлялся. После месячного ожидания им стало известно, что он потерпел кораблекрушение, а замены не будет до весны. Тогда Гумбольдт начал переговоры с капитаном небольшого парусника из Рагузы, готовившегося к отплытию в Тунис. Но еще до того как каюту очистили от домашней птицы и прочей живности, служившей экипажу провиантом, и как следует прибрали для обоих пассажиров с их многочисленными инструментами, в порту появились купцы, принесшие новые малоутешительные вести с североафриканского побережья.

В Верберии, как называли в то время группу стран между Средиземным морем и Сахарой, уже много веков владычествовали турецкие беи, номинально подчинявшиеся султану в Константинополе. Алжир, Тунис и Триполи считались особенно варварскими краями, население этих областей изнемогало под беспросветным гнетом деспотических режимов, а в укромных уголках прибрежных вод всегда таились пираты, коварно подстерегавшие добычу и бесчинствовавшие по всему Средиземноморью. Когда Гумбольдт с Бонпланом уже отважились на рискованное путешествие в Северную Африку, пришло известие, что в Тунисе — в ответ на поход Бонапарта в Египет — начали сажать в тюрьмы лиц не только французского происхождения, но и всех иностранцев вообще, прибывающих из французских портов. В такой ситуации отправляться в экспедицию с участием француза и

держат курс на Египет, да еще имея при себе «подозрительные» инструменты, было бы чистейшим безумием.

Что же делать? В Париж Гумбольдт уже решил не возвращаться. Если ничего не получается с Египтом, то неужели нет никакой возможности добраться до Вест-Индии? Некоторую ясность в это дело он мог бы внести только одним путем — побывав в Испании — стране, которая безраздельно господствовала в тропических областях Центральной и Южной Америки.

Наконец у заветной цели

В конце декабря 1798 года друзья опять отправляются в путь и в начале февраля 1799 года прибывают в Мадрид.

По дороге Гумбольдт испытывает свои инструменты, определяет точное местонахождение географически интересных точек и их высоту над уровнем моря, изучает геологические образования Кастильской возвышенности, совершает восхождение на Монтсеррат; пользуясь секстантом, хронометром, барометром и термометром, он собирает данные для геологического и картографического изучения профиля большого массива местности. Бонплан тем временем с энтузиазмом собирает и классифицирует растения.

Гербарий образовался внушительный: только один Вилльденов получил перед отъездом Гумбольдта из Испании коллекцию из четырехсот растений. Этот путь, проделанный большей частью пешком, был для них чем-то вроде репетиции перед настоящим научным путешествием. Они учились смотреть на страну и ее людей наблюдательным глазом естествоиспытателя, стремились побольше подмечать, запоминать, сравнивать, анализировать; им нравились гостеприимство и жизнерадостность испанцев, но случалось порой и проклинать этот край, когда представители святой инквизиции, бывавшие свидетелями их магнитных и метеорологических измерений, осуждали их занятия как вредную, богопротивную и недостойную христианина возню.

В Испании по-прежнему существовали средневековые суды, расправлявшиеся с еретиками; после непродолжительной эпохи относительного либерализма и просвещения в период царствования

короля Карла II (1759–1788) с началом Великой французской революции суды эти с, еще большей жестокостью подавляли всяческое проявление свободомыслия. Король Карл IV был не способен править страной: за него это делала супруга Мария-Луиза Пармская с помощью своего возлюбленного — «Князя мира» Годоя, сумасброда и эгоцентрика, который, пользуясь своим положением, втягивал страну в бесконечные войны — то с Францией, то с Англией. Ко времени прибытия Гумбольдта в Испанию страна находилась в полной зависимости от Франции, возглавлявшейся тогда Директорией. Расточительство двора обостряло и без того катастрофическое финансовое положение королевства; флот уже после первого морского боя с английскими судами 14 февраля 1797 года понес тяжелейшие потери; испанское побережье было блокировано британскими военными кораблями, морская торговля, источник былого богатства, пришла в полный упадок, а владение американскими колониями оказалось под угрозой.

Все это не могло настраивать Гумбольдта на слишком оптимистический лад. Ситуация осложнялась для него еще и тем, что война на море и взаимное недоверие великих держав привели к «закрытию» колоний. Колониальная торговля была монополизирована. Большие флотилии ходили под прикрытием военных кораблей и пересекали Атлантику лишь несколько раз в год.

Упадок династии испанских Бурбонов накладывал свой отпечаток и на политику их христианских наместников на огромной территории американских колоний. А территория эта простиралась от Тихоокеанского побережья у Сан-Франциско до южных провинций Чили; она охватывала Южную и Центральную Америку, кроме португальских владений (Бразилия, Патагония, Огненная Земля), вместе с большей частью

вест-индских островов, а также юг и запад нынешней территории Соединенных Штатов (Луизиану, Техас, Нью-Мексико, Калифорнию). Четыре испанских вице-короля — в Мехико, Боготе, Лиме и Буэнос-Айресе вместе с четырьмя генерал-капитанами в Гватемале, Каракасе, Сантьяго и Гаване, опираясь на каких-нибудь несколько тысяч солдат и чиновников, а также на католические миссионерские общества, безраздельно хозяйничали там, пользуясь неограниченной властью, чиня любой произвол и жестоко расправляясь со всеми, кто подавая хоть малейшие знаки неповиновения.

Индивидуальная торговля с иностранными гражданами каралась конфискацией имущества, а в отдельных случаях — и смертной казнью; за передачу чужим лицам статистических данных о состоянии экономики и народонаселения грозило пожизненное заключение.

Неудивительно, что за три столетия испанского владычества в этот регион было совершено считанное количество путешествий, имевших научное значение. К тому же поле деятельности путешественников ограничивалось прибрежными районами. Да и в португальских колониях Южной Америки дела обстояли не лучше. Александр Маласпина, по поручению испанского короля занимавшийся топографическими измерениями северного побережья западной части Америки, по возвращении домой в 1795 году был арестован как лицо политически подозрительное. Гумбольдт, отправляясь на запад, часто вспоминал своего непосредственного предшественника, который все еще сидел в тюрьме: «В тот момент, когда я покидал Европу, чтобы посетить страны, по которым с такой пользой прошел этот знаменитый путешественник, мне хотелось бы занять свои мысли менее печальным предметом».

Привыкший к разочарованиям, Гумбольдт медленно приближался к Мадриду и не мог знать, что подходил к исполнению своего заветного желания. Посудите сами: Эме Бонплан — французский гражданин, притом не только по бумагам, а убежденный и страстный сторонник революции, Гумбольдт, хотя и немецкий барон, но явно еретически мыслящий естествоиспытатель и притом, вероятно, тоже республиканец. Могли ли они рассчитывать на радушный прием? Вполне естественно, что в испанских канцеляриях и в совете по делам Вест-Индии пришельцы были встречены с крайним недоверием. Несмотря на приобретенные дипломатические навыки, Гумбольдту скорее всего едва ли посчастливилось бы получить разрешение посетить испанские владения в Америке, если бы ему не удалось заполучить в союзники двух влиятельных особ в лице саксонского посланника барона Фореля и первого статс-секретаря испанской короны Мариано Луиса де Уркихо.

Форель сумел представить в выгодном свете славу немецкого естествоиспытателя и обеспечить ему доступ ко двору. Уркихо, с которым Гумбольдт познакомился, очевидно, еще в Лондоне, горячо поддерживал его план. Он был весьма просвещенным человеком и убежденным противником средневекового мракобесия, в тени которого по-прежнему находился несчастный испанский народ. Инквизиция уже протянула свои руки к опасному вольнодумцу, когда коварный Годой, впавший у королевы в немилость из-за своих альковных приключений, рекомендовал его на роль одного из двух своих преемников — в надежде на то, что между прогрессивно мыслящим Уркихо и его ретроградом-противником очень скоро возникнет конфликт и «Князю мира» легко будет создать впечатление, что только его, Годоя, единоличная власть сможет спасти испанских Бурбонов от народного гнева. Проницательному первому

статс-секретарю удалось разгадать интриги бывшего фаворита королевы и — более того — создать у королевской семьи, обеспокоенной прочностью трона и собственным благополучием, мнение, что он для нее человек незаменимый.

Именно его советам и влиянию был обязан Гумбольдт тем, что ему и Бонплану, «его адъютанту и секретарю», как сказано было в распоряжении Уркихо для соответствующего ведомства, были выписаны особые паспорта с неограниченными полномочиями относительно сроков пребывания в испанских колониях и права пользования научными инструментами. «Никогда еще, — писал Гумбольдт, — никакой путешественник не получал столь неограниченных возможностей, никогда еще никакой иностранец не бывал облечен большим доверием со стороны испанского правительства, чем это выпало нам».

Уже в мае были закончены приготовления к многолетней научной экспедиции. Оба друга отправились в порт Ла-Корунья, чтобы оттуда отплыть на рейсовом пакетботе на Кубу.

По следам Колумба

У входа в порт Ла-Корунья стояли два английских фрегата и один линкор. Сможет ли выйти в море испанское почтовое судно и если да, то когда, сказать было трудно. Фрегату «Писарро» предстояло пойти на риск и попытаться проскользнуть незамеченным, как только позволит обстановка.

«Какое же мне выпало счастье! — торжествовал Александр в одной из своих прощальных писем к Фрайеслебену от 4 июня 1799 года. — Я отплываю на испанском фрегате „Писарро“. Мы сойдем на берег на Канарских островах и побережье Южной Америки, у Каракаса. Какую уйму наблюдений можно будет сделать к моему труду о строении Земли! Оттуда напишу подробнее. Человек должен стремиться к доброму и великому, а остальное — в руках судьбы».

«С его гением, — писал Гёте 26 мая 1799 года Вильгельму фон Гумбольдту в ответ на сообщение последнего о предстоящем отъезде Александра, — с его талантами и деятельной натурой результаты путешествия могут быть совершенно непредсказуемыми для науки, можно даже утверждать, что придет время, и он сам будет удивляться тем сокровищам, добыть которые ему теперь предстоит».

В ночь на 5 июня поднялся ветер, а утром на гавань опустился густой туман. В два часа пополудни «Писарро» снялся с якоря и вышел в открытое море, ускользнув от бдительного ока английских кораблей.

В пути Гумбольдт занимался измерениями температуры морской воды — обычно ночью, при свете затемненного фонаря, чтобы не привлекать внимания британских блокадных крейсеров, а также изучал морские течения. Что касается последних, то изучением

морских и океанских течений занимались и до Гумбольдта; так, еще пятнадцать лет назад в области физических исследований моря с целью облегчения судоходства кое-что было сделано Бенджамином Франклином, великим борцом за свободу североамериканских штатов и изобретателем молниеотвода (это он переименовал известное испанским завоевателям течение у берегов Флориды в Гольфстрим). Но лишь Гумбольдт впервые по-настоящему задался целью выяснить, какое практическое значение для мореплавания (а в те времена существовал только один флот — парусный) может иметь знание законов, которым подчиняются морские течения.

17 июня 1799 года «Писарро» подошел к Грациозе, одному из Канарских островов, а двумя днями позже встал на якорь у входа в Санта-Крус. Гумбольдт был ошеломлен красотой «Счастливых островов», как называли древние этот уголок у западного побережья Африки. Пышная и многоцветная субтропическая растительность с характерным для этих мест драконовым деревом и вечнозеленым лавром на ботаника действовала неотразимо. Взгляд геолога же устремлялся на голые горные зубцы местами красноватых, местами почти черных горных массивов и останавливался на пике Тейде на Тенерифе. Первый вулкан, первый в жизни кратер, который ему довелось увидеть собственными глазами, был главной причиной недельного перерыва в плавании «Писарро», что оказалось возможным благодаря необычным полномочиям, предоставленным обоим исследователям. «Королевский паспорт поистине творит чудеса», — писал Гумбольдт брату.

В кратере пика Тейде

Александр Гумбольдт — брату
Пуэрто Ортава, у подножия пика на Тенерифе, 23
июня, вечер

«...Вчера поздно вечером вернулся после восхождения на вершину пика. Какой вид! Какое наслаждение! Мы спускались в кратер — вероятно, глубже, чем какой-нибудь другой путешественник до нас... Все это не так уж опасно, но вот усталость от чередования жары и холода одолевала нас: в кратере мы прожгли себе дыры в одежде, попадая под раскаленные серные газы, и тут же у нас стыли руки, хотя было вроде не так холодно — 2° по Реомюру (-2,5° по Цельсию).

Боже, какие удивительные ощущения на этой высоте в 11 500 футов!^[11] Над головой — густо-синий купол неба, а под ногами — застывшие потоки лавы; всюду — картины разрушения и запустения; на три квадратных мили вокруг — сплошная пемза, голое место, окруженное венцом лавровых деревьев, а ниже — виноградники, на границах между которыми растут банановые пальмы, — и так до самого моря; крошечные изящные деревеньки у берега; море и семь островков, на двух из них имеются очень высокие вулканы, и все это — под тобой как географическая карта!

Кратер, где мы побывали, испускает струи серных газов, земля раскалена до 70° по Реомюру (87,5 °C). По бокам кое-где прорывается лава. Есть и маленькие кратеры, как те, что два года назад освещали весь остров. За два месяца до извержения была слышна подземная канонада, камни размером с дом взлетали на высоту до 4 тысяч футов. Я сделал тут кое-какие важные минералогические наблюдения. Вулкан представляет

собой базальтовую гору, на которой имеются отложения порфиритового сланца и обсидианового порфира. В нем неистовствуют огонь и вода. Я видел, как отовсюду вырываются водяные пары. Почти все участки застывшей лавы — это расплавленный базальт. Пемза образовалась из обсидианового порфира, у меня есть куски, которые представляют собой наполовину то, наполовину — другое.

Неподалеку от кратера, среди группы камней, которые здесь называют „la Estancia de los Ingleses“, у основания застывшего потока лавы на высоте 1200 туазов^[12] над уровнем моря мы провели ночь под открытым небом. В два часа утра мы снова двинулись в путь к последней вершине. Небо было чистым, звезды сияли, мягко светила луна. Но так продолжалось недолго. Поднялся сильный порывистый ветер, и нам даже приходилось крепко цепляться за зубцы кратера. Резкие порывы ветра отдавались в расщелинах гор раскатами грома. Потом облака отделили нас от остального мира. Мы карабкались наверх и чувствовали себя одинокими и затерянными в тумане. Этот быстрый переход от мягкого лунного света к мрачной туманной мгле и ветру производил весьма необычное впечатление.

Добавление. В Вилья Ортава есть драконовое дерево 45 футов в обхвате. Таким же толстым, как и сейчас, оно было и четыреста лет тому назад, еще во времена гуанчос. Я собираюсь в дорогу почти со слезами: мне хотелось бы здесь поселиться. Увидел бы ты здешние луга и тысячелетние сады лавров, этот виноград и эти розы! А абрикосами здесь откармливают свиней. На дорогах полно верблюдов.

Совсем скоро, 25-го, мы отплываем».

Прибытие в Новый Свет

Пока «Счастливые острова» медленно отдалялись от шедшего под парусом фрегата, Гумбольдт возобновил наблюдения за звездным небом и морскими течениями. Одновременно хотелось систематизировать новые впечатления, сопоставлять и обдумывать их.

Действительно ли острые зубцы Грациозы давали совершенно новый для науки материал? Были ли базальт и порфириновый сланец так уж уникальны и намного ли отличались от базальтов на Рейне и фонолитовых вершин на Рене и Вестервальде, а вулканические газы на Тейде от тех, которые вырываются из кратеров в других местах? Похоже было, что нет. А вот о флоре «Счастливых островов» этого сказать было нельзя. Здешняя растительность не только отличалась от той, к которой Александр привык в Европе, она еще менялась на глазах в зависимости от высоты: внизу — цветущие банановые, финиковые и кокосовые пальмы и другие тропические растения, а у горных вершин — лишайники и мхи, подобные тем, какие живут в холодных регионах Лапландии. Казалось, климат и высота над уровнем моря диктовали закон распределения растительности на земле. Наблюдения над местной флорой рождали мысли, легшие потом в основу географии растений.

Какими бы ни были выводы, к которым приходил молодой ученый в своих сопоставлениях относительно тех или иных явлений в живой и неживой природе в различных частях света, повсюду он видел движение и взаимодействие, причину и следствие, взаимосвязь общего и частного, особенного, позволявших объединить массу единичных наблюдений над органической и неорганической природой в некую систему, в единую «физику земли».

Гумбольдт начал вести научный дневник; материалы наблюдений он старался располагать в строгом порядке, чтобы потом, по возвращении домой, их легко можно было бы обработать. Кроме того, попадая в новую для себя местность, он стремился всякий раз запечатлеть ее облик на бумаге. Он рисует и делает записи, стараясь точно передать в словах целые ландшафты, ибо, считает он, «когда путешественнику приходится описывать высокие горы, большие реки, горные долины Анд, он рискует утомить читателя монотонностью своего восхищения. Рельеф местности лучше всего удастся передать тогда, когда схватываешь отдельные его черты, сопоставляешь их и таким путем стараешься понять, в чем секрет того очарования, которое исходит от величественной картины природы».

Каюта на испанском паруснике, где размещались оба путешественника, постепенно превращалась в нечто среднее между кабинетом ученого и лабораторией.

Незадолго до того, как на горизонте появилось южноамериканское побережье, на борту «Писарро» вспыхнула эпидемия. Надо было как можно скорее добраться до ближайшего порта. До Каракаса, тогдашней резиденции генерал-капитана испанской провинции Новая Андалусия и нынешней столицы Венесуэлы — далеко, гораздо ближе — Кумана, город на берегу длинного морского рукава, глубоко вдающегося в сушу. С высадкой в Кумане их настоящая цель — Куба — отодвигалась на неопределенное время. Из вест-индской экспедиции получалось нечто большее, чем предполагал Гумбольдт. Так началось полное приключений «Путешествие в равноденственные области Нового Света», продолжавшееся пять лет и получившее название «Нового открытия Америки».

16 июля 1799 года исследователи сошли на берег. Перед ними простирался неизведанный мир, полный тайн и неожиданностей. С мыслью как можно быстрее

попасть в Каракас пришлось расстаться. На полных четыре месяца друзья вынуждены были застрять здесь; они бродили по Кумане и ее окрестностям, исключая несколько дней, проведенных на полуострове Арая, и три недели морского путешествия к индейцам-каймасам, которое прошло без сколько-нибудь примечательных событий, кроме разве что небольшого землетрясения 4 ноября и метеоритного дождя, наблюдавшегося ими 12 ноября у побережья Венесуэлы.

Чудеса за чудесами

Из писем и записей Александра Гумбольдта:

«С той же долей везения, с какой нам удалось ускользнуть из-под бдительного ока англичан и добраться до Тенерифе, мы завершили наше морское путешествие. В пути я все время работал, особенно же много успел по части астрономических наблюдений. Несколько месяцев мы пробудем в Каракасе; это — божественная и изобильная земля. Чудесные растения, электрические угри, армадилы, обезьяны, попугаи, полудикие индейцы — очень красивая и интересная человеческая раса.

Куману из-за близости заснеженных гор можно считать, наверное, самым прохладным и самым здоровым местом в Америке. Климат тут как в Мексике. Уголок этот до сих пор остается, пожалуй, самым малоизученным на земле, несмотря на визит Жакена, — стоит только чуть-чуть углубиться в горы. Если что-то, кроме очарования этой волшебной природы (со вчерашнего дня, например, мы не видели ни одного растительного или животного продукта из Европы), и заставляет нас задерживаться здесь, в Кумане, в двух сутках морского перехода от Каракаса, — так это весть о появлении в прибрежных водах английских военных кораблей...

За двадцать пиастров в месяц мы сняли совсем новый симпатичный домик, да еще с прислугой — двумя негритянками, одна из которых даже умеет готовить. Недостатка в еде мы не испытываем, жаль только, что нет ничего мучного, похожего на хлеб или сухари. Город все еще наполовину лежит в развалинах, так как знаменитое землетрясение, разрушившее Кито в 1797 году, не пощадило и Куману, несмотря на огромное

расстояние между ними. Город этот расположен на берегу залива, красивого, как залив в Тулоне, и как бы в центре огромного амфитеатра, образованного полукруглой громадой гор (5–8 тысяч футов высотой), густо поросших лесом. Все дома здесь построены из дерева местных пород, преимущественно из атласного. Вдоль речушки (Рио де Кумана), похожей на нашу Заале под Йеной, вытянулись цепочкой семь монастырей с прилегающими плантациями, как две капли воды похожими на английские сады. За чертой города живут краснокожие индейцы; почти все мужское население ходит нагишом. Хижины у них сделаны из бамбука и покрыты листьями кокосовых пальм. Я зашел в одну и застал мать с детьми за трапезой: в руках у каждого — миска из скорлупы кокосового ореха, а в ней — рыба. Стол и стулья заменяют им грубо выделанные куски кораллового известняка. Плантации все открытые, на них можно заходить свободно. В большинстве домов двери не закрываются даже ночью, настолько добродушен здешний народ. Настоящих индейцев в этих краях больше, чем негров.

...Мы все еще носимся здесь как ошалелые; в первые три дня нам не удастся заняться ничем серьезно — хватаемся то за одно, то за другое. Бонплан уверяет, что сойдет с ума, если чудеса не прекратятся. И все же прекраснее любого из этих чудес то впечатление, которое производит здешняя растительность в целом — пышная, исполненная силы и в то же время легкая, бодрящая, мягкая. Я чувствую, что буду здесь очень счастлив и что эти впечатления останутся незабываемыми на всю жизнь...»

«Когда путешественник из Европы впервые вступает в леса Южной Америки, ему открывается совершенно неожиданная картина. Все, что он видит, лишь отдаленно соответствует описаниям природы в книгах знаменитых писателей, побывавших на берегах

Миссисипи, во Флориде и других частях Нового Света с умеренным климатом. Каждый шаг напоминает ему, что он находится не на границе тропической зоны, а непосредственно в ней самой, не на одном из Антильских островов, а на огромном континенте, где все имеет гигантские размеры: горы, реки, буйная растительность. Если он восприимчив к красоте ландшафта, то ему трудно разобраться в обилии своих ощущений. Он не может сказать, что удивляет его больше — красота природных форм и их контрасты или же буйство и пестрота растительного мира. Кажется, будто почва слишком перегружена растениями и они задыхаются от тесноты. Стволы деревьев прячутся под плотным зеленым ковром, и если взять, например, и аккуратно рассадить в землю все орхидеи, перечные и другие растения, живущие на одной-единственной робинии или американском фикусе, то их хватит на целый участок. Или вот лианы — то ползут по земле, то вдруг взлетают вверх, до самых вершин деревьев, и там, на высоте более сотни футов, перебираются с одного дерева на другое. Повсюду вперемежку бездна растений-паразитов, с ними ботанику надо быть предельно внимательным, чтобы в хитросплетениях листьев, соцветий и плодов не перепутать, какому виду что принадлежит.

Несколько часов мы провели под сенью этого зеленого шатра, сквозь который едва-едва проглядывает голубое небо. На фоне сочной тропической зелени с характерным чуть коричневатым оттенком синева неба отдает глубоким индиго. Горы покрыты крупным древовидным папоротником, значительно отличающимся от *Polypodium Arboreum* Антильских островов. Здесь нам впервые попались на глаза странные гнезда в форме бутылки или мешочка, подвешенные к ветвям низкорослых деревьев. Создатели этих сооружений — дрозды, чье пение

беспрерывно перемежается сильными криками обычных попугаев и ара. Ара, известные повсюду благодаря яркому оперению, летают только парами, в то время как другие — стаями по несколько сотен. Надо пожить в этих краях, особенно в жарких областях Анд, чтобы поверить тому, что крики этих птиц порой перекрывают оглушительный шум низвергающихся со скал горных рек».

«Невыразимо глубоко, ни с чем не сравнимо впечатление, остающееся у нас от первого землетрясения, даже если тому не сопутствует подземный грохот. Пристывает оно, я думаю, от нахлынувшего не столько страха и предчувствия ужасающих картин смерти и разрушения, которые воображение услужливо рисует нам по рассказам очевидцев или виденному собственными глазами. Дело скорее в другом: в тот момент мы испытываем разочарование, теряя устойчивость и врожденную веру в надежную неподатливость прочной земной коры.

С самого раннего детства мы привыкаем к контрасту между подвижностью водной стихии и неподвижностью земли. Все органы наших чувств неизменно нас убеждают в этом. И когда почва вдруг начинает колебаться у нас под ногами, мы отчетливо ощущаем, что в игру вступает неведомая природная сила, сотрясающая все неподвижное. Одно мгновение разрушает иллюзию всей предшествовавшей жизни. Мы разочарованы тем, что спокойствие природы, увы, обманчиво, и перестаем доверять земле, по которой ходим. Мы начинаем сознавать, что находимся в сфере мощных разрушительных сил. Каждый шорох, каждое легкое движение воздуха напрягает наше внимание. Необычность явления вызывает и у животных боязливое беспокойство. Больше всего захватывает паника свиней и собак; крокодилы в Ориноко, обычно молчаливые, как

наши маленькие ящерицы, покидают русла рек и с ревом устремляются в лес.

Человеку землетрясение видится чем-то вездесущим и беспредельным. От кратера, возобновившего свою активность, от потока лавы, движущегося к дому, можно уйти, а при землетрясении человеку кажется, что, куда ни беги, все равно остаешься внутри очага разрушения и гибели. Такое душевное состояние, идущее из самых затаенных глубин нашего естества, продолжается, однако, недолго. Если в каких-то областях слабые подземные толчки следуют друг за другом сериями, то у жителей этих мест почти напрочь исчезает всякое чувство страха. На побережье Перу, где не бывает дождей и люди не знают ни града, ни молнии, ни раскатов грома, последнее им заменяет подземный грохот, сопровождающий сотрясения земли... Многолетняя привычка и очень распространенное мнение, что опасные землетрясения бывают якобы не чаще двух-трех раз в столетие, ведут к тому, что в Лиме, например, на слабые подземные толчки обращают не больше внимания, чем в зоне с умеренным климатом на град...

Подземный грохот и гул, если они не сопровождаются ощутимыми толчками, производят особенно острое впечатление даже на тех, кому случалось жить в районе частых землетрясений. Внутренне сжавшись, люди ждут, что же последует за подземной канонадой. Самый яркий и ни с чем не сравнимый пример непрерывного грохота, за которым не последовало никакого землетрясения, представляет собой явление, известное на мексиканском плоскогорье под названием „подземного грома“ Гуанамато (Гуанахуато). Этот знаменитый и богатый город находится вдали от всех действующих вулканов. Подземный грохот начался ночью 9 января 1784 года и продолжался около месяца. Казалось, что под ногами

жителей города ходят тяжелые грозовые облака; медленные раскаты сменялись резкими короткими ударами. Грохот раздавался на ограниченном пространстве: стоило отойти на несколько миль, и на базальтовых участках почвы никакого шума уже слышно не было.

Так разверзаются и смыкаются невидимые бездны в глубинах Земли».

Вокруг Куманы

Друзья без устали собирали растения, насекомых, ракушки и многое другое. У Бонплана к декабрю 1799 года коллекция тропических растений перевалила за шестнадцать сотен. Немало ему пришлось потрудиться и над описанием многих новых видов и семейств растений, над дополнением и уточнением французского каталога флоры мира. Собранный попутно коллекция семян была послана в Париж для пробного рассаживания в теплицах; заокеанские семена, как потом выяснилось, уверенно пустили ростки и стали украшением королевского сада, а впоследствии обрели почву и в других странах Европы.

Пока Бонплан ботанизировал, систематизировал, анатомировал, Гумбольдт старался сделать побольше заметок и наблюдений, касающихся закономерностей распространения растений. Он исследовал зависимость характера флоры от климата и почвы, изучал влияние этих условий на земледелие и вообще на человеческое общество. Он часто проводил химический анализ атмосферного воздуха (и тут ему очень пригодились познания в области химии), удивительно высокий процент влажности которого давал повод к предположению, что именно в ней наряду с жарой надо искать еще одну причину меньшего, чем в зонах с умеренным климатом, коэффициента преломления света.

Инструменты и приборы, которые Гумбольдт приобрел и испробовал в Европе, отлично себя зарекомендовали. Ночью, когда в «прозрачность, красоту и великолепие» тропического неба приходилось напряженно всматриваться, помогала Венера — она заменяла Луну. Ее венец светился «чистейшими цветами

радуги, даже когда воздух был совершенно прозрачен, а небо — густо-синим». Порой бывало настолько светло, что Гумбольдт легко мог через лупу различать деления на шкалах своего маленького секстанта. В работе с этим инструментом Гумбольдт мог проводить целые дни, определяя местоположение интересующих его точек на земле, собирая данные для составления карты внутренних районов континента или измеряя высоту солнца над горизонтом. Результаты своих замеров он посылал друзьям в Европу для проверки.

28 октября, в день солнечного затмения, он так увлекся измерениями, что получил солнечный удар. Записки, касавшиеся извержений здешних вулканов и землетрясений, тоже были отправлены в Германию, с ними и любопытная заметка о том, что вулкан Тунгурагуа, жертвами извержения которого два года назад пали тысячи людей в Кито, «выбрасывал больше горячей воды и грязи (*terre pateuse*), чем лавы, и что он являет собой тот вулкан, посредством которого природа хочет помирить и объединить нептунистов с вулканистами».

Открывая все новые и новые «чудеса», пользуясь скромным набором инструментов, оба молодых исследователя мужественно делали свое дело, несмотря ни на какие неудобства. В общении с местным населением у Гумбольдта и Бонплана проблем не было. Как велико было доверие, которое они завоевали за несколько недель у этих обездоленных людей, не затронутых цивилизацией, показывает один мелкий эпизод, имевший место во время землетрясения. Когда вечером 4 ноября 1799 года в Кумане резко усилился подземный шум и стало ясно, что в третий раз на день можно ждать новых опасных толчков, то к бесстрашно трудившимся у своих приборов пришельцам прибежали озабоченные индейцы, чтобы спросить, действительно ли будет новое землетрясение.

Эти люди, «мирные индейцы и карибы», — «интереснейший, — по словам Александра, — объект научного изучения, какой только может существовать для естествоиспытателя», влекли его в район обитания индейцев-каймазов, где хозяйничали испанские миссионеры-капуцины. В отличие от доверчивых и гостеприимных индейцев-дикарей, приглашавших Гумбольдта на ночевку в свои хижины, испанские монахи нередко не проявляли к нему никакого интереса, а то и относились с неприкрыто враждебным недоверием к его «еретическим» замыслам, несмотря на королевские паспорта и широкие полномочия. «Как можно вообще поверить в то, что вы покинули свою родину, — сказал им один такой миссионер в Уруане (это было позднее, когда они уже путешествовали по Ориноко), — и объехали полсвета ради того, чтобы здесь, на этой реке, отдавая себя на съедение москитам, обмерять землю, которая вам не принадлежит?» А глава первой миссии, которую посетил Гумбольдт в Южной Америке, удостоил их инструменты презрительной улыбкой. «Говядина, — мечтательно произнес сей достойный сеятель веры, — не считая сна, — самое изысканное наслаждение в жизни».

«Золотая Кастилия»

21 ноября 1799 года после трехдневного плавания вдоль побережья Гумбольдт и Бонплан прибыли в Каракас, рассчитывая дождаться там благоприятной погоды (стояла пора кануна дождей) и двинуться оттуда далеко в глубь континента, но смогли начать это путешествие лишь в первой декаде февраля 1800 года.

Их прибытие в город не только не осталось незамеченным, но и вызвало живейший интерес и любопытство у местной аристократии. Путешественники не успели оглянуться, как оказались втянуты — глубже, чем им хотелось бы, — в круговорот светской жизни, в интенсивное общение с господами, привыкшими все на свете оценивать с точки зрения материальной выгоды, а к «еретическим» новшествам вроде естественных наук выказывавшими полнейшее равнодушие. Ни одному из местных испанцев, к примеру, не приходило никогда в голову взойти на Силья де Каракас, гору неподалеку от города, которая так манила пытливого Гумбольдта.

С нетерпением ждали друзья окончания сезона дождей. Ждали — но не сложа руки. Так, например, чтобы только попытаться проследить отдельные фазы орбиты Юпитера, им пришлось не спать двадцать семь ночей — и все понапрасну. Успешнее было восхождение на Силью и экспедиция в район, лежащий между побережьем и озером Валенсия. Плантации какао в низинах Арагуа, хлопчатника у Куры, сахарного тростника у Мантеролы, золотые копи в долинах Туи дали массу материала для наблюдений аграрно-экономического и социально-политического порядка; обилие новых впечатлений молодые ученые вынесли от осмотра горячих источников в Мариаре и Тринчере, от встречи с молочным деревом на подходах к «одному из

красивейших портовых городов» — Пуэрто-Кабельо, откуда они направились на юг по суше, от первого перехода через «льяносы» (так называют здесь степи) и, наконец, от ловли электрических угрей, состоявшейся в Калабосо.

Первое знакомство с рабовладельческими фермами и с образом жизни крупных испанских землевладельцев в Валенсии и ее окрестностях не вызвало у них ничего, кроме стыда и негодования. Хищническому растранижению колонизаторами здешних природных богатств вполне отвечала и свирепая эксплуатация негров, которые после почти полного истребления коренных жителей Вест-Индских островов сотнями тысяч вылавливались в джунглях Африки и переправлялись через Атлантику; колониальные власти Каракаса использовали их главным образом на плантациях пшеницы, хлопка, табака, сахарного тростника и какао.

Гумбольдт, как-никак прусский дворянин, вопреки местным обычаям не видел совершенно ничего зазорного в том, чтобы делить ночной отдых с чернокожими рабами, работавшими на плантациях, и проводить ночь под открытым небом, расположившись рядом с ними на подстилке из воловьей кожи. С удивлением выслушивал он жалобы испанских арендаторов, проклинавших низкую продуктивность табачного хозяйства в этой провинции, когда-то названной «Castilia del Oro» — «Золотая Кастилия». Хозяева по-прежнему мечтали о золоте, почти у каждого испанца был свой золотой рудник в горных районах, пусть даже заросший деревьями и папоротником, подобно тем рудникам, которые Гумбольдт видел у Туи. Вполне же реальным золотом в руках латифундистов были чернокожие рабы, трудившиеся не разгибая спины от зари до зари в самый нестерпимый зной, в то время как в обычае богатых рабовладельцев было дважды в

день принимать ванну, трижды — пищу и три раза погружаться в сон. Да и могло ли быть иначе? Оказывается, могло, я такое видел Гумбольдт в горной долине Арагуа, где трудолюбивые и жизнерадостные люди старательно обрабатывали свои участки, пусть не очень большие, но вполне отвечавшие возможностям их рабочих рук. Просто одному испанскому графу пришло в голову отдать часть своих земель вольноотпущенным неграм в свободное владение под низкие проценты.

Но вернемся к растительному миру. В той же долине оба путешественника впервые увидели дерево, на котором росли диковинные плоды с крылышками, — «Volador» — единственный экземпляр на всем их пути. А еще им случалось испытать странное чувство, когда они воочию убедились в существовании того, что почиталось ими за вымысел аборигенов, — дерева, из которого при надрезе выступает жидкость, по вкусу очень похожая на молоко. «Несколько капель этого сока, — писал Гумбольдт о молочном, или коровьем, дереве, распространенном в прибрежных районах Венесуэлы, — дает нам повод лишний раз удивиться богатству и животворной силе природы. На иссушенном зноем склоне скалы растет дерево с сухими и жесткими листьями; его толстые, массивные корни с трудом проникают в каменистую почву; многие месяцы в году стоит оно без капли дождя, его ветви выглядят засохшими и отмирающими; однако стоит сделать углубление в стволе, как из него выступает приятное на вкус молочко. Утром, на восходе солнца, этот источник питательной влаги богаче всего: в это время и сходятся сюда со всех сторон негры и коренные жители с большими сосудами. На свету молочко желтеет и покрывается пленкой. Одни выпивают его тут же, под деревом, другие относят собранный сок детям. Эта картина напоминает пастырей, желающих напитать молоком свою паству».

Целью другой экскурсии Гумбольдта была река Апуре, до которой он решил добраться в месте ее северного изгиба, недалеко от Сан-Фернандо. Этот путь пролегал через совершенно иной ландшафт: никаких гор, только бесконечные равнины Калабосо, простирающиеся от прибрежной горной цепи у Каракаса до самых лесов Гайаны — бескрайние степи, голые, почти без деревьев, безлюдные: лишь изредка встречаются пастухи-кочевники — «лянеросы». Что же до здешнего животного мира, то самые острые впечатления у Гумбольдта остались от ловли электрических угрей. Поскольку местное население их крепко побаивалось — мы знаем теперь, что этот род «электрических» рыб способен наносить удары силой до 300–400 вольт, — то Гумбольдт внял советам индейцев поохотиться на угрей в заводях и заболоченных участках Калабосо с лошадьми.

Охота на электрических угрей с лошадьми

Из «Зоологических наблюдений» Александра фон Гумбольдта

«Индейцы устроили нечто вроде загона; рыбы были окружены со всех сторон и загнаны в болото. Захватывающее это зрелище, развернувшееся на наших глазах, — бой электрических угрей с лошадьми — трудно описать. Индейцы, вооружившись длинными бамбуковыми палками и гарпунами, обступили болото. Некоторые из них вскарабкались на деревья, склонившиеся над водой. Крича и размахивая палками, они загоняли лошадей подалее в воду. Напуганные шумом угри оборонялись, нанося электрические удары. Долгое время казалось, что, очевидно, они выйдут победителями из этой смертельной схватки. Лошади, оглушаемые мощью частых ударов, исчезали под водой; некоторые приходили в себя и с трудом добирались до берега, не обращая внимания на противодействие индейцев, где, обессиленные, почти парализованные, растягивались на земле во всю длину.

Менее чем за пять минут утонуло две лошади. Угри (многие из них достигали пяти футов) забирались под брюхо лошадям и там наносили удар. Электрический разряд на какой-то момент парализует сердце, кишечник и особенно нервные волокна желудка животного.

Неудивительно поэтому, что четвероногое гораздо уязвимее для этой рыбы, чем человек, который может соприкоснуться с ней только нижними конечностями — в воде. Все же я сомневаюсь, что электрический угорь может убить лошадь; я полагаю, он лишь оглушает ее сильными разрядами; она теряет сознание и погружается под воду, там на нее наступают другие лошади, и в считанные минуты животное действительно погибает.

После такого начала нам показалось, что события принимают трагический оборот и все лошади утонут одна за другой... Но индейцы поспешили заверить нас, что охота скоро закончится и что только первое нападение угрей выглядит так устрашающе. И в самом деле, вскоре мы убедились, что угри пришли в состояние разряженных батарей — гальваническое электричество скапливается в них, вероятно, только в условиях покоя или, может быть, их электрический орган быстро устает при частом употреблении. Мускульные их движения по-прежнему энергичны, но смертоносные удары они наносить уже не способны. Когда борьба длилась уже четверть часа, мы заметили, что лошади перестали пугаться так, как раньше. Грива у них больше не вставала дыбом, глаза реже выражали боль, ни одна из них не исчезала под водой. Да и обессиленные угри теперь начали всплывать на поверхность, спасаясь от лошадей, на которых прежде нападали, и устремлялись к берегу...

У берега угрей легко ловить небольшими гарпунами с привязанными к ним веревками; иногда удается нанизать на один гарпун сразу двух угрей. Если веревка достаточно суха и

длинна, то можно спокойно вытаскивать их ею на землю без боязни получить удар током. Через несколько минут на берегу оказалось пять больших угрей. Мы могли бы вытащить и более двадцати, если бы для наших опытов их потребовалось так много. Некоторые были лишь слегка ранены у хвоста, другие — в голову, и мы отчетливо могли видеть, что интенсивность природного электричества этих рыб прямо зависит от их жизненных сил».

Льяносы

Из книги Александра фон Гумбольдта «Каргины природы»

«Освоение человеком бескрайних южноамериканских равнин (льяносов) началось, в сущности, с момента открытия нового континента. Чтобы облегчить сообщение между побережьем и Гайаной (то есть бассейном Ориноко), на берегах степных рек тут и там стали строить города. Путнику, едущему по степи, изредка попадаются одинокие хижины, сплетенные из тростника, скрепленного ремнями, и покрытые воловьими шкурами; они обычно разбросаны в нескольких сутках езды одна от другой. Бесчисленные табуны одичавших буйволов, лошадей и мулов беспорядочно носятся по степям (их поголовье во время моего путешествия доходило до полутора миллионов). Бурное размножение этих животных из Старого Света в высшей степени достойно удивления, если учесть, какие труднейшие испытания выпадают им в здешних краях.

Когда под вертикальными лучами нещадно палящего солнца иссыхает, обугливается и превращается в прах травяной покров, в окаменевшей земле открываются глубокие трещины, как после мощного землетрясения. Когда опускаются до земли сталкивающиеся и кружащиеся воздушные потоки, борьба которых завершается рождением новых вихрей, равнина являет собой своеобразное зрелище. В наэлектризованном стержне этих вихрей, как в водяном смерче, высоко в воздух поднимается

песок и образует целые облака, скользящие вдоль земли в виде воронки, обращенной острием книзу. Небо как будто опускается низко на землю, тускло освещая ее „соломенным“ светом. Горизонт неожиданно приближается. Густая горячая пыль, носящаяся в замутненном воздухе, усиливает ощущение нестерпимого зноя. Восточный ветер, придя с раскаленных земель, вместо желанной прохлады приносит с собой потоки обжигающего воздуха.

Постепенно исчезают редкие лужи, кое-где сохранившиеся под сенью пожелтевших веерообразных пальм. Крокодилы и земляные змеи зарываются в сухую глину и засыпают, подобно тому как это делают животные в большую стужу на Крайнем Севере. Повсюду засуха предвещает смерть, повсюду мучимого жаждой путника преследуют обманчивые видения волнующейся водной глади. Иногда, бывает, невысоко над землей в зыбком мареве появляются столь же призрачные ряды пальм — эти картины возникают вследствие преломления света в неодинаково нагретых и, следовательно, неодинаково плотных воздушных слоях. Окутанные темными облаками пыли, в страхе от нестерпимого голода и острейшей жажды, лошади и буйволы стадами проносятся туда и сюда, одни уныло мычат, другие тянут шею по ветру в надежде учуять малейшую влагу в воздухе — может быть, поблизости где-нибудь чудом уцелела хоть небольшая лужица.

Мулы в поисках воды более сдержанны и более изобретательны. Они знают, например, что шарообразное и ребристое растение — дынный кактус — под своей колючей оболочкой скрывает сердцевину, богатую влагой. Передним копытом

мул сбивает набок колючки и потом только отваживается приблизить к кактусу морду и выпить прохладный сок. Однако этот живой источник не так уж безобиден: повсюду видишь хромающих животных, у которых в копытах застряли кактусовые колючки.

Когда невыносимый дневной зной сменяется ночной прохладой (а ночи здесь всегда длинные), буйволы и лошади все равно не могут насладиться отдыхом и покоем. Огромные летучие мыши сосут у них кровь во время сна, как вампиры, или цепко повисают у них на спине, оставляя после себя гноящиеся раны, где поселяются целые сонмы moskitov и других жалящих насекомых. Вот такой трудной становится жизнь животных, когда от затажной жары с поверхности земли исчезает вода.

Когда же после долгой засухи наступает благодатная пора дождей, степь преобразуется на глазах. Густо-синее безоблачное небо начинает светлеть. Ночью чернота в созвездии Южного Креста делается почти незаметной. Мягкое фосфоресцирующее свечение Магеллановых Облаков тускнеет и гаснет. Даже находящиеся над головой созвездия Орла и Змееносца начинают светиться тогда неверным мерцающим светом, менее похожим на свет планет. Подобно дальним громадам гор, появляются на юге отдельные облака, поднимаясь вертикально над горизонтом. Воздух насыщается туманообразными испарениями, постепенно заволакивающими небо. Приближение животворного дождя возвещает отдаленный гром.

Стоит только дождю окропить поверхность земли, как степь в течение короткого

промежутка времени усеивают душистые киллингии, метельчатый *Paspalum* и разнообразные травы. Разбуженные светом, раскрывают свои чашечки дикие мимозы и приветствуют восходящее солнце вместе с задорным щебетом птиц. Наслаждаясь жизнью, спокойно пасутся лошади и буйволы. В появившейся высокой траве им не видно подкрадывающегося ягуара. Затаившись в укрытии, он поджидает беспечно шествующих мимо животных. Когда какое-нибудь из них приблизится к нему на расстояние одного прыжка, он молнией взвивается и вцепляется в свою жертву, по-кошачьи ловкий, совсем как азиатский тигр. Иногда, рассказывают местные жители, можно видеть, как по берегам болот начинает вздуваться мокрая глина, медленно поднимаясь глыбами и комьями. Следуют сильные толчки, как при извержении маленьких грязевых вулканов, и развороченная земля взлетает высоко в воздух. Тот, кто знает, что за этим кроется, торопится уйти восвояси: это выбираются из своего убежища огромная змея или крокодил, разбуженные первым дождем от своего „летаргического“ сна.

Постепенно полнеют реки, окаймляющие равнину с юга: Араука, Апуре и Паяра. Животных, томившихся от жажды на сухом и пыльном речном дне в первой половине года, теперь природа заставляет превращаться в амфибий. Бескрайние степные пространства покрываются водой и образуют целое море. Кобылы с жеребятами перебираются на участки сухой земли, возвышающиеся над водой подобно островкам. С каждым днем площадь их сокращается. Из-за недостатка корма

сгрудившиеся там животные вынуждены пускаться вплавь на его поиски; они часами кружат на воде, но находят лишь скудное пропитание в виде травинок, торчащих из буроватой и затхлой воды. Много жеребят тонет, а многих застигают врасплох крокодилы, которые оглушают их своим мощным зубчатым хвостом, а затем заглатывают. Нередко можно встретить лошадей и мулов, выскользнувших буквально из пасти этих кровожадных гигантских ящериц: на теле этих животных навечно остаются глубокие шрамы...»

Прорыв в неизведанную часть материка

В XVII-XVIII веках среди европейских знатоков географии высказывалось предположение, что Ориноко в верхнем течении каким-то образом соединяется с Риу-Негру — крупным притоком Амазонки, а значит, и с самой Амазонкой. И вот Гумбольдт решил проверить эту любопытную гипотезу. После недолгих размышлений у него зреет план: идя вдоль Ориноко на юг, к ее верховьям, проникнуть в глубинные районы Южной Америки, поискать там водный путь к Риу-Негру, провести картографическую съемку тамошней системы рек и прежде всего выяснить, наконец, действительно ли, как считалось, у Ориноко имеет место бифуркация (раздвоение. — Г. Ш.) русла.

Идти туда означало двинуться в такие дебри, куда еще не ступала нога путешественника. Дорога в те места одна — по руслам рек, ибо о том, чтобы сотни километров продираться сквозь джунгли, нечего и думать, человеку это просто не под силу.

После нескольких дней отдыха и неспешных сборов друзья снова отправляются в путь. 30 марта 1800 года в Сан-Фернандо-де-Апуре они погрузились в пирогу, наметив сначала себе поплыть вниз по течению Апуре и добраться до Ориноко. В лодке, кроме обоих ученых, поместились еще лоцман и четыре индейца-гребца; сюда же сложили инструменты, дорожные вещи, кофры с бумагами, засушенными растениями и насекомыми, поставили клетки с обезьянками и птицами. Лодка шла довольно быстро; чем дальше, тем гуще становились леса, пока не превратились в живую зеленую стену, пробираться через которую способны только ягуары, тапиры и пекари — дикие свиньи; на свежих отмелях, не

успевших еще покрыться густой зеленью, сотнями лениво возлежали крокодилы; на островах толпились фламинго, пеликаны, цапли, лысухи, вода кишмя кишела рыбами, которые и присниться не могли никакому зоологу.

Из всего немыслимою богатства растительного и животного мира на этом отрезке пути исследователям удалось хорошенько рассмотреть и описать лишь очень немного. Пока что они отметили только два вида пальм — персиковую с ее крупными плодами, похожими на огромные персики, и пальму-маурициану, снабжающую индейцев гуарани материалом для свайных построек, гамаков, дровами для отопления и продовольствием. «Какую невиданную сокровищницу чудесных растений таит в себе этот край между Ориноко и Амазонкой, — писал Гумбольдт друзьям, — эта земля, покрытая девственными лесами. Сколько здесь одних только новых видов обезьян! Я не смог собрать и десятой доли того, что попадалось на глаза. Убежден, что мы не знаем и трех пятых растений, существующих на свете».

После выхода в Ориноко, где гребцам пришлось трудиться вдвойне, идя против течения, путешественники добрались до знаменитых теперь порогов Атурес и Майпурес. Цепь расположенных уступами порогов и водопадов, бурное течение, сплошные скалы, камни, торчащие из воды и скрытые под водой, у кого угодно могут отбить желание прокатиться в лодке. Однако Гумбольдт решил не отступать и двигаться дальше, пусть даже ежеминутно рискуя перевернуться и растерять свои инструменты, бумаги и непомерно разросшиеся коллекции, а где окажется необходимым — перенести лодку на руках.

Местность эта в глазах индейцев была овеяна легендами и исполнена таинственной значительности. На скале Кари, например, той, что у южного конца порогов, имеется круглое белое пятно (по мнению

Гумбольдта, включение кварца в темно-сером граните), в котором индейцы чтили луну, а на базальтовых скалах в подобном включении другой породы почитали образ солнца. Эти скалы и встречающиеся в них пещеры, необычные по форме, — живые свидетели истории древних индейских племен, начавших исчезать уже в доиспанскую эпоху.

Путь через пороги, как и ожидалось, оправдал все опасения. А в одном месте случилось непредвиденное. Гумбольдт и Бонплан вышли из лодки, чтобы индейцы смогли перенести ее мимо очередного уступа с водопадом, и двигались вниз, перепрыгивая с камня на камень, держа в руках клетки с обезьянками и птицами. В одной из скал они обнаружили грот и не устояли перед соблазном забраться в него и осмотреть. Тут-то их я застиг грозовой ливень. Спасаясь от подступавших потоков воды, они все выше и выше взбирались по скалам, пока не оказались прижатыми к самому краю. Истошные крики перепуганных обезьян стали привлекать внимание крокодилов. Уже опускалась ночь, когда оба путешественника после многочасового и уже безнадежного ожидания были вызволены из этой западни своими преданными спутниками-индейцами, которым пришлось пробиваться сюда окольными путями с тяжело нагруженной лодкой.

Другая пещера — грот на Атаруипе, — размытая течением еще в доисторические времена, оказалась местом древнего захоронения. Рядом с урнами, украшенными ручками в форме стилизованных змей и крокодилов, стояли мапиры — усыпальные сосуды, сплетенные из пальмовых волокон в виде четырехугольных корзин. Здесь, по преданию, нашло свой последний земной приют целое племя, отступавшее под натиском карибов. Гумбольдт насчитал шестьсот прекрасно сохранившихся скелетов, частью отбеленных,

частью покрашенных красной краской, аккуратно препарированных и покрытых водостойкой смолой.

На западном берегу Атабапо, одного из притоков Ориноко, им показали то, что там называют «утесом матери», — памятное место, чтившееся индейцами и служившее мрачным напоминанием о продолжающейся насильственной христианизации аборигенов испанскими миссионерами, нередко выливавшейся в форменную охоту на людей и превращение их в рабов. Когда-то на этом утесе искала спасения от преследователей одна молодая индеанка, у которой святой отец из Сан-Фернандо-де-Атабапо велел отнять детей и отдать их «на учебу к христианам». За каждую попытку убежать эту индеанку жестоко избивали плетью. Когда ее, разлучив с детьми, повезли куда-то вверх по Атабапо, она, выждав удобный момент, выпрыгнула из лодки и, уцепившись за выступ в скале, вскарабкалась на почти отвесную стену. С тех пор эту скалу и прозвали «утесом матери». А индеанку же снова изловили, опять безжалостно отделали плетью и заточили в одну из отдаленных миссий на Риу-Негру, но желание быть рядом с детьми оказалось сильнее всех преград и опасностей — женщина совершила новый побег. Сотни километров пробивалась она сквозь дикие джунгли в самый сезон дождей, питаясь муравьями и кореньями, — и нашла-таки своих детей! Тогда ее завезли в такую немыслимую даль, что на этот раз, отчаявшись увидеть своих ребятишек, она покончила с собой.

«Человеку в этих пустынных краях судьбой дано оставить лишь едва заметный след своего пребывания на земле, — заключает Гумбольдт свой рассказ, — название же скалы, этого непреходящего памятника природы, навечно сохранит память о нравственной аномалии рода человеческого — добродетелях людей диких и — по контрасту — о варварстве людей цивилизованных. Здесь всегда помнят о жертве

лицемерия и бессердечия тех, кто называет себя служителями религии, почитающей любовь к ближнему одной из первых своих заповедей».

Новый Свет, завоеванный на челноке

Отрывка из путевых заметок Гумбольдта, сделанных на Апуре, Ориноко и Касикьяре^[13]

«Ниже по течению от миссии в Санта-Барбара-де-Аричуна мы провели ночь, как обычно, под открытым небом на песчаной отмели на берегу Апуре. Небольшую эту площадку с трех сторон обступал непроходимый лес. С трудом насобирали мы сухих веток — по местному обычаю, вокруг каждого бивуака непременно устраиваются костры, дабы оградить себя от нападения ягуаров. Ночь выдалась не очень сырая, ярко светила луна. Было видно, как к берегу лениво подплывали крокодилы. Вид огня, наверное, привлекает их так же, как наших раков и прочую речную живность. Весла мы крепко вкопали в землю и подвесили к ним гамаки. Царила глубокая тишина; только время от времени до нас доносился храп пресноводных дельфинов, приплывающих сюда стаями, — характерных обитателей бассейна Ориноко (по данным Колбрука, они встречаются и в Ганге — вплоть до Бенареса).

После одиннадцати часов в ближнем лесу вдруг поднялся такой неистовый гам, что оставшуюся часть ночи глаз было не сомкнуть. Лес буквально содрогался от дикого многоголосого рева. Индейцы могли различить в нем только отдельные самые громкие голоса. Тут был и однообразный жалобный вой ревунов,

и скулеж маленьких сапахусов, и урчание полосатой ночной обезьяны (*Nyctipithecus trivirgatus*), и рев большого тигра — кукуара — или безгривого американского льва, крики пекари, ленивцев, а также голоса целого сонма попугаев (орталидов) и других фазаноподобных птиц. Когда тигры приближались к опушке леса, наш пес, лаявший не умолкая, с жалобным визгом забивался к нам под гамаки. Порой казалось, что тигриный рык раздается откуда-то сверху, с верхушек деревьев, и тогда он сопровождался истерическим писком обезьян, удиравших от смертельной опасности.

Если индейцев спросить, почему такой сильный и продолжительный шум возникает не всегда, а только в какие-то определенные ночи, то они отвечают с улыбкой: „Звери радуются красивому лунному свету, они празднуют полнолуние“. Мне же эта сцена показалась похожей скорее на случайно вспыхнувшую борьбу между животными, затянувшуюся и все более обостряющуюся. Дело могло выглядеть так: ягуар преследует диких свиней и тапиров, которые, столпившись в кучу, пробиваются сквозь густые заросли. Испуганные шумом, с верхушек деревьев подают свои голоса обезьяны. Они будят расположившихся на ночной покой птиц, и постепенно весь животный мир джунглей приходит в возбуждение. Опыт научил нас тому, что тишину ночи нарушает отнюдь не только „праздничное лунное сияние“. Громче всего шум поднимался во время сильного ливня, когда при оглушительных раскатах грома яркие вспышки молнии освещали самые темные лесные закоулки».

«Когда мы добрались до того места, где Апуре впадает в Ориноко, впечатление было такое, будто нас перенесли в другую местность. Далеко вокруг, куда ни бросишь взгляд, перед нами расстилалась бескрайняя водная гладь, похожая на огромное озеро. Не слышно стало пронзительного крика цапель, фламинго, пеликанов, тянущихся длинной стаей от берега к берегу. Тщетно высматривали мы водоплавающих птиц, у которых — что интересно — каждая семья владеет своими особыми охотничьими и ремесленными хитростями. Вся природа казалась менее оживленной и даже полупустынной. Изредка лишь случалось теперь увидеть в центре разбегающихся волн большого крокодила, рассекающего воду длинным хвостом. Узкая полоска леса виднелась только у самого горизонта. Деревья уже нигде не подходили вплотную к реке, оставляя открытыми палящему солнцу широкие бесконечные песчаные берега, голые и безжизненные, как морской пляж... Такие берега скорее скрадывают границы между землей и водой, чем подчеркивают их. Из-за преломления лучей в воздухе они то приближаются, то снова удаляются.

Эти открытые ландшафты, это своеобразное сочетание безжизненности и великолепия очень характерны для всего течения Ориноко, одной из самых полноводных рек Нового Света. А реки, между прочим, как и сама земля, повсюду имеют свои специфические особенности. Русло Ориноко совсем не похоже на русла Меты, Гуавьяре, Риу-Негру или Амазонки. Разница отнюдь не только в их ширине и скорости течения, а во всей

совокупности отдельных черт, которые в каждом случае легче почувствовать, чем описать».

«Лишь с трудом привыкали мы к новой пирогe, ставшей нам теперь новой тюрьмой. Чтобы выиграть в полезной площади, на корме положили нечто вроде решетчатого настила из прочных ветвей, нависавшего над бортами. Установленный над ним и покрытый листьями легкий тент (el toldo) был, к сожалению, настолько низким, что под ним можно было только лежать или сидеть согнувшись, ничего не видя вокруг. Тольдо, этот навес, нельзя делать высоким, потому что лодку в здешних краях приходится через пороги и быстрины тащить на руках, зачастую и от одной реки к другой, и в противном случае тем, кто ее несет, было бы трудно бороться с ветром. Так что выбора у нас не было. Под навесом помещалось четыре человека, но, как ни садись, ноги их все равно высывались наружу, и стоило пойти дождю, как половина тела сразу намокала. Лежать приходилось на тонкой подстилке из бычьих или тигровых шкур, из-под которых в тело немилосердно впивались острые ветки. На носовой части лодки расположились гребцы-индейцы с веслами в виде здоровенной ложки длиной в три фута. Они совершенно обнажены; сидят попарно; гребут дружно, удивительно точно в такт. Их пение печально и монотонно. Маленькие клетки с птицами; и обезьянами, которых по мере нашего продвижения становилось все больше, были подвешены: одни под тольдо, другие на носу лодки. У нас образовался настоящий зверинец. Хотя кое-кто из этих маленьких пассажиров за время долгого пути погиб — случайно или от солнечного удара,

но все же по возвращении из Касиквяре у нас оставалось еще штук четырнадцать...

Устраиваясь на ночлег, мы обычно размещались так: в середине бивуака ставили наш зверинец и приборы, вокруг них развешивали гамаки, за ними — ложа для индейцев, а наружной оградой нам служили костры... Перед восходом солнца наши обезьянки начинали подавать голос, а потом и дружно вступали в хор лесных обезьян. В том, как общаются между собой животные одного семейства, даже не видя друг друга, и как тянутся: одно к другому — те наслаждаясь полной свободой, а эти тоскуя по ней, — есть что-то грустное и трогательное.

На перегруженной пироге, не достигавшей в ширину и трех футов, для засушенных растений, кофров, секстанта, компаса-инclinатора и метеорологических инструментов не оставалось другого места, кроме как под тем самым решетчатым настилом из ветвей, на котором нам приходилось лежать, растянувшись во всю длину. И если кому-то нужно было вдруг достать что-нибудь из чемодана или взять необходимый инструмент, то приходилось причаливать к берегу и выходить из лодки. К этим неудобствам добавлялись еще и москиты, тучами кружившиеся под низкой крышей тольдо, и нестерпимый жар, исходивший от пальмовых листьев, верх которых всегда был открыт палящим солнечным лучам. Ежеминутно мы пытались что-то сделать, чтоб хоть чуточку облегчить свою участь, но все попытки были тщетны. Пока один из нас закутывался в тряпку, прячась от насекомых, другой требовал зажечь зеленое дерево под тольдо, чтобы разогнать

москитов дымом. Из-за жжения в глазах и духоты, усиливавшейся до невыносимых пределов, одно средство было столь же малоприменимым, как и другое».

Между Ориноко и Амазонкой

Плывя вверх по Атабапо до устья Теми и Туамини, у форта Пимичин ученые вплотную приблизились к водоразделу бассейнов Ориноко и Амазонки, Отсюда до ближайшего из притоков Риу-Негру оставалось всего примерно трое суток пути. В эти последние дни друзья с особым нетерпением предвкушали разгадку тайны двух больших рек. И вот наконец лодка подходит к заветной черте. На тридцать шестой день экспедиции они выходят на простор «Черной Реки» и идут по ней вниз до Сан-Карлоса, крайней точки на юге — цели их рискованного путешествия.

Стало ясно, что именно Касикьяре, впадающая выше Сан-Карлоса в Риу-Негру, является рукавом Ориноко. Ученые занимались астрономическими измерениями координат и высоты разных точек этой интересной речной местности и картографической съемкой русла Ориноко с несколькими ее притоками. От намерения пробиться к верховьям Ориноко приходится отказаться ввиду недоступности этого района, а также из-за неизбежности встречи с враждебно настроенным племенем индейцев, обитающим в тех местах. Перед Гумбольдтом встает вопрос: отправиться ли дальше по Риу-Негру, а потом вниз по Амазонке к бразильскому побережью или же возвращаться по Касикьяре назад на Ориноко.

В тот момент ученые находились на границе между испанскими и португальскими владениями. Поразмыслив, Гумбольдт решил все-таки повернуть на север, на Ориноко, только идти туда по другим ее притокам. Дорога была весьма трудной и изнурительной. Никогда, кроме всего прочего, они не страдали так от москитов и муравьев. Но именно этот

маршрут сослужил им хорошую службу: помог избежать преждевременного и печального конца их экспедиции в мрачной португальской тюрьме.

Португальское правительство с самого начала пристально следило за всеми передвижениями «некоего берлинского барона фон Гумбольдта». «Поскольку в нынешних критических обстоятельствах и неблагоприятном положении вещей, — говорилось в распоряжении, посланном по настоянию принца-регента португальскому губернатору в Чеаре, — надо считать подозрительным путешествие такого чужестранца, который, не исключено, под благовидными предложениями тайно намерен в подобной деликатной ситуации коварно возмущать души моих верноподданных в сих обширных областях опасными идеями и принципами, то — не говоря уже о том, что по действующим законам Его королевского высочества доступ на подчиненные ему территории любому чужестранцу без высочайшего дозволения строго воспрещен, — Его высочество приказывает Вашему Высокопревосходительству велеть расследовать со всей тщательностью и точностью, действительно ли упомянутый барон фон Гумбольдт или любой иной чужестранец следует или проследовал по внутренним районам этой провинции, поскольку политические интересы португальской короны понесли бы серьезнейший ущерб, если бы указанные факты подтвердились». Португальским владыкам Гумбольдт был явно опасен; в нем Лиссабон видел разносчика идей французской революции и поборника прав человека в своих колониях, поэтому губернатору «ввиду сугубой важности дела» надлежит пустить в ход «всю ловкость и политическую проницательность», чтобы успешно «отвратить грозящую опасность» решительными мерами, а именно: «Пресечь продолжение подобных законопротивных исследований взятием виновного под стражу».

20 мая 1800 года после трудных недель пути Гумбольдт снова выходит на Ориноко, а в Ангостуре, столице испанской Гайаны, расположенной в 380 километрах от устья этой реки, заканчивает свою речную одиссею.

Мне уготована деятельная жизнь

Письма А. Гумбольдта брату и Вилльденову

Кумана, 17 октября 1800 года

«Мне хочется вновь и вновь говорить тебе, как счастлив я в этой части мира, где я уже настолько привык к климату, что мне кажется, будто в Европе я никогда и не бывал. На всей земле нет, наверное, другого такого уголка, где можно было бы жить приятнее и спокойнее, чем в испанских колониях, по которым я путешествую вот уже 15 месяцев. Климат здесь очень здоровый: жара наступает только в 9 часов утра и продолжается лишь часов до 7 вечера. Ночью и ранним утром здесь гораздо свежее, чем в Европе. Природа богата, разнообразна и несказанно величественна. Жители мягки, добры и общительны, пусть беззаботны и невежественны, но зато просты и без претензий.

Никакая ситуация не может быть более благоприятной для научных занятий и всякого рода исследований, чем та, в которой я сейчас нахожусь. Развлечений, принятых в цивилизованном обществе, здесь нет, и они не могут отвлекать меня от дела; природа же без конца предлагает моему вниманию все новые и новые интересные предметы. Единственное, о чем можно пожалеть в этой глуши, — о том, что пребываешь в неведении относительно прогресса науки и просвещения в Европе и ощущаешь себя лишенным преимуществ прямого и непосредственного обмена идеями.

Хотя одного этого достаточно, чтобы не желать провести тут всю свою жизнь, несколько лет все же можно прожить приятнейшим образом. Изучения только одних человеческих рас, перемешанных между собой, вполне достаточно, чтобы целиком занять наблюдательного человека. Из тех местных жителей, что родом из Европы, я с особым удовольствием беседую с колонистами из сельской местности. В их среде еще сохраняется наивная прелесть испанских нравов XV века, там нередко сталкиваешься с подлинной человечностью и принципами истинной философии, которые в странах, привыкших считать себя цивилизованными, ищешь, бывает, понапрасну.

Я продвинулся в глубь континента, от побережья Пуэрто-Кабельо и большого озера неподалеку от Валенсии через льяносы вверх по реке Апуре до истоков рек Ориноко и Ниу, той, что у самого экватора; я прошел по широким просторам между Ориноко и Амазонкой — Гайане и Попайану, то есть местам, где европейцы не появлялись с 1766 года и где только по ту сторону водопадов живет около 1800 белых — в селениях сельского типа. Более чем в 50 местах я определил точную широту и долготу, наблюдал восходы и заходы планет и собираюсь издать точную карту этого огромного края, населенного свыше 200 индейскими народностями с совершенно разными языками и культурой, в большинстве своем никогда не видевшими белого человека.

Все тяготы этого обременительного путешествия я перенес благополучно. Мой друг Бонплан зато отделался не столь легко. После нашего прибытия в Гайану у него началась рвота

и подскочила температура, так что я даже стал опасаться за его жизнь. Не могу тебе и описать свою тревогу: другого такого преданного, деятельного и мужественного друга мне не найти. В пути, когда мы вдруг оказывались на территории совершенно незнакомых индейцев или шли по глухим местам, кишевшим крокодилами, змеями и тиграми, он подавал удивительный пример мужества и хладнокровия. Никогда не забуду его самоотверженной преданности, его готовности делить мою участь в любой опасности до самого конца, убедительнейшие доказательства которых он предоставил мне однажды во время бури на Ориноко. Это было 6 апреля 1800 года; наша пирога на две трети уже наполнилась водой, и сопровождавшие нас индейцы начали прыгать в воду, чтобы вплавь добраться до берега. А мой великодушный друг просил меня последовать их примеру и предлагал свою помощь, чтобы спасти меня.

Видимо, не судьба нам была тогда погибнуть в этой глухомани, где десять миль окрест не найти человека, и где уж точно никто бы не обнаружил и малейшего следа нашей гибели. Положение наше и впрямь было ужасно: до берега — с полмили, а повсюду в воде — крокодилы. Но даже если бы нам и удалось каким-то чудом уберечься от бушевавших волн и кровожадных крокодилов и добраться до берега вплавь, то там бы мы умерли с голоду или стали легкой добычей тигра; леса здесь настолько густые и так плотно заросли лианами, что идти через них просто немыслимо. Даже самый крепкий человек с топором в руках за двадцать дней не пройдет и французской мили. Движение

же по реке здесь настолько редкое, что едва раз в полтора месяца по ней проходит индейский челнок, так что помощи ждать было неоткуда. В этот критический момент неожиданное дуновение ветра вдруг наполнило парус нашего утлого суденышка и спасло нас совершенно непостижимым образом. Мы отделались потерей лишь нескольких книг и кое-каких съестных припасов».

Гавана, 21 февраля 1801 года

«...Вот уже четыре месяца как мы спим в джунглях, в окружении крокодилов, боа и тигров (которые нападают здесь даже на каноэ), питаюсь только рисом, муравьями, маниоком, бананами, водой из Ориноко, а иногда — мясом обезьян. Мы прошли от Мондаваки до вулкана Дуида, от границ Кито до самого Суринама и, таким образом, покрыли площадь примерно в восемь тысяч квадратных миль — территорию, где не найти ни единого индейца и где из живых существ встречаются только змеи. Вот там-то и шагали мы вдвоем, долго и однообразно, с опухшими от mosquito укусов лицами и руками.

В Гайане из-за москитов, тучи которых застилают солнце, приходится укутывать голову и руки, и тут не только что писать невозможно, сидя на открытом воздухе, но нельзя даже спокойно взяться за перо — так сильно жалят эти насекомые. Вся нашу работу приходилось делать у огня, в индейской хижине, куда не проникает ни один луч солнца и куда надо заползть на животе. Но здесь начинаешь задыхаться от дыма, хотя москитов уже значительно меньше. В Майпуресе мы с индейцами прятались у самого водопада, где

стоит невообразимый грохот, зато брызги и водяная пыль отпугивают насекомых. В Хигероте на ночь люди зарывались в песок — снаружи оставалась только голова... Если не увидеть этого собственными глазами, то можно принять подобные рассказы за вымысел. Странно, что там, где вода в реках темного цвета, кофейного например, как в Атабапо, Гуайние и других, нет ни moskitov, ни крокодилов.

И все же какое удовольствие путешествовать по этим величественным пальмовым лесам, где встречаешь так много самобытных народностей и племен с остатками перуанской культуры! Есть, однако, и такие, что прекрасно умеют возделывать свои поля, отличаются радушным гостеприимством, выглядят тихими и добрыми, как жители Таити, а потом оказываются каннибалами. Повсюду, повсюду в свободной Южной Америке (я говорю о тех краях, что находятся южнее порогов Ориноко, куда, кроме пяти или шести монахов-францисканцев, до нас не пробивался ни один человек) мы находили в хижинах жуткие следы людоедства.

Мои здоровье и самочувствие, несмотря на постоянную смену дождей, жары и холода, какая бывает в горах, заметно улучшилось с тех пор, как я уехал из Испании. Тропики — вот моя стихия, и никогда еще я так долго не был здоров, как последние два года.

Я работаю очень много, сплю мало, часто занимаюсь астрономическими наблюдениями по 4-5 часов подряд на солнце без головного убора. Мне случилось находиться в горах (Ла-Гуайра, Пуэрто-Кабельо), где свирепствовала самая страшная желтая лихорадка, а у меня ни разу даже не заболела голова. Только в Санто-Томас-

д'Ангостура, столице Гайаны, и в Нуэва-Барселона у меня три дня держалась температура, когда я после долгого голодания впервые набросился на хлеб и потерял при этом меру; а в другой раз — когда я при ярком солнце промок от моросящего дождя, который здесь всегда вызывает повышение температуры. На Атабапо, где дикари постоянно страдают от болотной лихорадки, мой организм — что удивительно — прекрасно выстоял.

В испанских колониях мне был оказан настолько лестный прием, какого себе может пожелать только закоренелый честолюбец или избалованный почестями аристократ. В странах, где торжествует произвол, а не чувство здравого смысла, благосклонность двора решает все. Слух о том, что я был лично отмечен королевой и королем Испании, а также рекомендации нового всесильного министра дона Уркихо размягчают все сердца. Никогда, никогда еще натуралисту не выпадало столько свободы. При этом поездка обходится мне не так уж дорого, как можно себе вообразить, услышав, что для речного вояжа мне на несколько месяцев потребовалось двадцать четыре индейца, а в глубине континента — до 14 мулов для перевозки растений и инструментов.

Моя независимость с каждым днем мне все дороже, поэтому я никогда не принимал и не намерен принимать ни от одного правительства ничего похожего на помощь, ж если немецкие газеты перепечатают одну английскую (для меня, впрочем, очень лестную) статью, согласно которой я „путешествую с поручениями испанского правительства и меня прочат на высокий пост в совете по делам Индий“, то посмейся над ней вместе со мной. Если мне

посчастливится благополучно вернуться в Европу, то у меня будут совсем иные планы, имеющие мало отношения к Consejo de Indias. Если человек начинал, как я, то ему уготована деятельная жизнь, ну а если судьба распорядится иначе и спутает мне все карты, то те, кто близок моему сердцу, как ты, знают, что я не пожертвую собой ради низких целей...»

Куба — жемчужина Антильских островов

Болезнь Бонплана оказалась затяжной и серьезной. Гумбольдт повез его повыше в горы — в надежде, что там его другу легче будет справиться с недугом. Лишь 10 июля 1800 года, после долгих месяцев неопределенности, они смогли снова тронуться в путь. Ехали на мулах, на сей раз на север, через льяносы к Новой Барселоне, расположенной на побережье Карибского моря. Прибыв туда, путешественники несколько недель приводили в порядок свои коллекции и записи. А 26 августа они поднялись на борт парусника, курсировавшего вдоль побережья, и отплыли на нем в Куману (откуда в свое время началась их экспедиция), чтобы отправить в Европу первые большие посылки с семенами, растениями и записями. Не обошлось без острых ощущений и на море: не успели они отойти от берега, как их судно было захвачено пиратами; к счастью, подоспел английский корвет и освободил их.

Ненадежность морских сообщений заставила Гумбольдта и Бонплана разделить свои сокровища и отправлять их в Европу по частям. Один гербарий они послали во Францию, другой, содержащий 1600 видов, — английскому ботанику Джону Фрейзеру^[14], путешественнику и знатоку флоры Лабрадора, с предложением сопоставить сделанные им в Северной Америке наблюдения с наблюдениями Гумбольдта и Бонплана в Южной, а также с просьбой взять на сохранение «до наступления мира» одну ценную коллекцию и потом переслать ее Вильденову (как потом все и было сделано). Третью, меньшую коллекцию друзья прихватили с собой в дорогу — в качестве подсобной, для разного рода сопоставлений. Так же они

поступили и с описаниями растений, и с другими записями, предварительно изготовив копию с каждой из них. Пришлось переписывать целые горы бумаг. Эти предосторожности потом себя вполне оправдали: часть материалов, в том числе единственный скелет, взятый Гумбольдтом из грота в Атаруипе, пропала при кораблекрушении.

Хотя их пребывание в Кумане, где ученые поселились в доме губернатора провинции, было заполнено подведением предварительных итогов путешествия и отдыхом, Гумбольдта это вынужденное полубезделье порядком угнетало. Ему не терпелось поскорее попасть на Кубу, куда он и собирался с самого начала. Однако о выезде из Куманы нечего было и думать — гавань плотно блокировали англичане. В конце концов Гумбольдт решил отправиться на береговом паруснике назад в Новую Барселону и попытаться вырваться на Кубу оттуда. В какой-то момент это ему удалось, и они добираются до острова круглым путем и не без опасных приключений.

Куба... Уже тогда благодаря красоте и плодородию считавшаяся жемчужиной Антильских островов, она служила как бы воротами в испанские владения в Центральной и Южной Америке. В свое время англичане отняли ее у испанцев (в 1762 г.), но спустя два года возвратили — в обмен на Флориду. С 1773 года Куба становится центром работорговли всех испанских колоний в Америке: богатые южноамериканские плантаторы нуждались в рабочей силе. Еще в 1740 году кадисские купцы по арендному договору приобрели у испанской короны монопольное право выращивать и продавать табак. Табак после победного шествия по Европе превратился в нечто вроде «коричневого золота»; производство его стало несказанно прибыльным делом, быстро оттеснившим животноводство на задний план. Роялистски

настроенные плантаторы-табаководы, богатевшие на Французском Гаити, после декрета французского правительства о ликвидации рабства предпочли эмигрировать на Кубу, где занялись устройством огромных кофейных плантаций. Это происходило как раз тогда, когда на остров прибыли Гумбольдт и Бонплан.

Занимаясь географическим изучением острова в разных его уголках, Гумбольдт повсюду видел одни и те же сцены варварского обращения с рабами, вызывавшие у него чувство протеста и возмущения. Первые наброски его книги о социально-политическом положении на Кубе, наделавшей потом много шума, возникли именно во время этого первоначального знакомства с островом, где природой созданы поистине райские условия, а иноземные захватчики сделали все, чтобы превратить его в ад.

После пребывания на Кубе в течение двух с половиной месяцев Гумбольдт собрался проехать в Мексику через южные штаты Северной Америки, а затем отправиться на Филиппины. Но тут ему пришлось внести в свои планы непредвиденные коррективы.

Из американских газет, полученных в Гаване, он узнал, что французская экспедиция капитана Бодена все-таки состоялась, что его корабль находится уже у мыса Горн и движется к чилийско-перуанскому побережью. А у них с Боденом на такой случай была договоренность, что Гумбольдт и Бонплан в пути присоединятся к французскому мореплавателю. Посоветовавшись, друзья решили ждать Бодена на западном побережье Южной Америки, а потом вместе с ним плыть на Филиппины. Они послали Бодену весть, которая, однако, вернулась к ним же через полтора года, не достигнув адресата; лишь в январе 1802 года, будучи в Кито, они узнали, что сообщения североамериканских газет, побудившие их изменить

свои планы, оказались неточными. В тот момент Боден проходил не мыс Горн, то есть южную точку Южной Америки, а мыс Доброй Надежды на юге Африки.

«Привыкнув терпеть неудачи, — писал Гумбольдт, — мы утешали себя мыслью, что проделанная нами работа была не напрасной и что, принося большие жертвы, мы имели в виду благие цели. Когда мы рассматривали наши гербарии, зарисовки, результаты барометрических и геодезических измерений, разных экспериментов, мы совсем не жалели о том, что прошли по местам, где или вообще не бывали естествоиспытатели, или бывали редко. Нам стало ясно, что человеку должно полагаться лишь на то, что он созидает сам благодаря собственной энергии».

Нескладное и опасное морское путешествие

Александр Гумбольдт — брату Картахена-де-лас-Индиас, 1 апреля 1801 года

«Если ты получил мое последнее из Гаваны письмо, дорогой брат, то, значит, ты знаешь, что я изменил своему первоначальному плану и, вместо того чтобы держать путь через Северную Америку в Мексику, вернулся на южное побережье Мексиканского залива, наметив себе отсюда отправиться в Кито и Лиму по суше. Объяснять причины, побудившие меня к этому, — долгая история; главная из них — та, что путешествие морем от Акапулько до Гуаякиля обычно бывает тягостно-утомительным, к тому же мне все равно пришлось бы возвращаться опять в Акапулько, чтобы там дожидаться подходящей okazji на Филиппины.

Отплыл я 8 марта из Батабано, одного из портовых городков южного побережья Кубы, на крошечном суденышке водоизмещением не более сорока тонн, и провел на нем ни много ни мало как 25 дней, прибыв на место лишь 30 марта, хотя обычно на этот переход требуется шесть-восемь суток. На море почти все время был штиль или дул очень слабый ветерок; из-за сильного течения, а также из-за недоверия капитана к моему хронометру мы очутились намного западнее — в Дарьенском заливе. Пришлось целых восемь дней тащиться назад вдоль побережья, что при ураганном восточном

ветре, обычном здесь об эту пору, на нашем суденышке было и трудно и опасно. Мы бросили якорь недалеко от устья реки Сину и два дня подряд ботанизировали на ее берегах, где еще, наверное, не появлялся ни один путешественник.

Там мы нашли великолепную, но дикую природу и собрали внушительную порцию новых растений. Устье реки достигает примерно двух миль в ширину — в ней, кстати, полно крокодилов. Видели мы и дарьенских индейцев — низкорослых, коренастых, широкоплечих, с плоскими лицами — полную противоположность карибам, но с довольно светлой кожей, более упитанных и мускулистых, чем прочие индейцы, каких я когда-либо видел. Жизнь их непринужденна и независима. Так что хотя наше плавание и было долгим и обременительным, кое-чем интересным оно все же нас порадовало. Однако же главная опасность подстерегала нас впереди — у самой Картахены.

Мы попытались было войти в ее гавань, двигаясь навстречу шквальному ветру. Море неистовствовало. В какой-то момент наше суденышко не выдержало яростного натиска волн и резко накренилось. Его тут же накрыла огромная волна, готовая, казалось, потопить его. Штурман хладнокровно оставался на своем месте, и вдруг он выкрикнул: „No gobierna el timon!“ ^[15] Мы решили, что теперь нам точно конец. Команда уже делала отчаянные усилия, чтобы спасти судно, был срезан парус, бессильно захлопавший на ветру, но тут наш кораблик, сойдя с гребня волны, выпрямился, и мы благополучно укрылись за горным отрогом Гиганте, выдающимся глубоко в море.

Благополучно миновав одну опасность, мы оказались перед лицом новой и едва ли не более грозной. Дело в том, что именно в это время происходило затмение луны, и, чтобы рассмотреть его получше, я попросил отпустить меня к берегу на лодке. Не успели мы с моими спутниками вступить на берег и пройти несколько десятков шагов, как услышали лязг цепей: ватага здоровенных негров (Cimarones), сбежавших из картахенской тюрьмы, выскочила из кустов и с ножами в руках ринулась на нас, явно намереваясь завладеть нашей лодкой: они видели, что мы безоружны. Опрометью мы бросились назад, едва-едва успели прыгнуть в лодку и отплыть от берега. На следующий день мы, наконец, преспокойно и при полном штиле вошли в гавань Картахены...»

Богота. На пути к плоскогорью

Картахена-де-лас-Индиас, расположенная на вдающейся далеко в море косе, в те времена была еще окружена старыми крепостными стенами. В городе, как оказалось, свирепствовала малярия. Гумбольдт и Бонплан поселились за чертой города, в уединенном уголке, куда эпидемия еще не добралась, в раскинувшейся на большом холме индейской деревушке Турбако.

Отсюда после короткой передышки 19 апреля 1801.года началось их второе большое путешествие по Южной Америке, закончившееся в Лиме полтора года спустя (23 октября 1802 года). Первый, почти тысячекилометровый ее этап проходил вверх по быстрой и полноводной от затяжных дождей реке Магдалене до окрестностей Онды. Сейчас этот путь можно легко, с комфортом проделать на пароходе, а тогда, чтобы его одолеть, понадобилось 54 дня рискованного и изнурительного плавания на лодке. На сей раз друзья уже имели некоторый опыт хождения на пироге: подстилки из бычьей кожи они заменили на матрацы и походные кровати; навес же сделали не из листьев, а из тонкой и воздушной хлопчатобумажной ткани, под которой их не так донимали москиты.

Грозные дожди, частые пороги, быстрины и водопады доставляли им по-прежнему уйму неприятностей, отравляя порой удовольствие от занятий любимым делом, которым у Бонплана было ботанизирование, а у Гумбольдта — картографическое определение русла реки. После долгих и утомительных недель пути они подошли к Онде. Там их речные приключения пока заканчивались. Дальше друзья двигались пешком по узкой тропе вдоль промытой водой

расщелины, все время в гору, пока не поднялись на высоту 2700 метров над уровнем моря. Там перед их взором открылось большое плато, на котором в ста километрах от них находилась Богота, нынешняя столица Колумбии, а тогда резиденция одного из четырех испанских вице-королей. После пустынной долины реки эта высокогорная равнина, покрытая крошечными индейскими поселениями, засеянная европейскими зерновыми культурами, действовала на путешественников благостно-умиротворяюще.

Не без благоговейного трепета приближался Гумбольдт к одному из очагов древней культуры инков. «Эта равнина, — писал он 21 сентября 1801 года брату, — является, по преданию, дном озера Фунцхе, которому в мифологии индейцев муисков отводится важная роль. Злое начало, или луна в облике женщины, наслало на людей наводнение, вследствие которого и образовалось озеро. Но Бочика, доброе начало, или солнце, разбило скалу Текендама (это там, где сейчас находится знаменитый водопад высотой 137 метров). Озеро Фунцхе вытекло, и местные жители, спасавшиеся в ближайших горах, вернулись на равнину, а Бочика, дав индейцам конституцию и законы, подобные тем, что были у инков, поселился в храме Сагамуна. Там он провел 25 тысяч лет, а потом возвратился домой, на солнце».

Весть о том, что в Боготу направляются двое ученых из Европы, давно уже облетела город. Их ожидали там с любопытством и нетерпением. Гумбольдт и Бонплан были встречены как почетные гости. Весь город пришел в возбуждение, а вице-король и архиепископ прямо-таки состязались в гостеприимстве и покровительстве. В их приезде они не без основания усматривали дань уважения местной знаменитости — седовласому ботанику дону Хосе Селестино Мутису, который заканчивал свой труд о флоре окрестностей Боготы.

Обширные коллекции ученого-священника, занимавшегося изучением природы (его ботаническая библиотека, по словам Гумбольдта, уступала по богатству лишь той, которую он, Гумбольдт, видел в Лондоне у сэра Джозефа Бэнкса), чрезвычайно интересовали обоих ботаников, в частности, потому, что исследовательские методы Мутиса имели много общего с их собственными. Дон Хосе, между прочим, был первым, кто начал культивировать хинное дерево. Взглянуть на эти посадки европейским ученым тоже было любопытно. Гумбольдт рассказывал лотом, что Мутис лет пятнадцать пользовался услугами примерно тридцати художников, которые на небольших табличках изображали разные растения в натуре; к их приезду таких миниатюр накопилось у него около трех тысяч.

У Бонплана к тому времени вновь открылась лихорадка, и климат этой высокогорной местности шел ему на пользу. Другьям пришлось просидеть еще месяца два в летнем домике, оборудованном для них Мутисом по соседству со своим жилищем, прежде чем Бонплан окреп настолько, что был готов к испытаниям нового перехода через тропические леса. Гумбольдт же все свободное время отдавал измерениям высот в близлежащих горных районах.

9 сентября 1801 года Гумбольдт и Бонплан, несмотря на разразившиеся дожди, усложнявшие их и без того нелегкий путь, продолжили свое путешествие. Сначала они спустились в долину реки Магдалены и переправились на другой берег. Потом перед ними встала непростая задача — добраться до долины реки Каука, крупнейшего притока Магдалены (русла обеих рек, если взглянуть на карту, проходят почти параллельно на север и соединяются перед самым впадением Магдалены в Антильское море). Долины этих рек как бы отгорожены одна от другой Центральными Кордильерами, и вот этот-то участок и оказался

наитруднейшим во всей их южноамериканской экспедиции. От обычной в этих краях практики использовать людей в качестве вьючных животных Гумбольдт и Бонплан отказались, предпочитая тащить всю поклажу на себе. Преодолев наконец все преграды, они добрались до города Картаго, «босые и с разбитыми в кровь ногами, но с богатыми трофеями в виде прекрасных коллекций растений».

Через перевал Киндио — без людей в качестве вьючных животных

Из «Живописных картин Кордильер» Александра фон Гумбольдта

«Переход через горы Киндио (если идти от Санта-Феде-Богота в направлении на Попаян и к берегам Кауки) считается труднейшим во всех Андах. Перед вами встает массив плотного, совершенно необитаемого леса, который даже в самое благоприятное время года невозможно пройти быстрее чем за десять-двенадцать суток. Тут не найдешь ни хижины, на каких-либо съестных припасов, и путникам приходится запасаться месячным провиантом, потому что из-за таяния снегов и быстрого наполнения горных ручьев они на полпути часто оказываются отрезанными и спереди и сзади, не имея возможности двинуться ни в сторону Картаго, ни в сторону Ибаге. Высшая точка на этом пути, Гарита-де-Парамо, находится на высоте 3505 метров над уровнем моря... Тропа через Кордильеры настолько узка, что ее обычная ширина не превышает тридцати-сорока сантиметров, и большей частью она походит на открытую, вырубленную в скалах галерею. В этих областях Анд скалы, как почти повсюду, покрыты толстым слоем глины. Ручьи, сбегаящие с гор, вымывают в них щели глубиной до шести-семи метров.

Эти ущелья, по которым тянется тропа, сплошь затянута мхами, и царящий там

полумрак усиливается густой растительностью, которой покрыты их края. Мулы, используемые здесь обычно в качестве вьючных животных, могут лишь с трудом проходить по этим бесконечным галереям, тянущимся порой до двух тысяч метров. Если путнику не повезет и ему попадутся движущиеся навстречу навьюченные мулы, то у него не останется другого выбора, как возвратиться назад по этой же тропе или попытаться влезть на отвесную стену ущелья и пропустить их, держась за выступающие корни деревьев.

Когда мы в октябре 1801 года продвигались через горы Киндио пешком, погрузив свои инструменты и коллекции на двенадцать мулов, мы очень страдали от непрерывных ливней, хлеставших три-четыре последних дня во время нашего спуска по западному склону Кордильер. Местами нам приходилось идти почти по болоту, продираясь сквозь заросли бамбука; иглы, которыми вооружены корни этого гигантского травянисто-подобного растения, изорвали нашу обувь настолько, что мы вынуждены были идти босиком, как все путешественники, не желающие прибегать к услугам носильщиков... Это неудобство плюс постоянная сырость и влага, большая протяженность пути, трудность ходьбы по вязкой глине, а также необходимость перебираться вброд через глубокие горные потоки с чрезвычайно холодной водой — все это вместе делает дорогу непривлекательной и весьма утомительной. Но сколь бы тяжелой она ни была, ни одной из тех опасностей, которыми легковерный народ так любит стращать путешественников, она в себе не таит. Тропа, например, действительно узка, но к самому краю

пропасти она подходит очень редко. Поскольку мулы всегда идут по одному и тому же следу, дорога превращается в разъезженную колею с гребнем посередине. После сильных дождей дорога местами сплошь залита водой, и поступь путешественника становится вдвойне неуверенной — он никогда не знает, куда попадет нога — на гребень или во впадину.

Поскольку лишь очень немногие состоятельные лица имеют опыт пешей ходьбы в продолжение дней пятнадцати кряду по таким неустроенным дорогам, то остальные обычно нанимают людей, которые переносят их на себе, предварительно привязав к спине кресло, так как при нынешнем состоянии дорог переезд на вьючных животных невозможен. О путешествии на спине человека (*andar en carguero*) здесь говорят так же невозмутимо, как в других местах о путешествии верхом. В ремесле каргеросов (то есть носильщиков) никто не видит ничего унижительного; те, кто им занимается, — вовсе не индейцы, а метисы или даже белые... Каргеросы переносят обычно шесть-семь арробасов (75–88 килограммов), некоторые же так сильны, что взваливают на себя девять арробасов. Когда зримо представляешь себе, каких усилий стоит этим несчастным таскать такие тяжести в этой горной местности по восемь-девять часов ежедневно; когда знаешь, что иногда они стирают себе спину в кровь и что путешествующие господа бывают настолько жестокосердны, что, случись носильщику заболеть, его бросают лежать прямо в лесу; когда знаешь, что за дорогу от Ибаге до Картаго за пятнадцать, а то и за двадцать пять — тридцать дней им удастся заработать не

более 12–14 пиастров (60–70 франков) — то иной раз затрудняешься понять, как могут сильные и молодые люди, живущие у подножия этих гор, добровольно избирать ремесло каргероса — одно из самых тягостных, какими только занимается человек. Видимо, неистребимая тяга к свободной бродяжнической жизни в лесах и ощущение некоторой независимости заставляют их предпочесть это тяжкое занятие однообразному и сидячему труду в городе.

Переход через горы Киндио — не единственная дорога в Южной Америке, где в обычае ездить на спинах людей. Провинция Антиокия, например, целиком окружена горами, путь через которые настолько труден, что те, кто не хочет полагаться на ловкость каргеросов и недостаточно крепок сам, чтобы проделать весь путь пешком — из Санта-Фе-де-Антиокия на Бока-де-Нарес или на Рио-Саман, — вообще не могут выбраться из родных краев... Когда несколько лет назад местные власти стали обдумывать план прокладки дороги через горы из деревни Нарес в Антиокию, чтобы можно было проехать на вьючных животных, каргеросы энергично запротестовали, а власти оказались достаточно слабыми, чтобы пойти у них на поводу. На мексиканских рудниках, между прочим, имеется целый класс людей, которые не занимаются ничем, кроме того, что переносят на своей спине других. В этом климате белые настолько ленивы и вялы, что каждый директор рудника держит в своем штате одного или двух индейцев, которые официально числятся „его лошадьми“ (Cavallitos), так как они каждое утро седлают самих себя и, опираясь на короткую палку, наклонив туловище вперед, переносят

своего господина из одного конца рудника в другой. Труд кавальитосов и каргеросов оценивается неодинаково, и путешественнику в первую очередь рекомендуют тех, у кого крепкие ноги и мягкая, равномерная поступь. Больно слышать, когда о свойствах человека говорят в тех же выражениях, которыми принято характеризовать лошадей и мулов».

По вулканической местности

«Из Картаго мы двинулись на Попаян через Бугу по красивейшей долине реки Каука, — читаем мы в письме Александра Вильгельму фон Гумбольдту от 25 ноября 1802 года из Лимы. — Ноябрь 1801 года мы провели в Попаяне, оттуда делая вылазки в базальтовые горы Хулусуито, к кратеру вулкана Пурасе, со страшным шумом выбрасывающего насыщенную сероводородом воду, а также к массивам порфировидных гранитов, образующих пяти-семиугольные колонны... Наибольшая трудность была еще впереди — между Попаяном и Кито. На этом пути под дождем (пора их только начиналась) нам предстояло пройти через парамосы близ Пасто — этим словом в Андах называют любое место, лежащее на высоте 1700–2000 туазов, где уже прекращается всякая растительность и царит промозглый холод».

От дождя путешественников защищала палатка, сложенная из сотен геликониевых листьев (геликония, или столовый банан, — это травянистое растение, во множестве разновидностей распространенное в Южной Америке); палатка не пропускала ни капли воды даже тогда, когда ливни не прекращались по нескольку дней. От холода, правда, она ничуть не защищала.

Остерегаясь жаркой долины реки Патии, где, по слухам, в любое время можно схватить лихорадку, они двигались, пишет далее Гумбольдт, «через хребет Кордильер, с его жуткими отвесными обрывами и бездонными пропастями, пока не добрались через Попаян в Пасто, городок, расположенный у подножия действующего вулкана. Ничего ужаснее подъездного пути к Пасто, где мы отпраздновали рождество и жители которого встретили нас с трогательным гостеприимством, нельзя себе вообразить. Кругом

болота, а между ними — густые, почти непроходимые леса; мулы то проваливались до половины туловища в трясины, то должны были продираться через такие узкие и глубокие расселины, что порой казалось, будто находишься в штольне какого-нибудь рудника. Дороги сплошь усеяны костями мулов, погибших здесь от изнеможения и холода... Пропутешествовав два месяца подряд днем и ночью под нескончаемыми дождями и промокнув до нитки, чуть не утонув на подходах к городу Ибарра — из-за разразившегося землетрясения вдруг начала прибывать вода, — мы 6 января добрались до Кито».

Четыре месяца длился их переход из Боготы до столицы современного Эквадора. Два года у путешественников не было прямой связи с Европой.

Пять месяцев они уже пробыли в Кито, когда им стало наконец известно, что Боден со своей экспедицией и не собирался причаливать к западному побережью Южной Америки. Что ж, не оставалось ничего другого, как смириться и с этим. В Кито они пробыли еще три месяца. После перенесенных невзгод они нуждались в продолжительном отдыхе, о чем правитель Сельва-Алегре позаботился с большим тактом и вниманием, как с благодарностью вспоминал потом Гумбольдт. Долгое пребывание в Кито, возможно, объяснялось и тем, что Александр ждал нового поступления денег из дома. Весьма вероятно также, он не спешил покидать этот город, поскольку попал в классический район вулканизма и землетрясений, изучить особенности которого ему хотелось давно.

Собор, архиепископский дворец и около полусотни монастырей расположились, можно сказать, у самого подножия вулкана Пичинча (4701 метр) и в опасной близости от Котопахи (5896 метров), а ведь последний даже в спокойные времена постоянно напоминает о себе дождем пепла и песка или потоками грязи и воды, когда

на нем вдруг начинает таять фирн — плотный снежный покров.

В феврале 1797 года эта провинция стала областью сильнейшего землетрясения. «С момента той катастрофы землетрясения не прекращаются, и толчки порой бывают очень мощными. Вполне вероятно, что самая высокогорная часть провинции являет собой один большой вулкан, — предполагал Гумбольдт в упомянутом письме от 25 ноября 1802 года. — Несмотря на все ужасы и опасности, которыми окружила их природа, жители Кито веселы, жизнерадостны и приветливы. Сама атмосфера города как бы напитана духом бьющего через край жизнелюбия, и нигде, кажется, нет более решительной и единодушной тяги к удовольствиям, чем здесь. Вот так и научается человек безмятежно спать, находясь на волосок от гибели».

Если Гумбольдту где и представлялась по-настоящему хорошая возможность основательно проверить гипотезы вулканистов и нептунистов, так именно в этой местности. И действительно, здесь окончательно сформировались его взгляды на вулканические явления.

Пичинча и Котопахи, Антизана, Илиника и Тунгурагуа поочередно становились целью восхождения и изучения; из них Пичинча — триады. В июне 1802 года Гумбольдт сделал попытку взойти на Чимборасо (6267 метров), слывший тогда высочайшей горой на земле. Успехи Гумбольдта по этой части оказались не столь уж скромными, и его можно считать одним из пионеров альпинизма и одним из основателей высокогорных исследований, даже если ему не во всем сопутствовала удача, например, 23 июня 1802 года, когда он, достигнув высоты около 5759 метров (по другим расчетам — 5878 метров) [\[16\]](#) никем еще до тех пор не покоренной, вынужден был повернуть назад, поскольку от вершины его отделяла непреодолимая расщелина, в

то же время разреженный воздух затруднял дыхание, а из глаз и губ уже сочилась кровь.

По снежному насту к краю кратера

Гумбольдт о своем втором восхождении на Пичинчу:

«Наши проводники несли тяжелые инструменты и, как всегда, отставали. Я шел впереди с г-ном Уркинаона, креолом, человеком весьма образованным, и с индейцем Фелипе Альдасом. У подножия неприступной вершины, вздымавшейся над нами подобно гигантскому замку, мы устроили короткий привал. Нами овладело уныние. Кратер, который мы искали, находился скорее всего за отвесной скалой с западной стороны, но как туда добраться? Эта скала, по форме напоминая башню, была чересчур крутой, а местами — просто отвесной. Карабкаться по стене?

На пике Тенерифе я облегчил себе подъем на конус из пепла тем, что пробирался по кромке скалистого гребня, крепко цепляясь за него руками, хотя и изранил их немного. Тот же способ я решил применить и здесь — взойти на вершину по пемзовому склону, двигаясь по самому краю южной стенки „башни“. Мы сделали две трудные попытки; в первый раз поднялись на 300, в другой — на 700 футов. Снежная корка держала нас, казалось, надежно, и мы тем более были преисполнены уверенности добраться до самого края кратера, что шестьдесят лет тому назад Буге и Ла Кондамин восходили, вероятно, таким же путем — по снежному покрову конуса из пепла. Наст действительно держал нас настолько крепко, что мы если чего и побаивались, то только сделать неверный шаг: упасть или оступиться означало заскользнуть

вниз по крутому обледенелому склону и с разгону удариться об острый угол какой-нибудь каменной глыбы, торчащей из пемзы. И тут внезапно с громким криком проваливается под снег шедший впереди меня индеец Альдас. Провалился он по пояс, но, как мы поняли из его выкриков, никакой опоры ногами не ощущал. Мы оцепенели от ужаса, опасаясь, что он завис над глубокой расщелиной. К счастью, опасность оказалась меньшей. Широко расставив ноги, он своим весом уплотнил под собой снег, образовавший нечто вроде седла. Заметив, что Альдас глубже не опускается, мы смогли действовать спокойнее и осмотрительнее. Нам удалось положить его на спину и затем вытащить, держа за плечи. Происшествие это всех нас выбило из колеи: мы были потрясены и расстроены. Индеец же, полный суеверных страхов от близости огненной преисподней, против новых попыток продвинуться дальше по коварному снегу энергично запротестовал.

Мы спустились вниз, чтобы еще раз посоветоваться. Самый восточный и крупный зубец в окружности кратера был очень крутым лишь в нижней своей части, а повыше он поднимался более покато с уступами в виде лесенки... Добродушный Фелипе позволил уговорить себя и пошел со мной дальше... Когда мы достигли голой скалы и, все еще не теряя надежды, наобум карабкались по выступам и карнизам, нас все больше окутывали сгущавшиеся, но пока еще без особого запаха пары. Каменные площадки становились шире, подъем — менее крутым. Снег, к вящей нашей радости, встречался теперь только островками футов 10-12 в длину, толщиной дюймов до

восьми. После случившейся с нами истории мы ничего сейчас так не боялись, как полузамерзшего снега. Туман позволял нам видеть только тот участок скалы, что был в непосредственной близости от нас, все же остальное застилала густая белесая пелена. Мы двигались как в облаке. Резкий запах серной кислоты хотя и возвестил нам о близости кратера, но о том, что мы находимся уже как бы над ним, мы даже не подозревали. Мы осторожно ступали вдоль заснеженной площадки в северо-западном направлении — индеец впереди, я — чуть левее — за ним. Мы не произносили ни слова, как бывает со всеми, у кого за плечами порядочный опыт трудных восхождений.

Вдруг от волнения у меня перехватило дыхание, когда, взглянув случайно на каменную глыбу, нависавшую над пропастью, я увидел, как между нею и краем снежного наста, по которому мы шли, во мгlistой глубине вспыхнул свет, похожий на двигающийся огонек. Я с силой потянул индейца за его пончо назад и заставил лечь вместе со мной на землю — на незаснеженный горизонтальный участок скалы длиной примерно 12 и шириной 7-8 футов. И вот мы оба лежали на каменной плите, выступавшей наподобие террасы над кратером. Жуткое, глубокое черное его жерло зияло перед нами в устрашающей близости как на ладони. Из этой бездны там и сям поднимались кверху клубы пара. Осмотревшись, мы стали определять, в каком именно месте мы находимся. Мы поняли, что наша каменная площадка была отделена от покрытой снегом массы, по которой мы сюда добрались, щелью в каких-нибудь два фута.

Щель эта была не до конца покрыта замерзшим снегом, образовавшим своеобразный мостик. Мостик этот, длиной в несколько шагов, выдержал нас, когда мы направлялись к этой площадке. Свет, который мы вначале увидели через щель между снежным покровом и зависшей над кратером глыбой, не был обманом; мы увидели его и при третьем восхождении — в том же месте и через ту же щель. Подходя к кратеру, всегда можно было видеть, как в его сумрачной глубине вспыхивают небольшие языки пламени, видимо, возгорающегося серного газа».

Из Кито в Лиму

Пройти от экватора до 12-го градуса южной широты и посетить столицу современного Перу Лиму — город, основанный в 1535 году Франсиско Писарро и им же окрещенный звучным именем Сьюдад-де-лос-Рейес, — Гумбольдт наметил еще в Кито. Надежды на приезд капитана Бодена развеялись, поездка же на Филиппины целиком за свой счет была бы слишком дорогой, да и не очень результативной из-за долгого пути. А здесь манила Амазонка с ее бесчисленными притоками, манили руины, оставшиеся от древней культуры инков.

Там же, в Кито, Гумбольдт начал изучать язык инков, на котором еще говорили жители больших городов.

В числе почитателей Гумбольдта был сын их тамошнего гостеприимного хозяина, маркиза да Сельва-Алегре — Карлос Монтуфар. Юноша был в совершенном восторге от далеко идущих планов Гумбольдта, от упорства и настойчивости, с которыми тот осуществлял их вместе со своим французским другом, и вообще питал глубочайшее почтение к талантливому немецкому ученому. Он предложил сопровождать друзей на их дальнейшем пути. Это предложение «симпатичного и жадного до знаний молодого человека» Гумбольдт принял довольно охотно: он уже успел заметить в Монтуфаре недюжинные способности и хотел надеяться, что тот в будущем сам станет одним из тех ученых, с кем Гумбольдт хотел бы впоследствии «открыть» богатые страны Южной Америки для всестороннего и фундаментального их изучения во благо населяющих их народов (но десять лет непрерывных войн в Европе и многие десятилетия кровавой борьбы за власть в странах Южной Америки не позволили ему осуществить свои смелые замыслы).

Монтуфар с радостью двинулся с ними в путь; он не только сопровождал Гумбольдта и Бонплана по Южной Америке, но и охотно отправился с ними в Мексику и на Кубу, а позднее — и в Париж. Судьбой ему был отпущен недолгий срок: как убежденный сторонник движения за независимость, он по возвращении на родину стал жертвой карательной экспедиции испанского генерала Морильо, который отдал приказ расстрелять его вместе с другими патриотами.

В том, что Гумбольдт продолжил свое путешествие дальше на юг континента, к Лиме, был и такой расчет: он хотел в географически и климатически удобных условиях наблюдать ожидавшееся в начале ноября 1802 года прохождение Меркурия перед Солнцем; это ему вполне удалось — в Кальяо 9 ноября, к его, надо сказать, глубочайшему удовлетворению.

Путешественники покинули плато, где расположен Кито, и двинулись на юг, в горы. В одном месте им пришлось пройти через перевал на высоте, равной Монблану (4800 метров); минуя Куэнку — городок на высоте 2580 метров, привольно раскинувшийся на плодородной высокогорной равнине, снабжаемый водой по искусно устроенной системе каналов, — они приблизились к бассейну Амазонки у верхнего Мараньона. Бонплану просто было некогда передохнуть: в здешних лесах встречалось множество сортов хинного дерева, а к ним он был особенно неравнодушен — ботанизировать вообще приходилось почти беспрерывно. Неудивительно, что по прибытии в Лиму, то есть после двух больших этапов их путешествия по Южной Америке, его коллекция ботанических описаний растений составляла уже 3374 единицы. Гумбольдт тем временем занимался выяснением того, как именно различные растения зависят от климата и почвенных условий, а также старался разобраться в системе рек бассейна Амазонки и что можно фиксировать на карте.

Этот спуск к равнинам верхней Амазонки, спуск в «неизвестный, богатый великолепными растениями мир» был тоже полон сложных и опасных моментов. Более двух десятков раз они переходили вброд — и это с дюжиной мулов! — часто петляющую речку Куанка-Бамба. Волейневолей пришлось им познакомиться и с раскачивающимися в воздухе канатными мостиками, сплетенными из корневых волокон агавы; довелось им увидеть и огромные лимонные деревья, чьи божественные плоды, созрев, падают на землю и гниют. Потом они пересекли плато, где расположился городок Кахамарка. Если под Куэнкой Гумбольдту интересно было взглянуть на серные разработки глазами геолога и экономиста, то здесь он не устоял, чтобы не посмотреть на серебряные рудники. А немного позднее, после того как они в четвертый раз пересекли величественную Кордильеру, наступил момент, по-своему волнующий для Гумбольдта: впервые в жизни он увидел перед собой Тихий океан. «В этой встрече было что-то торжественное для человека, который частью своего образования и многими интересами был обязан спутнику капитана Кука (Георгу Форстеру. — Г. Ш.)», — писал Гумбольдт.

Какой резкий контраст с пышными лесами у Мараньона, с заснеженными хребтами Анд и с бескрайней водой образовывала песчаная, почти лишенная растительности пустыня, тянущаяся вдоль побережья к югу! После того как была пройдена и она, путешественники вышли к Лиме, уютно разместившейся в плодородной долине и окруженной каймой предгорья Кордильеры.

Этот город у океанского побережья был тоже одним из оплотов испанско-католического владычества в Южной Америке. Там находилась резиденция одного из вице-королей, крупные францисканские и доминиканские монастыри, а также дворец «святой инквизиции». Различия в условиях жизни верхушки

иноземных властителей и масс коренного населения были здесь такими же кричащими, как и везде: одни купались в роскоши, другие уныло влачили нищенское существование, и этот контраст бросался в глаза куда более назойливо, чем контрасты здешней природы.

В Латакунге, Амбато, Риобамбе и Кахамарке, лежавших на его пути из Кито в Лиму, Гумбольдт часто наталкивался на руины, оставшиеся от древнего государства инков. Путешественникам не раз, например, приходилось пересекать полуразрушенную дорогу древних инков, протянувшуюся вдоль вершины хребта. Потомки бывших подданных царя Атауальпы (числом около восьми тысяч), который из-за хитрости и вероломства испанцев потерял 1533 воина, а с ними и все свое царство, жили, рассеявшись по деревушкам на высокогорных равнинах. Эти люди обычно делились с путешествующими чужестранцами последними крохами со своего стола, поставляли им мулов, а зачастую и сами помогали переносить на себе их поклажу.

Среди руин дворца в Кахамарке, похожего на крепость, Гумбольдту и Бонплану показали помещение, в котором в 1532 году Атауальпа провел пленником девять месяцев, отметину на стене — такой была груда золота, которым последний повелитель инков пытался откупиться от завоевателей. В часовне городской тюрьмы проводники-индейцы указали на темные пятна на плитах перед алтарем, считающиеся пятнами крови их замученного владыки (вероятно, это всего лишь тонированные минеральные включения в порфировой плите, отметил про себя Гумбольдт). Он набросал эскиз внутренних покоев дворца и срисовал надписи на стенных украшениях; глубоко тронутый нуждой потомков древних инков, он решил собирать все, что еще сохранилось от истории и сказаний этого легендарного народа.

По следам инков

Александр фон Гумбольдт — брату Вильгельму
Отрывок из письма от 25 ноября 1802 года

«В Риобамбе мы провели несколько недель у одного из братьев Карлоса Монтуфара, нового нашего спутника; он — персона довольно важная: имеет звание коррехидора, то есть члена королевского магистрата. По чистой случайности мы сделали одно в высшей степени любопытное открытие. До сих пор ничего ведь практически не известно о состоянии провинции Кито, до того как она была завоевана вождем инков Тупаюпанги. Мы же у индейского вождя Леандро Запла, живущего в Ликане, человека необычайной для индейца образованности, увидели рукописи, написанные одним из его предков в XVI веке на языке пуругвай. Этот язык был общепринятым в Кито; впоследствии он уступил место языкам инков и кечуа и сейчас напрочь забыт. К счастью, другой предок Заплы нашел удовольствие в том, чтобы перевести эти мемуары на испанский язык.

Из них мы почерпнули много ценных сведений, преимущественно об интереснейшей эпохе извержения так называемого Невадо дель Альтар — вулкана, который, как говорится в рукописи, был величайшей горой на всем свете, выше Чимборасо, и именовался у индейцев „Капаурку“ („главная гора“). В то время страной правил Уайния Абомата, последний независимый кочоканао (верховный вождь) в Ликане. Жрецы открыли ему зловещий смысл происшедшей катастрофы. „Земля, — предрекли они, —

изменит свой облик; придут другие боги и изгонят наших богов. Так не будем же противиться велению судьбы!“ И что же — перуанцы вместо старой религии действительно ввели поклонение солнцу. Извержение вулкана продолжалось семь лет, и пепел в Ликане, по словам прадеда Заплы, сыпался так густо, что в течение семи лет там стояла непроглядная ночь. Когда на равнине у Тапии рассматриваешь наслоения вулканического материала вокруг огромной, тогда же обрушившейся горы (сейчас она выглядит как будто разорванной мощным взрывом, с двумя все еще очень высокими остроконечными зубцами) и помнишь, что Котопахи уже не один раз погружал Кито во тьму на 15-18 часов, то вполне можешь допустить, что преувеличение здесь не такое уж чрезмерное.

Эта рукопись и предания, которые я собирал в Париме, а также иероглифы, виденные мною в пустыне Касикьяре, где теперь людей нет и в помине, — все это вместе с рассказами Клавихеро о путешествиях мексиканцев в Южную Америку натолкнуло меня на кое-какие идеи о происхождении этих народов, которые я и собираюсь развить на досуге.

Я много занимался также языками Южной Америки и убедился, насколько не прав был Ла Кондамин, утверждавший, что они бедны и невыразительны. Возьмем, к примеру, язык карибов: в нем есть и богатство, и очарование, и сила, и нежность... Сейчас я налегаю на язык инков; на нем здесь говорят в обществе (в Кито, Лиме и других местах), он весьма гибок и настолько богат изящными оборотами, что молодые люди, желая сказать дамам что-нибудь

очень приятное, обычно переходят на него, когда чувствуют, что все ресурсы кастильского ими исчерпаны. Только этих двух языков да нескольких других, не уступающих им в богатстве, достаточно, чтобы убедиться, что Америка некогда обладала гораздо более высокой культурой, чем та, которую нашли в 1492 году испанцы. У меня есть и другие доказательства этому. Не только в Мехико и Перу, но и при дворе царя в Боготе жрецы умели проводить линию меридиана и наблюдать момент солнцестояния, умели превращать лунный год в солнечный добавлением дополнительного дня; в моем багаже есть семиугольный камень, найденный в Санта-Фе, который был предназначен для вычисления этих добавочных дней. Более того. В Эриваро дикари верят в то, что на Луне живут люди, и знают по рассказам, передающимся из поколения в поколение, что свет свой она получает от Солнца.

От Риобамбы я двинулся через известный парамо Ассуай на Куэнку. Но перед этим я побывал на большом серном руднике в Тискане. Представь себе, бунтующие индейцы после землетрясения 1797 года порывались поджечь эту серную гору — жуткая идея, подсказанная отчаянием. Они надеялись таким способом спровоцировать извержение вулкана, который уничтожил бы всю провинцию Алаусси. На парамо Ассуай, на высоте 2300 туазов, сохранились руины великолепной дороги инков. Эта дорога идет до самого Куско, она вся вымощена хорошо обтесанными камнями и пряма, как стрела, — она весьма похожа на красивейшие дороги древних римлян. В той же

местности находятся развалины дворца инков Тупаюпанги, описанного Ла Кондамином в его мемуарах, напечатанных Берлинской академией. Не знаю, рассказывает ли там Кондамин о так называемом бильярде инков. Это своего рода канапе, высеченное в скале, с причудливыми украшениями. Наши английские парки не могут похвастать ничем похожим. Безупречный вкус инков дает себя знать во всем. Сиденье расположено так, что оттуда открывается прекрасный вид. Невдалеке от него, в зарослях деревьев, можно найти округлое пятно желтоватого железа в песчанике. Перуанцы украшали площадку фигурками, так как они верили, что она изображает солнце».

Поездка вдоль побережья на север

5 декабря 1802 года, то есть через полтора месяца после прибытия в Лиму, Гумбольдт, Бонплан и Монтуфар погрузились в Кальяо на корабль и отправились вдоль побережья на север, держа путь в Мексику.

По выходе из гавани они увидели группу островков, населенных мириадами морских птиц. Птичий помет, откладывавшийся здесь веками, покрывал эти острова сплошной массой; его толщина, например, на островах Чинча (что в двухстах километрах южнее) достигала невероятной величины — от семи до тридцати метров. Климатические условия здешних мест благоприятствовали тому, что в толще помета образовались ценные азотсодержащие вещества; индейцы уже давно заметили, что гуано, как они его называли, очень эффективен в качестве удобрения. Гумбольдт, заинтересовавшись им, провел кое-какие предварительные химические анализы, несколько проб помета взял с собой в Европу и обратил внимание друзей-ученых на то, что огромные залежи этих удобрений могли бы принести большую пользу европейскому сельскому хозяйству, в то время переходившему к интенсивному использованию пахотных земель. Немецкие ученые, из них Юстус Либих в первую очередь, быстро убедились в ценности обнаруженного азотного удобрения; вывоз его из Перу и Чили начался в 1840 году и стал важной статьей экспорта этих государств, причем статьей настолько весомой, что истощение запасов помета и переход к изготовлению искусственных удобрений привел к тяжелому экономическому кризису в обеих странах.

Длившееся несколько недель морское путешествие предоставило Гумбольдту удобный случай заняться

изучением холодного течения, идущего вдоль побережья и ощутимо влияющего на климат, состояние почвы и растительность на полосе земли между океаном и Кордильерами. Проведенные им исследования, став достоянием общественности, дали ей повод навсегда связать имя Гумбольдта с этим течением. Сам он против этого энергично возражал, особенно после заявления Карла Риттера, назвавшего Гумбольдта «первооткрывателем течения у берегов Перу». «Течение это, — писал он географу Генриху Бергхаусу, преисполненный решимости при любом удобном случае протестовать публично, — за триста лет до меня знал каждый начинающий рыбак от Чили до Пайты; моя же заслуга состоит только в том, что я первым измерил температуру воды в нем».

Еще почти полтора месяца — с 3 января по 15 февраля 1803 года — путешественникам пришлось провести в Гуаякиле в ожидании попутного судна в мексиканский порт Акапулько. Редкую оказию Гумбольдт ни за что не хотел упускать, а повод упустить ее был: появлялись все новые грозные предвестия того, что грядет мощное извержение вулкана Котопахи. Увидеть воочию столь грандиозное явление природы таило в себе для геолога огромный соблазн, но желание двигаться дальше все же перевешивало. И вот досада: стоило Гумбольдту отплыть, как вскоре действительно началось извержение, принесшее с собой страшные разрушения жителям тех мест. Но Гумбольдту не терпелось быстрее попасть в Мексику, а то и поскорее закончить затянувшееся путешествие: в то время у него появились опасения, что его инструменты изрядно поизносились и уже не так точны и надежны, как раньше, и что за эти почти четыре года он сам изрядно поотстал от уровня быстро развивающейся науки и техники.

Правда, эти опасения были вскоре забыты после приезда его в Акапулько 23 марта 1803 года.

Первый опыт современной географии

Если бы читателю пришлось и далее неотрывно сопровождать Гумбольдта, как это было на Ориноко или в Кордильерах, то путешествие немецкого ученого по королевству Новая Испания (так именовалась в те времена Мексика) ему показалось бы беспорядочным и несколько суетливым. Дело в том, что Гумбольдт двигался теперь не по двум-трем протяженным маршрутам, как в Южной Америке, а совершал частые вылазки на более короткие расстояния; за путешествием в столицу Мексики последовали бесчисленные большие и малые поездки в разные концы страны, в промежутках между которыми он много работал в самой столице. «Ходить по пятам» за Гумбольдтом по Мексике не стоило бы еще и потому, что здесь ученый ставил перед собой иную, более широкую задачу, чем во время путешествия по Южной Америке.

«Мой теперешний визит сюда я стремился использовать не только в естественнонаучных целях, но и чтобы составить себе точное представление о политическом состоянии этой весьма обширной и своеобразной страны», — говорит Гумбольдт в предисловии к своему пятитомному труду «О политическом состоянии королевства Новая Испания», немецкое издание которого начало выходить в 1809 году в Тюбингене (то есть еще до того, как развернулась борьба мексиканцев против испанского господства).

Слово «политический» в контексте этой работы Гумбольдта следует понимать не в современном его смысле, а в исконном и более широком, в каком оно пришло из греческого языка («политика» как учение о государстве); оно подразумевает здесь некую сумму

практических знаний о государственном устройстве и одновременно развернутое страноведческое описание Мексики, этой наиболее экономически развитой испанской колонии, с учетом основных факторов, которые, по мнению автора, оказывали существенное влияние на общее положение дел в ней и уровень ее развития. Изыскания Гумбольдта были поэтому весьма и весьма разнообразны: он изучал физико-географические условия страны, измерял и подсчитывал ее площадь, составлял ее географическую карту, на основе многочисленных барометрических измерений создал первую карту почвенного рельефа страны от восточного до западного побережья. По церковным книгам он подсчитал население Мексики и его состав по четырем основным этническим группам (испанцы; лица испанского происхождения, родившиеся в Мексике; коренное индейское население и негры); собрал данные, характеризующие условия их жизни; обратившись к земледелию, по крупницам собрал цифры и факты, отражающие объем и продуктивность сельского хозяйства, выяснил происхождение и условия произрастания полезных растений, дал подробный анализ состояния горнорудного дела и добычи полезных ископаемых, а также собрал данные по экспорту металлов из страны с момента завоевания ее испанцами, данные о состоянии фабрик и их возможностях, об уровне развития ремесел, о государственных доходах, военных расходах и состоянии транспорта.

Этим исследованием был сделан огромный шаг вперед в деле всестороннего политико-географического изучения и описания страны. Достаточно сказать, что всего полвека назад священник Иоганн Петер Зюсмилх провел первые подсчеты количества жителей страны по спискам родившихся и умерших, что лишь полтора десятилетия до этого была проведена (в Соединенных Штатах Америки) первая методически

удовлетворительная перепись населения, что число жителей Парижа еще и после возвращения Гумбольдта в Европу было известно очень приблизительно и находилось примерно между 500–800 тысячами человек. Проведенное Гумбольдтом исследование можно поэтому назвать первым обширным географическим трудом современного типа, положившем начало целой эпохе в развитии географии и страноведения.

Хотя Гумбольдт пользовался общепринятыми тогда (и очень несовершенными) приемами географического описания, его богатый цифровой материал вполне был пригоден для последующих широких сравнительных и аналитических исследований. Одна из особенностей его метода заключалась в том, что климат и почвенные условия он ставил в связь с ассортиментом возделываемых культур и рассматривал их как факторы, влияющие на общественное бытие народа. При этом он стремился также выяснить, в какой мере возможно реальное увеличение продуктивности производства в той или иной отрасли местной экономики. Так, собирая данные по производству сахарного тростника в Мексике, Гумбольдт подсчитал, сколько всего сахара можно реально произвести в конкретных климатических и почвенных условиях этой страны, и предлагал учитывать полученную цифру при определении вклада Мексики в дело обеспечения сахаром населения всей Земли.

Резкий контраст между экономически сравнительно освоенной Мексикой и первозданной нетронутостью изученных им регионов в Южной Америке побудил Гумбольдта, как он писал в предисловии к упомянутому сборнику географических и политико-экономических статей о Новой Испании, «разобраться в сути причин, которые так явно благоприятствовали прогрессу в сознании населения этой страны и росту его трудовой активности». На примере проведенного им исследования Гумбольдт хотел показать Томасу Роберту Мальтусу и

его сторонникам, какие огромные возможности для повышения благосостояния человечества таились в этих бескрайних землях, пусть даже частично разграбленных испанцами, притом возможности вполне реальные, если только начать разумное освоение этих областей в соответствии с теми представлениями, которые выработало естествознание.

Борьба за власть в испанской и креольской верхушке, вспыхнувшая после отделения ряда испанских колоний от их европейской метрополии и героического выступления Симона Боливара, свела на нет обнаружившиеся ранее в войнах за независимость зачатки прогрессивного развития и помешала практическому использованию результатов огромного труда Гумбольдта и сформулированных им ценных выводов и предложений. И все же его идеи продолжали жить в прогрессивных кругах бывших колоний и приносили свои плоды. Многие дороги, например, были построены в Мексике на основе топографических измерений, проведенных Гумбольдтом. Он был первым, кто дал конкретные предложения по проведению канала от Карибского моря до Тихого океана. Когда двадцать лет спустя после смерти Гумбольдта приступили к строительству такого канала, то выбор пал именно на Панамский перешеек; это был один из девяти вариантов, еще три четверти века назад детально продуманных Гумбольдтом, на каждый из которых им была составлена подробная карта (все они вошли в его атлас Мексики).

В стране ацтеков

Тогдашним вице-королем Мексики (между прочим, пятьдесят шестым по счету за трехсотлетнюю историю испанского владычества над этой страной) был дон Хосе Итурригарай — тот самый, кто пять лет спустя ввиду угрозы восстания креолов пытался устранить эту опасность, предоставив им равные с испанцами права: однако он был схвачен своими же соотечественниками и отправлен в Испанию, власти которой по-прежнему думали, что способны удержать колонию в своих руках, и назначили туда нового вице-короля.

К затее Гумбольдта Итурригарай, надо отдать ему должное, отнесся на удивление благосклонно и во многих его начинаниях оказал немецкому ученому просто неоценимую помощь. Не стоит докапываться, насколько искренне вице-король считал «достойными особой признательности и уважения тех людей, которые посвящают свою жизнь делу важных естественнонаучных исследований во благо человечества», как об этом говорилось в его приветственном письме Гумбольдту, однако же содействие его было поистине щедрым — о таком в совете по делам Индий в Мадриде никто и думать не мог. Вице-король обеспечил Гумбольдту доступ к материалам, без которых ему никогда бы не написать свой фундаментальный политико-географический труд, при том, что передача таких данных иностранцам и посторонним лицам по-прежнему сурово каралась законом. «Никакая книга, никакой справочник не могли бы дать мне тех сведений, в которых я испытывал нужду, — писал Гумбольдт в предисловии к этому труду, — но в моем распоряжении находились

ценнейшие архивы и множество разных рукописных материалов».

Изучение источников шло у него рука об руку с изучением природных особенностей Мексики; обществовед и географ трудились в его лице не менее напряженно и плодотворно, чем ботаник и геолог, этнограф и специалист по естественной истории.

Картины рабства и подневольного труда, обычные, в сущности, для любой колонии, открылись Гумбольдту в его спутникам уже в самом Акапулько, где нищие и больные индейцы надрывались на погрузке тяжелых слитков серебра: они втаскивали их на парусники, державшие курс на Филиппины.

Что до серебра, то Гумбольдт потом подсчитал: «2028 миллионов пиастров, или две пятых всего золота и серебра, вывезенных из Нового Света в Старый за период испанского господства к началу XIX века, были добыты в Мексике (наполовину — в золотоносных районах Гуанахуато, Сакатекас и Каторсе). Золотые копи и серебряные рудники, находившиеся преимущественно в частном владении испанцев, разрабатывались самым хищническим образом. На их разграблении испанской метрополией обогащался каждый, кто только мог. Так, одна-единственная копь в Валенсиане, как пишет Гумбольдт в этом труде о Мексике, в течение сорока лет приносила своим владельцам более трех миллионов чистого дохода ежегодно. С тех пор этот доход вырос до шести миллионов; семейство же Фагоага в Сомбререте ухитрилось за несколько месяцев получить двадцать миллионов».

Тем временем трое наших путешественников находятся уже на полпути в столицу Мексики. В Таско они ненадолго задерживаются, чтобы осмотреть серебряные рудники. Нечто любопытное повстречалось и их ботаническому взору: на плоскогорье между Чильпансинго и Теуилотепеком, на высоте 1200–1400

метров над уровнем моря, в местности с мягким и освежающим климатом они видели, как среди кипарисов и древовидных папоротников растут ели и дубы. Переходы по веревочным мостикам, перекинутым через бурные горные реки, заставили их вспомнить кое-что из их прежнего опыта. Здесь они свиты из бутылочной тыквы и агавовых веревок. Пройдя Куэрнакару и Кучилакве, где стоял густой туман, застилавший им вид на все окрестности, они добрались наконец до Мехико — спустя целых шесть недель после прибытия в Акапулько.

Остановливался Гумбольдт и на том месте, где в 1519 году последний император ацтеков Монтесума приветствовал и осыпал подарками испанского завоевателя Кортеса, а потом, подобно вождю инков Атауальпе, был брошен в тюрьму и вынужден сдаться на милость «Его католического величества» в Мадриде, — на том месте, где оскорбленный в своих религиозных чувствах народ восстал «in noche tristi» — «в печальную ночь» на 1 июля 1520 года и прогнал чужеземных захватчиков до побережья, — на том месте, которое потом Кортес разрушил до основания, когда годом позже хитростью и вероломством возвратился в столицу ацтеков. Путешественникам показали также индейское селение у подножия горы, где добывалась руда для тех ножей, которыми Кортес упражнялся в искусстве бритья, холм в Чапультепеке, где некогда возвышался дворец Монтесумы, «плавающие сады» в Санта-Анита и Истакалько — крошечные островки на озерах, где выращивали экзотические овощи. В остальном же от выстроенного здесь на сваях древнего города Теночтитлана, столицы ацтеков, насчитывавшей, по рассказам, две тысячи храмов, мстительные и жестокие завоеватели не оставили камня на камне.

Деспотизм, насаждавшийся пришельцами, прекрасно уживался с религиозным фанатизмом католической церкви. Епископ Сумарага, францисканец, велел

безжалостно уничтожать храмы, священные надписи, любые письменные документы, вообще все, что хоть малейшим образом могло напомнить о языческих верованиях ацтеков, об их истории и культуре. А его собратья по «пастырскому призванию», ссылаясь на авторитет Библии, с легкой душой благословили рабство как вполне богоугодное дело.

Гумбольдту, вероятно, не раз припоминался грот погибшего племени в Атаруипе, когда он теперь со своими спутниками обратился к поискам чудом уцелевших памятников культуры ацтеков. Многие отыскать или даже открыть ему, однако, не довелось; только кое-где попадались развалины храмов в форме пирамиды, стороны которой проходили строго по линиям географической параллели и меридиана, да еще некоторые надписи, похожие на иероглифы; удалось также разобраться в ацтекской системе отсчета времени, основывавшейся, как оказалось, на простом и точном календаре. Сопоставляя свои наблюдения, сделанные здесь сейчас и тогда, в Южной Америке, Гумбольдт выдвигает любопытную гипотезу, долго потом занимавшую воображение и мысли ученых, о том, что культура ацтеков вместе с культурой инков в Перу и муисков в Боготе — это составные части одной большой культуры, созданной единой человеческой расой, — гипотезу, подтверждаемую, по его мнению, цветом кожи, формой и строением черепа этих людей и другими фактами. Широкое распространение письменности у ацтеков Гумбольдт относил на счет дешевизны бумаги, производившейся из листьев магея. Магей — это волокнистое растение из семейства агавовых, используемое человеком в самых разнообразных целях: из его нитей изготавливаются добротные канаты, пригодные для корабельных снастей и веревочных мостов; из его корней фармацевты делают мазь для лечения сифилиса; его шипы применяются вместо

наконечников стрел и гвоздей; его листья идут в пищу и используются в качестве кровельного материала; а из его почек добывают сладковатый сок, идущий на изготовление пульке — освежающего и чуть пьянящего национального напитка мексиканцев.

Магей и по сей день остается растением, имеющим огромное значение в жизни народов Мексики и Центральной Америки. Гумбольдту оно послужило хорошим подтверждением его идеи о зависимости некоторых особенностей жизненного уклада того или иного народа от природных условий.

Этнографические и культурно-исторические наблюдения Гумбольдта в Мексике были, к сожалению, эпизодическими и отрывочными, а его тамошние находки носили скорее случайный характер. Это и понятно: на Мексику у него было отведено ограниченное время, а «программа» была обширной. Да и испанцы основательно преуспели в уничтожении ацтекской культуры — настолько, что изучение доколумбовых культур Америки остановилось на мертвой точке на целые века. О раскопках же во времена Гумбольдта нечего было и думать, а целые поля, усеянные руинами на полуострове Юкатан, еще только-только попали в поле зрения европейских ученых. О трудностях, с которыми приходилось сталкиваться археологам, работавшим на территории королевства Новая Испания, говорит хотя бы один такой факт: монахи-доминиканцы, задававшие тон в испанском университете Мехико, собственноручно засыпали землей обнаруженное в 1790 году святилище ацтеков и только после настойчивых призывов одного отличавшегося веротерпимостью епископа весьма неохотно его откопали (Гумбольдту довелось осмотреть это святилище и сделать несколько эскизов).

Оно было сооружено из базальтового порфира; знаменитый же пирамидообразный храм в Холуле,

занимавший территорию свыше ста тысяч квадратных метров, был выстроен толтеками из необожженного кирпича. Пристальный интерес Гумбольдта к таким, казалось бы, сугубо прозаическим вещам, как строительные материалы, из которых было возведено то или иное древнее сооружение, позволил ему сделать несколько любопытнейших наблюдений и догадок, натолкнувших археологов на ряд плодотворных мыслей.

Гумбольдта — геолога, горного инженера и экономиста — интересовали в Мексике в первую очередь две темы, связанные с местными природными условиями: во-первых, руды и прежде всего, пожалуй, благородные металлы как источник богатства этой испанской колонии, а во-вторых, вулканы и их влияние на состояние возделываемых земель и тем самым на степень удовлетворения местного населения продуктами питания.

Два месяца Гумбольдт провел в районе рудников Реаль-дель-Монте и Гуанахуато, исследуя геологические условия местности и горнотехническое состояние шахт. Осмотрел он и дал свой отзыв водоотводному туннелю, пробитому в скале в Уэуэтока ценой огромных материальных затрат, через который предполагалось спускать воду, собирающуюся в долинах вокруг Мехико, в реку Монтесума. Он отваживался на спуск в заброшенные шахты «ножевой горы», расположенной неподалеку от некогда существовавшего Теночтитлана, где ацтеки добывали сырье для изготовления оружия и предметов повседневного обихода, с живейшим интересом осматривал незаконченные образцы доколумбового кузнечного искусства, которые ему удавалось разыскать под вековым слоем земли и камней.

По-прежнему неудержимо тянуло Гумбольдта к вулканам, особенно к находящемуся юго-восточнее столицы Мексики Попокатепетлю — «дымящейся горе»

(5452 метра), — возвышающемся на 4200 метров над равниной Морело, и его меньшему брату, расположенному в пятнадцати километрах от него, — Истаксиуатлю (5286 метров). Гумбольдт, между прочим, ошибочно считал, что Попокатепетль выше пика Орисаба (5700 метров) — самой высокой горы Центральной Америки. Кратер Попокатепетля оказался неприступным — «дымящаяся гора» была покорена позднее, лишь в 1827 году. Гумбольдт со своими спутниками и здесь провел множество геодезических замеров.

Лучшие результаты дала более ранняя поездка во внутренние районы страны и изучение вулкана Хорульо, возникшего в сентябре 1759 года буквально за одну ночь и достигшего высоты 500 метров. Друзья спускались на глубину около 80 метров в его кратер, окруженный примерно двумя тысячами дымящихся отверстий, осматривали его стены и дно, брали пробы воздуха. Возникновение этого вулкана посреди плодородной равнины было, по словам Гумбольдта, «одним из самых удивительных явлений, отмеченных в анналах истории нашей планеты». Александр придерживался мнения, всячески потом оспаривавшегося, что шесть конусов вулкана следует рассматривать как «конусы поднятия» на краю большой трещины, образовавшейся в земной коре после того, как та вздулась и «лопнула» в результате подземных толчков. Не менее удивительными явлениями, чем этот вулкан, были hornitos (горны) — холмики высотой 2–3 метра, напоминавшие печки и извергавшие водяные пары; ко времени более поздних работ других исследователей они вследствие выветривания большей частью уже потеряли первоначальную форму, а в то время они тысячами покрывали пустынную область вокруг Хорульо.

Колеса вдоль и поперек по Мексике, Гумбольдт повсюду проводил барометрические измерения высоты, уточнял географические координаты чем-либо примечательных точек местности. Часть своих инструментов, изношенных или поврежденных от интенсивного употребления в сложных условиях, он заменил другими, полученными во временное пользование от бывшего соученика по фрейбергской академии Дель Рио, работавшего теперь в горной школе Мехико. К 7 марта 1804 года, когда в порту Веракрус трое путешественников взошли на борт испанского фрегата, чтобы отплыть в Гавану, Гумбольдт успел не только сделать топографическую съемку столицы и многих других важных пунктов, но и произвести все замеры, необходимые ему для составления подробной карты Новой Испании и карты ее земного рельефа. Бонплан тоже преуспел немало. Он существенно пополнил свои гербарии, а семена мексиканских растений уже находились на пути в европейские теплицы.

Отвращение к рабству

После второй, примерно с месяц, остановки на Кубе Гумбольдт с Бонпланом и Монтуфаром 29 апреля 1804 года отправляются в обратный путь, с заездом в Соединенные Штаты Америки. 20 мая, совершив сравнительно недолгое, но весьма опасное плавание по штормящему океану, они пришвартовываются в Филадельфии. Проведя больше месяца в североамериканских штатах, 30 июня в Ньюкасле под Делавэром они снова погружаются на корабль «Фаворит» и через месяц с лишним — 3 августа 1804 года — входят в гавань Бордо.

Во время непродолжительного визита в США Гумбольдт внимательно присматривался к положению дел в бывшей английской колонии, отвоевавшей себе независимость, и сравнивал здешние условия с условиями жизни в испанских владениях Центральной и Южной Америки. Его желание встретиться с тогдашним президентом США Томасом Джефферсоном, чьи либеральные идеи и статьи он хорошо знал, исполнилось: он получил приглашение в Вашингтон и имел оживленную беседу с этим прогрессивным государственным деятелем, отличавшимся необычайной широтой интересов. Демократические институты молодого американского государства и его быстрое экономическое развитие, безусловно, произвели на немецкого ученого благоприятное впечатление, однако он осудил убожество духовной жизни страны, повсеместный недостаток интереса к культурным ценностям, а также бросающееся в глаза неумное стремление к наживе. Но прежде всего и суровее всего — сохранявшееся в стране рабство, которое считал несовместимым ни с духом конституции, ни с

соображениями политического здравого смысла. Много позднее, будучи уже на склоне лет, он считал своим долгом вмешаться в острую дискуссию, разгоревшуюся в Соединенных Штатах во время очередной предвыборной кампании (поводом для дискуссии послужили выдвинутые им ранее обвинения по поводу рабского положения негров в стране).

Что касается второй остановки Гумбольдта на Кубе, то он целенаправленно посвятил ее углубленному изучению социально-политического и политико-экономического положения населения Антильских островов. Основной темой его статьи «Опыт о политическом положении на Кубе», написанной на французском языке, — по той же схеме, что и работа о Мексике, — и вошедшей в опубликованные позднее (в 1826 г.) путевые заметки, было, по его собственным словам, историческое развитие работорговли и ее тогдашнее состояние, а также вопросы использования труда рабов в испанских владениях и на юге США.

Количество негров, вывезенных из Африки и доставленных в качестве рабов на Антильские острова за период с 1670 года по 1825 год, приближалось, по подсчетам Гумбольдта, к пяти миллионам; число же рабов-негров, живших на Вест-Индских островах к 1825 году, достигало 2400 тысяч человек. Их доля в населении Антильских островов составляла в среднем 40 процентов, на Кубе — 36, на английской части этих островов — 81, а на Ямайке — 85, то есть рекордную цифру. Для сравнения стоит сказать, что население Соединенных Штатов Америки в 1823 году состояло на 16 процентов из негров-рабов.

«Покидая Америку, — писал Гумбольдт, — я исполнен такого же отвращения к рабству, какое я испытывал и в Европе. Напрасно изощряются некоторые хитроумные писатели в попытках приуменьшить и прикрыть жестокость рабства фарисейскими словесами,

вроде: „негры — крестьяне на Антильских островах“, „бесконечная преданность чернокожих“, „патриархальная идиллия“ и т. п. Все это лишь прискорбные факты профанации благородных свойств нашего духа и нашей мысли, постыдные уловки, оскорбительные для нашего человеческого достоинства. И если эти люди заявляют, что положение чернокожих в Америке ничуть не хуже положения крепостных в средние века или даже нынешнего положения отдельных классов на севере и востоке Европы, то неужели они думают, что одного такого сравнения достаточно, чтобы перестать сочувствовать неграм? Подобные сравнения, словесная эквилибристика и эта высокомерная досада, с которой здесь отмечают даже самое надежду на постепенное смягчение рабства, в наше время — оружие бесполезное. Глубочайшие перемены, последовавшие одна за другой с начала XIX века на Американском континенте и Антильском архипелаге^[17], оказали серьезнейшее воздействие на идеи и образ мыслей в тех странах, где рабство еще сохраняется. Многие рассудительные люди, а также те, кто заинтересован в сохранении мира и спокойствия на этих островах, чувствуют, что путем свободных договоренностей с рабовладельцами, путем принятия соответствующих мер, исходящих от людей, знающих местные условия, можно избежать кризиса, опасность которого из-за равнодушия, беспечности или упрямства хозяев только усиливается».

В 1856 году в Америке вышел на английском языке «Опыт политического состояния острова „Куба“, в котором отсутствовала седьмая глава, где речь шла именно о рабстве. Гумбольдт счел своим долгом опубликовать в 1856 году свой протест по этому поводу в журнале „Всеобщее землеведение“». «Этой части моих публикаций, — заявил он, — я придаю гораздо большее значение, чем скрупулезным астрономическим

измерениям координат, магнитометрическим опытам и статистическим выкладкам». Он снова повторил свою мысль, высказанную им в 1826 году, что «даже старое испанское законодательство не столь бесчеловечно и сурово, как законодательство рабовладельческих государств Американского континента как севернее, так и южнее экватора»^[18]. Свой протест он заключил словами: «Я, как убежденный и настойчивый защитник предельно свободного выражения мыслей, постоянно заявляющий об этом устно и письменно, никогда бы не позволил себе сетовать на эти вещи, если бы сам подвергся яростным нападкам за свои мысли; однако я думаю, что имею право требовать, чтобы люди и в свободных государствах Американского континента могли читать то, что в испанском переводе стало общедоступно с самого момента выхода книги в свет».

Конечно, протест Гумбольдта, опубликованный в географическом журнале, мог дойти лишь до ограниченного круга читателей. И все же он имел желаемый резонанс даже в Соединенных Штатах Америки, где он был перепечатан, в частности, уже тогда довольно авторитетной газетой «Нью-Йорк геральд». На Кубе, правда, на распространение этой книги на испанском языке уже в 1827 году был наложен запрет.

«Утверждая единство рода человеческого, — говорится в гумбольдтовском „Космосе“, — мы выступаем против неприемлемого тезиса о высших и низших расах. Есть более образованные, облагороженные духовной культурой, но не более благородные народы. Быть свободными — их общее предназначение; в грубые эпохи человечества эта свобода является достоянием частного индивида, в условиях же развитой государственности и развитых политических институтов она становится достоянием всеобщим».

«Venemerito» Центральной и Южной Америки

Гумбольдт, как мы уже писали, не был революционером в подлинном смысле слова в отличие от его старшего друга Георга Форстера, который неутомимо и бесстрашно боролся за свободу соотечественников и готов был отдать жизнь за свои идеалы. Гумбольдт же анализировал, обличал, обвинял, но в настоящую борьбу не включался. Он был деятельным ученым-энциклопедистом, зорким и критичным наблюдателем, но не профессиональным политиком и борцом. Однако поскольку он занимался наукой не ради нее самой, а рассматривал ее как занятие, в конечном счете идущее на благо всему человечеству, то его анализ политического состояния испанских колоний, возможностей их экономического развития и природных их особенностей, важнейшие мысли, высказывавшиеся им в этих «Политических опытах» и во многих устных беседах, бесспорно, имели политическое значение и политический резонанс.

Идеи Гумбольдта сыграли свою роль и в тот период, когда спустя несколько лет после его отъезда в Европу в испанских колониях развернулась борьба за независимость от испанской метрополии. «Испанскую Америку» Гумбольдт расценивал в этом смысле как «вполне созревший плод». Письменно и устно он постоянно выступал против системы эксплуатации колоний и против вест-индской системы хозяйства, основывавшейся на рабовладении. Что же касалось экономических перспектив этих колоний, то он считал, что эти обширнейшие края не только таят в себе необъятные возможности такого развития, но и непременно должны развиваться целенаправленно и

самостоятельно. Подобную точку зрения до него, по сути, не выдвигал никто, тем более столь обоснованно. Но ему были ясны и причины общей отсталости этих территорий и препятствия, мешавшие им двигаться вперед, — он слишком ясно видел реакционную суть насквозь прогнившего испанского режима, чтобы, лелея какие-то надежды на то, что совет по делам Индий в Мадриде окажется способным или хотя: бы захочет провести реформы в духе его идей. Поэтому, между прочим, Гумбольдт и отказался съездить в Испанию по возвращении в Европу. К возможности революционного развития событий в Южной Америке и завоевания колониями независимости он относился скептически. Хотя он и познакомился во время американского путешествия со многими революционно и патриотически настроенными людьми, все же у него не создалось впечатления, что эти малочисленные силы, рассеянные по всему континенту, были в состоянии решить крупномасштабные политические и экономические задачи.

Это мнение Гумбольдт выразил однажды в парижском салоне мадам Дервье дю Вийяр (что была родом из Венесуэлы), где он частенько бывал после возвращения из Америки. Однако у племянника этой аристократки, еще мальчиком привезенного в Мадрид и жившего теперь в Париже, мнение на этот счет было совсем иное. «Когда народы, — заявил он, — в какой-то момент начинают осознавать необходимость стать свободными, они становятся сильны, как сам господь бог, ибо он вселяет в них свой дух». Молодым человеком, произнесшим эти слова, которому недавно исполнился двадцать один год, был не кто иной, как Симон Боливар.

Боливар был представителем старинного испанского рода, давно уже обосновавшегося в Каракасе; он рано остался сиротой. По наследству ему достались кое-какие земли и медный рудник. Он с детства зачитывался

книгами Руссо, вдохновлялся идеей борьбы за права человека и лозунгами французской революции, мечтал об их осуществлении у себя на родине. В 1807 году он вернулся в Каракас и через три года — двадцати семи лет от роду — начал героическую борьбу за освобождение испанских колоний и создание крепкого демократического государства на севере Южноамериканского континента.

Обстановка в этих колониях его великим замыслам никак не благоприятствовала. Если население британских колоний в Северной Америке было сравнительно однородным по составу — это были в основном выходцы с Британских островов — фермеры и ремесленники, почти одинаково заинтересованные в ликвидации колониальной зависимости, тормозившей развитие молодой промышленности и вельского хозяйства, то испанские владения в Южной Америке представляли собой весьма пестрое образование и в демографическом и в политико-экономическом отношении. Тут были и «серебряные страны», вроде Мексики и Перу, поставлявшие в Испанию главным образом благородные металлы в неочищенном виде, и страны аграрные, вроде Венесуэлы и Вест-Индских островов, где ходкие «колониальные товары» производились на крупных сельскохозяйственных предприятиях. Ни промышленности как таковой, ни ремесел там, по существу, не было. Производство важнейших товаров было монополизировано и находилось в руках либо государства, либо крупных собственников, владевших рудниками или обширными земельными угодьями. Эти крупные собственники особенно упорно сопротивлялись испанским колониальным властям, ограничивавшим их влияние и лишавшим старых привилегий в административной и военной сфере. Явно не по вкусу богачам были и те мизерные уступки метисам, индейцам и неграм, которые

позволяла себе испанская корона в целях сдерживания антииспанского движения. Беднейшие же слои населения — негры-рабы, индейцы-поденщики, мелкие арендаторы, дикие и полудикие племена в джунглях и на равнинах — вообще были лишены всякой возможности высказывать свое мнение. В этом плане скептицизм Гумбольдта относительно пользы отделения колоний для трудящегося люда был понятен. По всему было видно, что в случае отделения этих южноамериканских владений от испанской метрополии у королей рудников и латифундистов будут развязаны руки и ничто не помешает им превратиться в безраздельно господствующий класс. Для них важнее всего была прибыль, а освободить народ от колониального феодализма не только не входило в их планы, но, наоборот, прямо противоречило их исконным интересам. К национальной независимости и одновременно к революционному преобразованию общественных отношений стремились лишь небольшие группы патриотов-республиканцев. Это были преимущественно представители интеллигенции: адвокаты, учителя, восторженно приветствовавшие французскую революцию молодые люди из старой аристократии, небольшая часть офицерства и просвещенного духовенства. Эти группки, рассеянные по всей стране, находившиеся далеко одна от другой и не имевшие постоянных связей между собой, сосредоточивались большей частью в культурных центрах на огромной территории колониальной империи. Главой и движущей силой одной из таких групп в Каракасе и стал Симон Боливар.

Когда в Европе Наполеон замахнулся на испанскую корону, а заодно и на ее владения в Южной Америке, ситуация усложнилась. Две крупные политические группы решили, что их час пробил.

Влиятельное большинство креолов, в том числе владельцы шахт и рудников и латифундисты, добивались неограниченной власти лишь для себя. От имени же патриотов, объединившихся в «Sociedad patriótica» — в политическую партию типа французского революционного клуба, выступал Боливар; он требовал, чтобы «единство нации стало наконец свершившимся фактом». «Нас объединяет общая воля отвоевать свободу», — заявлял он. Ураган, сбросивший с ветки тот самый «созревший плод», разразился.

Главной целью Боливара была независимость от Испании, видевшаяся ему в образе единой сильной республики, в конституции которой были бы закреплены основные права человека, провозглашенные два десятилетия тому назад в Париже. Первое южноамериканское федеративное государство, состоявшее из семи автономных провинций, было создано по североамериканскому образцу и приняло конституцию, которая хотя и предоставила право участвовать в выборах каждому свободному человеку, однако право быть избранным в органы правления получили только люди состоятельные. Вопреки воле Боливара и всех патриотов власть в молодом государстве оказалась в руках крупной буржуазии и латифундистов. В других частях Южной Америки дела обстояли не лучше. Конституционные свободы остались только на бумаге.

Ожесточенная борьба за власть между роялистами и республиканцами, феодалами, объединившимися с крупной буржуазией, и патриотами, борцами за свободу и испанскими солдатами началась уже в момент рождения «свободной» Южной Америки; она открыла собой целую эпоху гражданских войн, диктаторских режимов и военных переворотов, которым и по сей день не видно конца.

Поддерживаемый немногими верными единомышленниками, молодой полковник Боливар предпринял смелую попытку завоевать свободу в борьбе с испанскими колониальными войсками и одновременно с влиятельными реакционными группами, а из множества малых республик создать одну-единую крепкую республику, хотя бы только в северной части Южной Америки. После нескольких героических выступлений, проходивших с переменным успехом, «Либертадору» то есть «Освободителю», как его называли сочувствующие и его сторонники, к 1824 году удалось окончательно изгнать испанцев. Когда он как верховный глава республики Венесуэлы провозгласил отмену рабства, крупная буржуазия и латифундисты объявили ему войну. Тем временем он объединил Новую Гранаду, Венесуэлу и Эквадор в единую республику, освободил Нижнее и Верхнее Перу, которое в его честь стало называться Боливией.

Стоит особо подчеркнуть, что предоставленными ему диктаторскими полномочиями Боливар никогда не злоупотреблял, а бескомпромиссные меры против роялистов и реакционеров были продиктованы исторической необходимостью. Несколько раз он хотел уйти с президентского поста, чтобы снять с себя подозрения в том, что он жаждет стать южноамериканским Наполеоном. Он заключил договоры о взаимопомощи и обороне со многими республиками континента. Но Боливару хотелось большего. Он желал объединить всю Южную Америку в единый и дружный союз государств и всем его гражданам предоставить равные права. Этой смелой идее не суждено было осуществиться из-за упорного сопротивления имущих слоев, хитростью и силой защищавших свои классовые интересы, а также из-за противодействия правительственных клик в отдельных государствах. На первой панамериканской конференции, проходившей в

1826 году в Панаме, Боливару стало ясно, что средствами дипломатического искусства ему своих целей не достичь. Он попытался применить силу там, где в борьбе за единство и независимость родины не действовали другие средства. В Перу и Колумбии народом ему была предоставлена неограниченная власть, однако теперь сопротивление богатых классов еще обострилось, приняв форму заговоров и покушений.

Боливар понимал, что его силы на исходе. Когда же государственный совет в Боготе предложил ему корону, то он воспринял это как предательство его основополагающих политических принципов со стороны тех, кто боролся вместе с ним. Он чувствовал, что недоверие к нему, к его «последним», «тайным» замыслам росло, что даже его ближайшие соратники стали бояться «императора Анд», как называл его простой народ, и его неограниченной власти. Утомленный, смертельно больной, ожесточившийся против всех, Боливар на заседании Национального конгресса в Боготе в 1830 году сложил с себя все полномочия. В том же году, когда он устранился от государственных дел в надежде, что его добровольный уход с высокого поста поможет изжить междоусобицу, борьбу за власть и добиться единства, он умирает от туберкулеза.

Гумбольдту так и не довелось повидаться с Боливаром после тех парижских встреч, имевших место осенью и зимой 1804 года. Из Италии, куда он потом направился, он не раз осведомлялся у Бонплана о делах этой «горячей головы». С величайшим вниманием и участием следил он за ходом освободительной борьбы Боливара. Он приветствовал любое развитие событий, которое содействовало освобождению людей от чужеземного ига, и, конечно же, с глубоким удовлетворением принимал к сведению, что его научные изыскания и его «физическое описание» Мексики, Кубы

и Венесуэлы давало правительствам независимых государств ценные указания относительно путей политического развития их национальной экономики. Письма Боливара Гумбольдт бережно хранил «как драгоценные воспоминания» об «оказанной ему благосклонности», как «самую прекрасную и славную страницу» своей жизни, которая, по его убеждению, так же, как и жизнь Боливара, «лишь более мягкими средствами, служит делу человеческого разума и благоразумной свободы», — как писал он однажды «Освободителю». О делах Боливара Гумбольдт говорил не иначе как о «великих и благородных деяниях... вызывающих восхищение обоих полушарий».

Мы знаем, что Боливар — полководец и государственный деятель — часто вспоминал о Гумбольдте, часто говорил о своем чувстве глубокой благодарности к нему и о том, сколь многим обязаны молодые южноамериканские государства немецкому ученому. «Александр фон Гумбольдт, — говорится в одном из его писем, — вот кто является настоящим открывателем Америки. Ему Новый Свет обязан большим, чем всем конкистадорам, вместе взятым».

Мексика, довольно быстро укреплявшаяся в своем новом состоянии, смогла получить жизненно необходимый ей большой заем в лондонских банках лишь «по предъявлению» «экономического заключения» Гумбольдта. Это научно обоснованное заключение значило для британских денежных воротил больше, чем что-либо другое. Но помощь немецкого ученого этой стране сводилась не только к сфере экономики. Он раскрыл жителям Мексики глаза на масштабы природных богатств и необъятные возможности экономического развития их страны и тем укрепил их волю в борьбе против испанских эксплуататоров и их стремление к основанию независимых государств. Он пробудил в них живую надежду на то, что

«густонаселенные торговые города и плодородные поля, возделываемые свободными руками, возникнут на месте непроходимых лесов».

Мексиканцы произносили имя Гумбольдта вместе со словами «Venemerito», что означает «человек, имеющий большие заслуги перед отечеством», и горячо приветствовали намерение Гумбольдта, высказанное им во времена мрачной реакции в Пруссии, навсегда вернуться в Мексику и основать там научно-исследовательский институт.

Конечная цель исследований — изучение всей земли

О значении научного открытия Америки

Об этой части света, завоеванной в кровопролитных походах жестокими и фанатичными христианами, европейцам многое было известно и до появления там Гумбольдта, однако сведения эти были разрозненными, отрывочными, запутанными, не составлявшими общей картины и не позволявшими проводить на их основе широкий сопоставительный анализ природных особенностей континента.

Первое, что сумел обнаружить светлый ум и острый глаз Гумбольдта, — это сходство строения гор и различие вулканических масс по сравнению с европейскими. Любопытный ученый вместе с верным спутником и помощником Бонпланом с подвижнической тщательностью собирал и регистрировал растительные и животные формы, сопоставлял их разновидности, встречавшиеся в разных частях континента — будь то на равнинах, холмах или неприступных горах, которые он покорял и обмерял, включая и те, что считались самыми высокими на земле. Все это наряду с постоянным изучением физико-химических свойств атмосферного воздуха позволило ему дать жизнь сразу двум наукам: географии растений, или учению о зональном распределении семейств и видов растений, и науке о распределении границ воздушных слоев с одинаковой температурой (учению об изотермах). Третьей великой и удачно осуществленной им идеей, имевшей на сей раз отношение к общественным дисциплинам, была общая статистика. Сделанный им первый свод статистических

данных по Новой Испании многим ученым послужил прообразом новой науки и одновременно стимулом ее дальнейшего развития. Его наблюдения за атмосферой, за астрономическими и магнитными явлениями, — наблюдения ценные и всегда затрагивающие самую суть дела — постепенно сделали вторую половину Земли научно сравнимой с первой и как бы присоединили одну к другой; с момента этого присоединения стало возможным окидывать взглядом всю ее целиком и познавать наиболее общие ее свойства, добиваясь максимально возможной полноты картины.

Кристиан Готтфрид Эренберг [\[19\]](#)

«У Гумбольдта есть все права претендовать на звание величайшего путешественника преддарвиновской эпохи — из тех, что отправлялись в дорогу не за открытием новых земель или за экзотическими безделушками, а затем, чтобы в уже открытых странах провести широкие научные наблюдения и собрать данные для существенного продвижения вперед общей географии и страноведения. Не изучение специфических особенностей каждой исследуемой страны было первоочередной задачей Гумбольдта, хотя и в этой сфере его заслуги очень значительны, а именно познание закономерных связей между явлениями. „Я буду собирать растения и окаменелости, — сообщает он в одном из писем на родину (от 5 июня 1799 года, то есть из Ла-Коруньи, до начала своего латиноамериканского путешествия), — а с помощью первоклассных инструментов, коими мне посчастливилось обзавестись, буду производить астрономические наблюдения и химический анализ воздуха. Но не это все будет главной целью моего путешествия.

Взаимодействие сил в природе, влияние неживой части творения на растительный и животный мир, вся эта гармония природы — вот на что всегда должен быть устремлен мой взор!“

Не только более основательным изучением Центральной и Южной Америки мы обязаны этому путешествию Гумбольдта, но прежде всего совершенно новыми отраслями наук, массой важных сведений и ценными научными прозрениями. Он оказался первым, кто сделал предметом всестороннего изучения состояние атмосферного воздуха в тропиках, а через непосредственно наблюдавшуюся там закономерность явлений научно обосновал свое убеждение, что закономерность эта действует и в северных широтах, только выступает в более завуалированной форме. Благодаря созданным им картам изотерм и отчетливо сформулированной противоположности между климатом прибрежных и внутренних районов континента он впервые смог пролить свет на причины асимметрии в расположении тепловых (климатических) поясов по земному шару. Благодаря этим исследованиям его можно считать основателем научной климатологии. Учение же о земном магнетизме он обогатил открытием, что напряженность магнитного поля в разных точках Земли неодинакова и убывает в направлении от магнитных полюсов к магнитному экватору. В геологическом отношении американское путешествие открыло ему глаза на роль вулканических сил в природе и на связь между внешней формой и общим строением гор. Сравнительная и „объясняющая“ география во многих важных аспектах является

его творением. В своей книге о Мексике он первым попытался объяснить многое из местной специфики страны особенностями ее природных условий и проследить связи между характером почвы, климатом, профилем земледелия, нравами и обычаями жителей. Тем самым он поднял географию, которая до него была не более чем общим описанием отдельных местностей, до уровня теоретической дисциплины. Но не только нравы и обычаи, а и психологию людей он пытался связать с природными явлениями и создать таким образом нечто вроде физиогномики природы. Ему обязаны мы и первым четким изложением системы растительных форм и геологических формаций. В тесной связи со всем этим находятся его эпохальные достижения в области географии растений, науки, до него едва ли существовавшей вообще. При этом он не удовлетворялся географическим описанием растительности, а стремился проникнуть в суть физической ее обусловленности и вскрыть общие законы распространения растений. Предметом своих исследований он избрал поведение растений на одинаковых широтах в Старом и Новом Свете, связи между составом растений и высотой местности над уровнем моря. Важный закон, устанавливающий прямые параллели между высокогорной растительностью и растительностью северных широт, был впервые сформулирован именно Гумбольдтом на основе изучения растительного мира Анд.

Все эти прозрения, которыми Гумбольдт обогатил мировую науку, так или иначе явились результатом его американского путешествия.

Фундаментальное значение этого путешествия состоит в том, что оно дало ряд важных научных „кирпичиков“, легших в основу новой теории мироздания. Гумбольдт-путешественник был одним из пионеров построения всеохватывающей картины мира, и в этом отношении он вплотную соприкасается с путешественником Дарвином.

Вальтер Май»[\[20\]](#).

**«Всеоживляющий,
деятельнейший
естествоиспытатель нашего
века» 1804-1826**

«Этот знаменитый г-н фон Гумбольдт»

И вот Гумбольдт снова в Париже.

«Вчера приехал, наконец, Александр, и с этого момента у меня голова идет кругом», — писала 28 августа 1804 года Каролина фон Гумбольдт мужу, снова вернувшемуся на государственную службу и второй год исполнявшему обязанности дипломатического поверенного прусского короля в Ватикане. Сама Каролина несколько месяцев провела в разъездах, а после неспешных визитов на родину и в Веймар с июня жила в Париже. «Он чудесно выглядит, — продолжала она в этом послании, — и совсем не *cuivre* [\[21\]](#), как он нам писал, хотя заметно пополнил. Впечатление непередаваемое: точь-в-точь те же манеры, жесты, мимика и та же светскость, как будто покинул он нас только позавчера... Ему не терпится посетить все страны Европы сразу, хочется быть и здесь, и в Испании, и в Берлине, и у тебя в Риме...»

В письме Каролине от 29 августа 1804 года Вильгельм выражай озабоченность по поводу сумбурных планов младшего брата, о которых ему уже успели рассказать. Александр волен делать все, что ему вздумается, считал Вильгельм, то есть пробыть сначала несколько месяцев в Париже, отправиться в Мадрид или в Рим — это уж как ему заблагорассудится, однако «надолго отодвигать возвращение в Берлин было бы неблагоприятным. Первым делом надо отдать долг отчизне, будь она, по-твоему, даже голой пустыней. Суть моего совета в том, что он должен написать королю и попросить у него отпуск». А еще ранее Вильгельм писал: «Видеть приезд Александра в Париж будет, наверное, отменное удовольствие. На него будут смотреть с

безмерным изумлением, как на диковинного зверя, будет много эффектных сцен, и я надеюсь, что у него хватит ума не дожидаться, пока свет к нему охладает».

Прибытие Гумбольдта вызвало тем большую сенсацию, что европейская общественность уже несколько раз получала «достоверные» вести о его гибели. Летом 1803 года, например, разнесся слух, что Александр Гумбольдт убит североамериканскими «дикарями». Шиллер просил своего друга Кернера написать ему, если тот узнает что-нибудь определенное о младшем Гумбольдте: «Для меня было бы большим утешением, если бы слухи о его смерти оказались беспочвенными». А в июне 1804 года в немецких газетах промелькнуло сообщение, будто Гумбольдт умер в Акапулько от желтой лихорадки.

«Мою остановку в Париже, — писала Каролина фон Гумбольдт 10 сентября Кунту, — венчает счастливое возвращение нашего дорогого Александра и радость быть свидетельницей оказанного ему необыкновенно восторженного приема. Не помню другого случая, когда бы появление частного лица наделало больше шума и вызвало более острый и всеобщий интерес».

Кунт также получил от нее подробное описание первых впечатлений от встречи с деверем. Лицо его заметно округлилось, речь и весь его облик стали, пожалуй, еще живее, рассказывала она. «За шесть лет жизни вдали от нас Александр ни капельки не состарился».

...Итак, весь Париж встречал Гумбольдта с живейшим участием и любопытством. Что же приковывало внимание парижан к фигуре немецкого ученого и его друга Бонплана? Многое: и восхищение отважными путешественниками, по собственной воле пустившимися в опаснейшее путешествие и чудом оставшимися в живых, и благоговейный интерес к молодым ученым, по-настоящему открывшим для науки

таинственный заморский материк, и уважение к людям, проделавшим гигантский труд по сбору, обработке и систематизации научных данных. Но было также и праздное любопытство, был и сенсационный ажиотаж... В парижских теплицах давно уже цвели экзотические растения, выращенные из тех семян, что прислали в Европу Гумбольдт и Бонплан. Они благоухали в зимних садах наполеоновских нуворишей и служили пикантным украшением многих гостиных и салонов; светские щеголи на часовой цепочке носили оправленные в золото семена из Южной Америки.

Революцию тем временем начали мало-помалу забывать. В Париже образовалась новая элита, нежившаяся в лучах славы нового властителя Франции. Генерал Бонапарт (четыре месяца спустя после отъезда Гумбольдта в Новый Свет) высадился на южном побережье Франции; его египетская экспедиция хотя и закончилась очевидным провалом, но алчущий власти и почестей корсиканец сумел убедить Францию, которой угрожала объединенная мощь держав новой коалиции, в том, что ему, как никому иному, пристала роль спасителя нации. Произведя 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) государственный переворот, он заменил Директорию Консульством, а в качестве первого консула прибрал к рукам верховную власть. Он упорядочил систему финансов, создал централизованный управленческий аппарат, произвел реформу гражданского права, решительно и безжалостно подавил сопротивление республиканцев и роялистов, успешно разделался с военными и политическими соперниками. 14 июня 1800 года под Маренго он нанес австрийским войскам сокрушительное поражение, приведшее к распаду второй антинаполеоновской коалиции. Передышка в войне на море и лихорадочное вооружение создали видимость экономического подъема в стране. Из числа возвратившихся эмигрантов,

из приближенных, богато одариваемых за счет государственных земель и награждаемых орденом Почетного легиона, из именитых военных постепенно образовывалась привилегированная прослойка, преданная Наполеону. Сам он в августе 1802 года тоже кое-чего для себя добился: звание консула теперь закреплялось за ним пожизненно. Когда в августе 1804 года гражданин Бонплан со своим немецким другом прибыл в Париж, то граждане Франции фактически уже потеряли свою свободу, отдав ее властолюбивому генералу, который, опираясь на армию и верхушку буржуазии, настолько преуспел в погоне за единоличной властью, что в мае 1804 года послушным ему сенатом был провозглашен императором французов и уже строил планы покорения Европы. Через несколько месяцев после возвращения Гумбольдта, точнее, 2 декабря 1804 года, в соборе Парижской богородицы в присутствии папы римского Наполеон с большой помпой был коронован наследным императором французов.

«Вы увлекаетесь ботаникой? — подчеркнуто небрежно спросил новоиспеченный император Гумбольдта, когда того представили ему, и, не дожидаясь ответа, добавил: — Моя жена тоже».

«Император выказывал ледяную холодность Бонплану и ненависть ко мне», — писал позднее Гумбольдт своему биографу Юлиусу Лёвенбергу.

Наполеон не мог простить Гумбольдту его всемирной славы — славы, доставшейся иностранцу, не мог простить того, что немецкий ученый отвлекал внимание французов от его собственной персоны. К тому же император всегда считал «этого знаменитого Гумбольдта... прусским шпионом». А однажды в порыве раздражения он дал своему министру полиции указание предложить Гумбольдту покинуть Париж в течение двадцати четырех часов.

Узнав об этом, Александр обратился к одному из своих друзей, Жан-Антуану Шапталю, с которым познакомился еще до американского путешествия, с просьбой замолвить о нем слово перед императором. Шапталю, известному и заслуженному химику, одному из создателей промышленной химии во Франции, поддерживавшему тесные отношения с Гумбольдтом до самой своей смерти (в 1832 г.), удалось обратить внимание Наполеона на готовящееся к выходу из печати — при содействии французских ученых — фундаментальное научное описание Гумбольдтова путешествия на французском языке и таким образом убедить императора немедленно отменить приказ о высылке из страны немецкого ученого. В книге Шапталя «Мои воспоминания о Наполеоне», опубликованной в 1833 году его правнуками, приводятся такие слова, сказанные им императору: «Месье де Гумбольдт превзошел все науки, и когда он путешествует, то это все равно что путешествует целая академия наук. Стоит только удивляться тому, как удалось ему за три года собрать столь огромный материал, обработкой которого он занят теперь в Париже. Нашу страну он избрал второй родиной: книги свои он публикует на нашем языке и тем самым дает работу нашим граверам, нашим рисовальщикам, нашим печатникам».

Гумбольдт же, несмотря на подобные досадные недоразумения, по-прежнему считал в порядке вещей делать все от него зависящее, чтобы Париж и впредь удерживал статус мирового центра естествознания, завоеванный в эпоху республики и укрепленный во времена империи. Так, Гумбольдт много раз призывал высшие инстанции принять меры, чтобы любой ценой сохранить Jardin des Plantes как естественно-исторический музей. С этим же требованием он обращался и к прусскому военному коменданту после занятия французской столицы союзными войсками

весной 1814 года и в июле 1815-го. В апреле 1814 года к Гумбольдту за поддержкой обратился известный французский естествоиспытатель Жорж Кювье, с которым Гумбольдт состоял в довольно дружеских отношениях. Буквально через пять минут после получения письма, как сообщал потом сам Гумбольдт «своему дорогому собрату», он уже торопился к прусскому коменданту города графу фон Гольцу, и тому не оставалось ничего другого, как уступить настойчивым просьбам и уговорам двух именитых профессоров, требовавших обеспечить сохранность естественно-исторического музея, и, более того, вместе с русским губернатором позаботиться о подвозе корма для животных зоопарка.

Во время второй оккупации Парижа, в июле 1815 года, Гумбольдт приложил немало усилий к тому, чтобы прусский комендант издал приказ по городу, запрещающий прусским солдатам наносить вред растениям и животным, принадлежавшим ботаническому саду, зоопарку и другим естественнонаучным учреждениям.

Париж — столица естествознания

Багаж обоих путешественников, сгружавшийся в порту Бордо, был необычайно громоздким: тридцать пять увесистых ящиков, набитых разными записями, дневниками, статистическими выкладками, расчетами, результатами бесчисленных замеров, засушенными растениями, образцами горных пород, минералов, окаменелостей, зоологическими материалами. Бесценный груз — и все это вдобавок к той более чем богатой добыче, которую друзья по частям отправляли в Европу раньше.

Теперь все это предстояло просмотреть, обработать, описать, систематизировать, критически осмыслить, а окончательные результаты опубликовать.

Гумбольдту с самого начала было ясно, что одному со столь обширной и трудоемкой задачей ему не справиться и придется привлечь к этой работе других людей. Для него вопросом чести было пригласить выдающихся ученых, воспользоваться услугами лучших библиотек, научных учреждений и типографий, а также лучшими подсобными материалами, какие только можно было достать. Местом осуществления этого замысла мог быть крупный город, и притом лишь такой, где имелись все для этого условия. А значит, им мог быть Париж — и только Париж. Решено: на ближайшее время оставаться во французской столице и самые неотложные планы осуществлять здесь.

Скоро, однако, станет очевидно, что объем предстоявшей работы Гумбольдт сильно недооценивает, в намеченные сроки он не укладывается, а имеющихся у него средств явно не хватает. И вот вместо трех лет, отведенных им на обработку собранного материала и его издание, публикация его фундаментального труда,

куда войдут путевые заметки, научные наблюдения, описания и расчеты — в общей сложности тридцать четыре тома, — растянется на два с половиной десятилетия, а Гумбольдт будет все так же им недоволен и считать, что этот труд не отвечает первоначальному замыслу ни по полноте, ни по манере изложения. Затраты на его издание дойдут до 220 тысяч талеров; доходы же от продажи этого труда, издававшегося небольшим тиражом, весьма дорогостоящего и плохо раскупавшегося, смогут покрыть лишь малую часть этой суммы, так что латиноамериканское путешествие и публикация связанных с ним научных трудов «съедят» все его состояние.

Но Гумбольдт не жалел ни времени, ни средств. С теми же упорством и настойчивостью, с какими он готовился к научному путешествию, с какими он преодолевал все препятствия на своем пути, принялся он приводить в порядок горы своих бумаг и трофеев, выстраивать в единое целое массу записей, эскизов, зарисовок, бесчисленное количество цифр, готовясь представить на суд ученой общественности не только научные выводы, но и свою концепцию мироздания. Эта задача на ближайшие годы становилась для него главной, вытеснявшей все другие. Старший брат, наблюдавший за ним из Рима и озабоченный не вполне благоприятной в Германии реакцией на нежелание Александра торопиться на родину, писал Каролине 11 сентября 1804 года: «Чтобы напомнить ему о его немецком гражданстве и вернуть его от *ivresse de la vaine gloire*^[22] к серьезной жизни, потребуется еще некоторое время. Собственно, насчет этого у меня нет особых опасений. Он ведь человек чести».

Гумбольдта уже через несколько дней после приезда в Париж торжественно встречают в Парижской академии естественных наук. Коллекции — гербарии,

минералы, окаменелости — выставлены в музее на критический обзор ученых. Выставлены не все их трофеи: дело в том, что собранные сокровища Гумбольдт, во-первых, естественно, разделил с Бонпланом. Во-вторых, ценную, хотя и не слишком обширную из-за трудностей транспортировки коллекцию горных пород он послал молодому минералогу Дитриху Людвигу Густаву Карстену, тайному советнику на прусской государственной службе (с 1803 г.), в качестве дополнения к собранной им коллекции европейских горных пород. Коллекцию же из 6200 растений он предложил Бонплану принести в дар Парижскому ботаническому саду.

Этим подарком, на одну четверть состоявшим из растений неизвестных дотоле видов, оба друга снискали горячее одобрение знаменитых парижских ботаников; Бонплану же, кроме слов благодарности, по императорскому декрету выдали компенсацию, сумма которой, правда, несмотря на ходатайство Гумбольдта, составила лишь половину запрошенной — той, которая обычно выплачивалась знаменитым путешественникам прежде, в виде годового пособия в 6 тысяч франков.

За годы работы в Париже судьба свела Гумбольдта со многими французскими и европейскими учеными. С Антуаном Лораном де Жюсьё, например, продолжавшим начатую его дядей Бернаром де Жюсьё систематизацию растений, и Рене-Луи Дефонтеном, получившим известность благодаря исследованиям в Тунисе и Алжире и работе «*Flora atlantica*», у Гумбольдта установились дружеские связи, выходявшие далеко за пределы общности научных интересов. Сблизился Гумбольдт и со знаменитым профессором зоологии Жаном Батистом Ламарком, провозвестником учения о происхождении видов, утверждавшим, что животный мир под воздействием окружающей природы и образа жизни развился из незначительного числа простых

древнейших форм. Заметим попутно, что тема эволюции в природе и вопрос о происхождении видов всегда живейшим образом интересовали Гумбольдта. Если позднее физиолог Эмиль Дюбуа-Реймон называл его «дарвинистом додарвиновской эпохи», «сторонником механистически понимаемой каузальности и эволюционистом», то это было верно лишь отчасти. По собственным наблюдениям, в Южной Америке Гумбольдт прекрасно знал, что борьба за существование определяет в природе многое. Но, как справедливо отмечает историк Вальтер Май [\[23\]](#), Гумбольдт был еще очень далек от того, чтобы, опираясь на «эту самую борьбу за существование, решать проблему происхождения видов; она, как ему казалось, годилась только для объяснения количества индивидов одной формы». Так, в «Картинах природы» Гумбольдт писал: «Можно объяснить, как на данной территории индивиды одного класса растений или животных взаимно ограничивают свою численность, как после борьбы и долгих колебаний в ту и другую сторону их соотношения, корректируемого потребностями питания и образом жизни, установилось состояние равновесия; однако причины, которые определили не количество индивидов одной формы, а разграничили сами формы в пространстве и придали им характерный и неповторимый облик, остаются сокрытыми от нас непроницаемой завесой тайны, ревниво прячущей от наших глаз все, что касается начала вещей и первого появления органической жизни». Если затронуть сферу личных взаимоотношений Гумбольдта и Дарвина, то стоит сказать, что Гумбольдту довелось однажды, спустя много лет, встретиться с Дарвином, правда, без особого удовольствия для последнего — Гумбольдт показался ему слишком многословным. Тем не менее между обоими существовала прочная духовная связь и даже взаимное влияние, несмотря на то что Дарвин на

четыре десятилетия был моложе Гумбольдта. Дарвин старался внимательно следить за всеми публикациями немецкого ученого; на последнем году учебы в Кембриджском университете он взял на себя труд основательно протрудировать отчет Гумбольдта о латиноамериканской экспедиции, а во время своего кругосветного путешествия (1831-1836) снова и снова обращался к опыту, наблюдениям и выводам знаменитого немца, с чьим многотомным сочинением он не расставался и во время своего путешествия. «В своих путевых заметках, — пишет одна из исследовательниц гумбольдтовского наследия, Ильза Ян, — он отталкивался от живописных путевых зарисовок Гумбольдта, благотворное влияние которых Дарвин многократно отмечал в своих письмах и в своей автобиографии». Сразу после выхода в свет книги своих путевых заметок Чарлз Дарвин посылает один ее экземпляр Александру фон Гумбольдту. 18 сентября 1839 года Гумбольдт из королевского дворца Сан-Суси под Потсдамом шлет Дарвину в ответ длинное благодарственное письмо, а еще раньше заверяет секретаря Английского географического общества, что книга Дарвина — «одна из самых примечательных работ», что появились на свет за годы его, Гумбольдта, долгой жизни.

Но вернемся к парижским ученым. В эти месяцы Гумбольдт сблизился также с Этьеном Жоффруа де Сент-Илером, в пику Ламарку отстаивавшим «принцип типического единства в организации растений» и идею наличия некоего плана в природе, по которому идет все развитие растительного мира (в этот план не укладываются, по его мнению, лишь частности, а вся система растительных видов вполне ему соответствует). Тесные научные контакты установились у Гумбольдта и с другим непримиримым противником ламаркизма — Жоржем Кювье, сторонником идеи неизменности видов

и теории катастроф. Если подлинно дружеских связей между ними и не возникло, то Гумбольдт не раз потом пользовался влиянием этого ученого и высокопоставленного чиновника (в 1802 году Кювье стал генеральным инспектором публичных учебных заведений, во время Реставрации был правительственным советником, а в 1830 году стал пэром Франции), стремясь помогать молодым и способным, но пока еще неизвестным французским ученым. Взаимные симпатии, а позднее и дружба возникли у него с Жозефом Луи Гей-Люссаком, химиком и физиком, известным своими исследованиями свойств газов и особенностей расширения жидких тел. Гумбольдт восхищался молодым ученым, когда тот на воздушном шаре поднялся на головокружительную высоту, чтобы провести термометрические и магнитоэлектрические наблюдения.

В тесном кругу, между прочим, Гумбольдт любил давать своим знакомым забавные имена и прозвища; так, Гей-Люссака он окрестил «поташем», химика Луи Жака де Тенара — «содой», а еще одного химика, Клода Луи Бертоле, пользовавшегося покровительством Наполеона, — «аммиаком». К числу близких Гумбольдту ученых относились также Антуан Франсуа де Фуркруа и Никола Луи Вокелен; частое общение с этими известными химиками, плодотворно работавшими в своей области, способствовало расширению научного кругозора Гумбольдта.

В Германии между тем многие уже злословили на его счет: из-за того, что Гумбольдт, возвратись в Европу, для подведения итогов своей экспедиции остановился в Париже, а многотомный отчет о ней издавал на французском языке. Ему пришлось даже публично отреагировать на чье-то ехидное замечание, что он будто бы прибегает к помощи переводчиков, когда хочет напечатать что-нибудь по-немецки. «У таких слухов

обычно неблагожелательный источник», — писал он в феврале 1805 года на родину. И все равно, несмотря на подобные мелкие неприятности, он продолжал работать во французской столице. Как ни оскорбляла патриотические чувства некоторых его сограждан эта затянувшаяся остановка в Париже, факт остается фактом: ни того уровня развития естествознания, которого достигли здесь, ни того блестящего созвездия светил первой величины, что собрались тогда во Франции, ни той демократической широты взглядов и свободы общения, что царили в Париже, отсталая провинциальная Пруссия предложить не могла.

И если Гумбольдта независимо от изменений политического режима во Франции между 1789 и 1859 годами французы неизменно радостно встречали как своего, как того, кто добровольно избрал их страну своей второй родиной, то причиной тому были не только его огромный вклад в естествознание и не только видная общественная роль, которую он играл тогда во Франции, а в значительной мере и личные качества Александра: веселая и общительная натура, умение заводить новых друзей среди французских ученых.

В круг ближайшего научного общения Гумбольдта наряду с ботаниками, зоологами и химиками входили математики, астрономы и физики, уже завоевавшие мировую известность. Самым знаменитым среди них был Пьер Симон Лаплас, разработавший основы механики небесных тел, приложения теории вероятностей к астрономии и физике, статистике и страховому делу, выдвинувший теорию возникновения Солнечной системы из вращающегося и остывающего газового шара (заслуги его, в частности, были отмечены Наполеоном, пожаловавшим ему графский титул, и Людовиком XVIII, который возвел его в звание маркиза и сделал пэром Франции). Видной фигурой были также астрономы Жозеф Жером де Лаланд, увенчавший свои изыскания

изданием каталога звезд, насчитывавшего 47 тысяч названий, и Жан Батист Жозеф Деламбр, участвовавший в упоминавшемся нами измерении длины земного меридиана между Дюнкерком и Барселоной и потом описавший его в одной из своих публикаций.

Особенно же близко сошелся Гумбольдт с двумя другими учеными, участвовавшими в работе парижского бюро, ведавшего этими измерениями. Одним из них был разносторонне одаренный физик Жан Батист Био, эмпирик чистейшей воды и противник любой философии, сопровождавший Гей-Люссака во время его первого полета на воздушном шаре, другим — Франсуа Араго, уже в 19 лет ставший секретарем того же бюро и участвовавший в замерах на территории Испании. В начале испанского восстания его арестовали, однако из крепости, располагавшейся на Иберийском полуострове, куда его бросили, ему удалось бежать в Северную Африку, где его снова схватили и где он томился в тюрьме до 1809 года. Араго был одним из самых популярных в народе ученых, не столько благодаря исследованиям по гальванизму, магнетизму, изучению природы света и другим работам, сколько благодаря стараниям сделать астрономию доступной пониманию широкой публики, а также тому, что он был решительным противником монархии и в годы революций 1830 и 1848 годов менял кабинет ученого на палату депутатов или министерское кресло во Временном правительстве и боролся за права народа. Симпатии народа к нему были настолько сильны, что в период государственного переворота, осуществленного во главе с «принцем-президентом» Луи Бонапартом в декабре 1851 года, он счел возможным отказаться в присяге новому главе государства, не потеряв при этом место директора обсерватории. Гумбольдт называл Араго, своего лучшего и в течение почти полувека преданнейшего друга, «одной из самых благородных

человеческих натур, в которых мудрость идеально сочетается с добротой». И все же идиллической их дружба не выглядела: в любой научной дискуссии Араго выступал задиристым и неуступчивым оппонентом, свои взгляды отстаивал со страстностью, достойной пылкого француза.

Отчет об американской экспедиции

Араго, Гей-Люссак, Кювье, Вокелен, энтомолог Пьер Андре Латрейль, молодой зоолог Ахилл Валансьен, один из любимых питомцев Гумбольдта, и, конечно же, Бонплан — все они, каждый по своей части, разбирали везенные записи, читали, редактировали, готовили графические и статистические материалы, и постепенно вся эта необозримая груда бумаг выстраивалась в форму отчета о путешествии, отчета подробного и громоздкого. Помогал Гумбольдту и его друг Леопольд фон Бух; помогал берлинский астроном Яббо Ольтманс, производивший все необходимые астрономические и барометрические расчеты; взял отпуск и поспешил в Париж Вилльденов; приехал сюда (в 1813 г.) и Карл Сигизмунд Кунт, один из учеников Гумбольдта и племянник его бывшего гофмейстера, чтобы многие годы своей жизни посвятить этому интереснейшему делу (Кунт пробыл там дольше Гумбольдта и вернулся в Берлин лишь в 1829 году); внес свою лепту и английский ботаник Уильям Джексон Хукер, известный своими работами по исландской флоре. Гумбольдтовский отчет превращался, таким образом, в крупнейший по тем временам коллективный научный труд.

Но вокруг Гумбольдта собрались не только ученые с обоих берегов Рейна, собирались и художники, рисовальщики, граверы, изготавливавшие по гумбольдтовским эскизам и образцам из гербариев добротные иллюстрации к описываемым в тексте растениям, а также чертившие карты для «Атласа Нового Света» и «Атласа Новой Испании». Среди тех, кто работал над мексиканским атласом, был и молодой учитель, с кем Гумбольдт познакомился в Берлине осенью 1805 года и кого весьма ценил: Карл Фридрих

Фризен, позднее участник освободительной борьбы 1813 года и соратник «отца гимнастики» Яна^[24].

Подготовка к печати этого необычайно дорогостоящего издания, целиком осуществлявшегося на личные средства Гумбольдта^[25] (из них же он платил и гонорары своим сотрудникам), продвигалась вперед лишь черепашьям шагом: у его издателя без конца появлялись все новые планы и идеи, его обуревала страсть заново перекраивать уже готовое, дополнять, переставлять, давать что-то в новом ракурсе. Но мешали и внешние обстоятельства, в первую очередь разного рода трудности и ограничения, вытекавшие из условий военного времени, ведь наполеоновские войны бушевали по-прежнему. И все-таки гигантский труд Гумбольдта постепенно обретал осязаемую форму. В нем теперь четко обозначилось несколько составных частей: путевой дневник (обрывающийся, к сожалению, на этапе посадки путешественников на корабль в Магдалене), собрание историко-географических работ, упоминавшиеся политико-экономические «Опыты», целый том карт, а также множество частных исследований, касавшихся растительного и животного мира, географических и геологических особенностей изученных ими областей; наконец, опыты по разработке новых наук — географии растений и изотермического анализа атмосферы.

Медленно, ценой невероятных усилий, с большими перерывами выходили из печати отдельные тома его «Путешествия в равноденственные части Нового Света в 1799–1804 гг.» — таково общее заглавие этого труда, — труда, которому суждено было остаться незавершенным.

Собственно дневник путешествия насчитывал всего три тома. И его публикация тоже растянулась на необозримое время. Третий том его, между прочим, датирован неточно: на его титульном листе обозначен

1825 год, в действительности же последний его выпуск — а издание это выходило отдельными разброшюрованными выпусками-тетрадками (Lieferungen) — поступил в продажу только в 1831 году. Выход в свет обоих зоологических томов тянулся с 1805 по 1832 год.

Слишком трудоемким оказалось это предприятие, чтобы даже силами многих людей можно было с ним справиться быстро. Ныне этот огромный научный труд существует в полном объеме только на французском языке. Отдельные его разделы, по давнему обычаю ученых, были опубликованы на латыни; часть томов вышла по-немецки, часть — на других языках. Часть томов опять же переводилась с французского на немецкий; путевой дневник, рассчитанный на массового читателя, был переведен Терезой Форстер в 1815–1832 годах (говорят, что об этом переводе Гумбольдт будто бы ничего не знал); еще один уже сокращенный его перевод, принадлежащий Герману Гауфу, появился много позже (в 1859–1860 гг.). Заметим, что огромная подготовительная работа по изданию отчета велась Гумбольдтом наряду с почти непрерывной публикацией больших и малых статей по тем или иным частным проблемам в разных научных журналах.

Скоро стало ясно, что покупателей на это издание будет очень мало; тиражи приходилось делать небольшими (и они колебались от тома к тому), а это при больших издательских расходах делало все издание непомерно дорогим. «Очень, очень жаль, — сетовал Гумбольдт в 1830 году в письме к Генриху Бергхаусу, — но мои книги не принесут той пользы, которую я от них ожидал, принимаясь за их написание и издание, — они слишком дороги! Кроме единственного экземпляра моего отчета об американском путешествии, который я держу для своих собственных нужд, в Берлине имеется еще только два. Один из них, в полном комплекте,

находится в королевской библиотеке, другой — в личной библиотеке короля, неполный, потому что даже Его Величеству недостающие тома показались слишком дорогими».

Что я? это тоже примета времени: платить 2573 талера за полное издание Гумбольдтова труда королю представляется непомерной роскошью, в то время как его знаменитый подданный без колебаний тратит на печатание этого самого труда сотни тысяч франков. И еще одна деталь: когда в 1859 году стали разбирать библиотеку «второго Колумба» и все его наследие, то выяснилось, что даже авторский экземпляр и тот оказался неполным.

В Берлине, «этой безлюдной пустыне»

Первым из всего многотомного отчета появился на свет в 1805 году в Париже «Опыт географии растений», изданный двумя годами позднее на немецком языке в Штутгарте. Немецкое издание было посвящено Гёте; страницу с посвящением изящно оформил датский скульптор Бертель Торвальдсен, с которым Гумбольдт познакомился у своего брата в Риме.

В середине марта Гумбольдт покидает Париж и отправляется в Италию вместе с Гей-Люссаком и Францем Августом О'Этцелем, впоследствии — инженером и географом. С Гей-Люссаком Гумбольдт провел в Париже исследования химического состава атмосферы; теперь же, на пути через Южную Францию и Альпы, они вместе занимались метеорологическими измерениями. В Италии ожидалось извержение Везувия, и по этому случаю в пути к ним присоединился Леопольд фон Бух, тоже торопившийся провести наблюдения и собрать новый материал к проблеме происхождения земной коры. После нескольких недель увлекательного общения на римской квартире Вильгельма, где обычно появлялись приезжавшие в Италию художники и ученые, они все вчетвером 15 июля выехали в Неаполь. Везувий был беспокойным — и тем сильнее тянуло к нему обоих вулканистов; долго ждать себя он не заставил: 12 августа произошло извержение, которое они наблюдали.

На обратном пути Гумбольдт, Гей-Люссак и Бух на несколько дней снова остановились в Риме, а О'Этцель уехал в Париж один. Потом они направились во Флоренцию и Болонью, посетили в Комо Вольту, в дождь с градом и снегом прошли через перевал Сен-Готард. Двигаясь далее через Гейдельберг, Кассель и Геттинген,

где у них были трогательные встречи со своими бывшими учителями, они 16 ноября 1805 года добрались до Берлина — здесь они намеревались вместе провести зиму. Гей-Люссаку хотелось ознакомиться с уровнем развития естественных наук в прусской столице. Бонплан тоже ненадолго объявился в Берлине и попринадлежал на нескольких докладах, с которыми Гумбольдт выступал в Академии наук.

Гумбольдта уже успели избрать действительным членом этого ученого сообщества, а прусский король, в свою очередь, в знак признания заслуг Александра перед наукой присвоил ему придворное звание камергера. Из факта присвоения обоим титулов для Гумбольдта вытекали не только представительские преимущества, но и определенные материальные блага в виде твердого годового жалованья. А теперь, когда американское путешествие и расходы по изданию отчета о нем «съели» почти всю доставшуюся ему долю материнского наследства, этот момент был для него и вовсе не безразличен.

Будни в Берлине протекали тускло и однообразно. Гумбольдт явно томился и чувствовал себя в родном городе неуютно. «Я ощущаю себя здесь чужаком, живу в отдалении ото всех в этой ставшей мне чужой стране», — писал он в апреле 1806 года одному из берлинских однокашников, а в письме к свояченице Шиллера, умершего в мае прошлого года, он назвал Берлин «безлюдной пустыней».

Ему, наверное, были лестны чествования и внимание короля, желавшего навсегда привязать его к Пруссии. Но гнетущая атмосфера унылой провинциальности и затхлого консерватизма, царившая на его родине, действовала на него по контрасту с Парижем убийственно удручающе. На пальцах одной руки он мог бы сосчитать ученых, которые могли ему помогать в работе и как-то удовлетворять его потребность в

духовном общении. Мало-помалу он снова окунается в дела, связанные с публикацией своего отчета, и немного отвлекается от безрадостных берлинских будней. Кроме того, присутствие Гей-Люссака, видимо, способствовало тому, что он вдруг основательно увлекся изучением земного магнетизма; сначала он экспериментировал вместе со своим французским другом, а после его отъезда в Париж (2 апреля 1806 г.) — в одиночку, иногда по шесть-восемь ночей кряду. Он предавался этим занятиям в небольшом домике, построенном без единого гвоздя или металлической части.

Лет пятьдесят спустя он рассказывал своему давнему знакомцу Варнхагену, что владелец этого участка Бенъямин Георг, родом из одной французской колонии, имя которого до сих пор сохранила одна из улиц Берлина — Георгенштрассе, — хвастал перед приезжими близким знакомством со «своими учеными». «Вот здесь у меня, — говорил он, показывая гостям портреты ученых, — знаменитый Мюллер», то есть швейцарский историк Иоганнес фон Мюллер, который в 1804 году был призван в Берлин в качестве историографа дома Гогенцоллернов, а потом пошел на службу к Наполеону. «Здесь вот Гумбольдт, а там — Фихте, но этот, говорят, был всего лишь философом».

1806 год. «На горах — там свобода»

С оккупацией Ганновера в 1803 году французские войска угрожающе вклинивались между западными и восточными областями Пруссии. Фридрих Вильгельм III отказался от участия в третьей коалиции и бросил тем самым на произвол судьбы своих естественных союзников: Австрию, Россию и Англию, а также собственные западные территории. Идя на уступки французскому императору и подписывая унижительные договоры с ним, он надеялся на ответную милость и пощаду. Наполеон же вознаграждал столь впечатляющую демонстрацию прусской слабости язвительными насмешками и вызывающими выходками до тех пор, пока Фридрих Вильгельм III не решился все-таки вступить в войну в самый неблагоприятный для себя момент. Казна была пуста; чиновничество и офицерство, добившиеся высоких должностей окольными путями, ни на что не годились; солдат заставляли воевать за государство, защищавшее отнюдь не их интересы.

14 октября 1806 года в двойном сражении, под Йеной и Ауэрштедтом, Наполеон нанес войскам союзников сокрушительное поражение. Это была полная катастрофа фридриховской Пруссии. 27 октября император французов вступает в Берлин, а прусскому королю приходится бежать в отдаленный уголок страны.

19 октября в Галле перед резиденцией Наполеона появляются студенты и перед освещенными окнами императора скандируют: «Pereat! Pereat!» ^[26] По приказу Наполеона университет объявляется закрытым, а студентам предложено покинуть город. Профессор классической филологии Фридрих Август Вольф обращается к младшему брату Вильгельма фон

Гумбольдта, чтобы тот, пользуясь своим авторитетом во Франции, попробовал добиться отмены этих жестких мер. Гумбольдту хотя и удалось заинтересовать нескольких высокопоставленных лиц из ближайшего окружения Наполеона, но сам император не пожелал его принять, хотя Французская академия наук считала Александра фон Гумбольдта одним из самых именитых своих членов. «После всего, что я узнал, — писал Гумбольдт 18 ноября Вольфу, — мне кажется, что император каждый раз приходит в тихую ярость, как только ему напоминают о событиях в Галле».

Возможно, и эта история усилила в таком восприимчивом и чувствительном человеке, каким был Гумбольдт, стремление окончательно отойти от политической жизни и уединиться в тиши кабинета. Тем более что к письменному столу его звала новая большая работа, за которую он теперь засел, — книга «Картины природы», создававшаяся на материале тех докладов, которые он читал в Берлинской академии наук. Первый том, вышедший в 1808 году в тюрингенском издательстве «Котта», способствовал еще большей популярности Гумбольдта среди беднейших слоев народа. В предисловии, написанном в мае 1807 года, говорилось: «Опечаленным, угнетенным душам, всем, кто находится в бедственном положении, по преимуществу посвящаются эти листки. Кому удалось спастись от бурных жизненных невзгод, тот охотно последует за мной в лесную чащу, в бескрайние степи и на высокие хребты Анд. Это к нему обращается хор, осуждающий неустроенность мира:

На горах — там свобода! Зловонье долины
Не заразит величавой вершины.
Мир совершенен, где нету людей,
Нет их раздоров, их мук и страстей».

Гумбольдт не принадлежал к числу патриотов, объединившихся вокруг барона фон Штейна, Шарнхорста и Гнейзенау, боровшихся за укрепление национального самосознания населения оккупированной страны, и почти не участвовал в политической борьбе того времени, однако эта книга, любимое детище Гумбольдта, отнюдь не была произведением аполитичного автора, желавшего отвлечь внимание своих сограждан от неурядиц окружающей их действительности и увести их в фантастически красивые уголки природы или занять их воображение загадками мироздания.

Рисую яркие и красочные, научно безупречные и одновременно общепонятные картины природы, Гумбольдт впервые обращался с подобным материалом к простому народу; он как бы посягал тем самым на монопольное положение поэзии, философии и теологии в сфере общего образования, будил в читателях интерес к природе и естественным наукам и делал первый целенаправленный шаг к важнейшему в социальном отношении свершению своей жизни: достичь понимания народными массами того величайшего значения, которое имеет использование результатов естественнонаучных исследований для прогресса человечества. Но важно и другое: книга эта, написанная в самый мрачный год, последовавший за крахом Священной Римской империи германской нации и Фридриховской Пруссии, была наполнена такой неистребимой верой в торжество жизни и таким оптимизмом, что она освежающе действовала на самые широкие слои немецкого населения — да, собственно, и не только немецкого и не только в годы подъема антинаполеоновского движения, но и позднее, во времена реакции (20-40-е годы). «Когда восприимчивый человек, — говорится в предисловии Гумбольдта к вышедшим сначала отдельной книгой „Идеям к

физиогномике растений“, вошедших потом в „Картины природы“, — вдумчиво и внимательно изучает природу или пытается в своей фантазии охватить обширные пространства органического творения, то среди разнообразных впечатлений, обрушивающихся на него, никакое иное не действует на него столь глубоко и неотразимо, как ощущение вездесущей, головокружительно разнообразной и могучей жизни».

«Мир людей мне представляется мрачным»

Фридрих Вильгельм III по настоянию барона фон Штейна, которому 4 октября 1807 года было поручено возглавить прусское правительство, направил своего брата принца Вильгельма в Париж с миссией добиться от Франции сокращения тяжелых военных контрибуций, наложенных на Пруссию по Тильзитскому миру (7 июля 1806 года).

Сопровождать принца во время этой малоперспективной миссии было предложено Александру фон Гумбольдту. Прусский король, останавливая на нем свой выбор, полагался на его популярность во Франции и на его парижские связи, а также помнил о его незаурядных дипломатических способностях, проявленных еще в бытность им обербергмейстером. Гумбольдт принял это поручение без особых колебаний, так как в Париже у него еще оставалась уйма дел по изданию отчета об американском путешествии.

Переговоры оказались трудными, унижительными и безуспешными. 8 сентября 1808 года Наполеон навязал Пруссии новую контрибуцию в размере 140 миллионов франков, продолжал интриговать, чтобы помешать работе комиссии по реорганизации прусской армии, куда входили Шарнхорст, Гнейзенау, Грольман и Бойен, стремясь ограничить численность прусского войска сорока двумя тысячами солдат, а также пускал в ход все свое влияние, чтобы добиться ухода в отставку фон Штейна (что и произошло 24 ноября 1808 года).

В конце концов принцу Вильгельму пришлось ни с чем возвратиться в Берлин. Гумбольдт же испросил

разрешения остаться в Париже и получил его: в Берлине работать над отчетом было почти невозможно.

Как рассказывал Варнхаген фон Энзе (прибывший в Париж в свите одного австрийского генерала), Гумбольдт в роскошных залах резиденции австрийского посланника, графа Меттерниха, показался ему похожим на «сверкающий метеор, сопровождаемый взорами удивления...». «Редко выпадает человеку, — замечал он, — такое глубокое и всеобщее уважение, такое искреннее одобрение со стороны самых разных общественных групп, такая живая заинтересованность всех власть имущих». «Наполеон его не любил, поскольку он был известен как человек свободомыслящий и в своих взглядах негибкий; однако император, его двор и высокопоставленные государственные чиновники никогда не отрицали то глубокое впечатление, которое в лице смелого путешественника производили на них мощь науки и исходящий от нее свет. Ученые всех стран гордились своим высоким собратом, все немцы — соотечественником, а все вольнодумцы — единомышленником... Во всем: и в научной деятельности, и в практических делах, и в одиноком дерзании духа, и в шумной светской суете — всегда являть собой выдающуюся и независимую фигуру, в любых обстоятельствах настолько оставаться самим собой, как это удавалось Гумбольдту, дано редко кому из нас, и мне лишь очень нечасто встречался человек, который так же упорно, самоотверженно и плодотворно всю свою жизнь трудился бы на благо человечества», — писал Варнхаген.

Что же касается Бонплана, то с момента своего возвращения из Америки он стал постоянным помощником императрицы Жозефины, которая увлекалась экзотическими растениями и, к немалой досаде Наполеона, тратила на них кучу денег, разводя в

теплицах и садах своей загородной резиденции в Мальмезоне диковинные деревья и цветы.

Точности ради следует сказать, что не только эти редкие и причудливые растения воплощали для Бонплана всю прелесть и очарование тропиков; не меньшее удовольствие он получал, очевидно, и от общества темпераментной и ослепительно прекрасной креолки родом с острова Мартиника, в 1796 году ставшей женой Наполеона после смерти своего первого супруга, генерала Богарне.

В 1809 году Бонплан стал интендантом императорских садов Мальмезона. Он исподволь и ненавязчиво подогревал страсть Жозефины к тропической флоре, вместо того чтобы следовать воле императора и удерживать свою повелительницу от опрометчивых шагов и дорогостоящих капризов. Вряд ли стоит после этого удивляться, что ботаник императрицы все больше и больше впадал в немилость у императора; ко всему прочему Наполеон видел в нем доверенное лицо женщины, которая, как видно, не собиралась дарить императору французов законного наследника и из-за этого теперь, когда он достиг вершин славы, стала казаться ему неравной партией. Вскоре брак их был расторгнут, и место Жозефины заняла австрийская эрцгерцогиня Марня Луиза, дочь Франца I, претерпевшего от Наполеона массу унижений. Бонплан сопровождал Жозефину Богарне в изгнание и оставался при ней до самой ее кончины, имевшей место в мае 1814 года, а спустя некоторое время он женился на одной из ее честолюбивых питомиц. В течение последующих двух лет он не раз навещался к Джозефу Банксу и другим английским ботаникам, пока у него окончательно не созрел давно вынашиваемый им план возвращения в Новый Свет.

Бонплана манила не только флора Южной Америки, но и неповторимая атмосфера возрождающегося

континента, где на девственных землях молодых государств, казалось, становилось политической реальностью то, за что боролись французы еще в 1789 году. В конце 1816 года он отправляется с женой в Буэнос-Айрес навстречу жизни, полной всяческих испытаний и невзгод, полукочевой и вечно неустроенной. Над отчетом об американской экспедиции вместо него теперь трудился главным образом Карл Сигизмунд Кунт, сначала под руководством Внльденова, а после смерти последнего (в 1812 г.) — под присмотром самого Гумбольдта.

Чем дальше продвигалась вперед разработка научной части отчета, тем все яснее и яснее становилось Александру, что публикуемые им материалы носят, увы, сугубо специальный характер, что они ориентированы на крайне узкий круг ученых и что из богатейших россыпей его записок и дневников слишком многое оставалось неиспользованным, причем именно то, что могло бы как раз заинтересовать широкую общественность. Например, его путевые впечатления, разного рода наблюдения или «мысли мимоходом» по поводу природы, климата, почвы, условий жизни людей в Новом Свете, их быта и нравов. Поэтому вслед за «Картинами природы» он решает выпустить книгу путевых заметок, рассчитанную именно на широкого читателя. Забегая вперед, можно сказать, что работа над путевыми заметками тоже затянулась надолго и в конце концов осталась незавершенной.

Он уже начал работать над новой книгой, когда ему представилась возможность занять видную должность в Берлине. Его брат Вильгельм в феврале 1809 года — отчасти против своей воли — стал тайным государственным советником и директором управления культуры и образования в министерстве внутренних дел: несмотря на происки придворной юнкерской камарильи, поддерживаемый лишь считанными

единомышленниками-чиновниками, сторонниками отправленного в изгнание барона фон Штейна, он начал осуществлять широкую реформу системы школьного образования и ценой упорных усилий добился высочайшего постановления об учреждении в Берлине университета. Вильгельм очень хотел и надеялся привлечь младшего брата к числу ученых-основателей этого университета. Однако Александр никак не мог решиться бросить свой отчет на полдороге.

В первые дни января 1810 года он посылает Гёте экземпляр только что вышедших в свет «Живописных видов Кордильер и памятников культуры американских народов» — очередную часть своего многотомного отчета. «В этой трезвой стране, — пишет Гумбольдт в сопроводительном письме в Веймар, — среди шумной и пустой суеты я веду полную трудов однообразную отшельническую жизнь. Меня мучает ощущение собственной неспособности быстрее закончить то, что я считаю своим долгом перед самим собой. Мир людей представляется мне мрачным. Картины же большой природы, таинственная уединенность лесов и непобедимая тяга в голубые манящие дали усиливают во мне настроение, которое нельзя назвать бодрым, но которое никогда не мешает моей работе и не лишает меня мужества. Мое здоровье, разные ревматические недуга (последствия лесной сырости), плохо слушающаяся рука — всем этим я уже не стану Вам докучать. Мое самочувствие непременно улучшится, как только я снова окажусь в жарких странах. У меня зреет проект сесть на корабль и отправиться на мыс [Доброй Надежды], пробыть с год в этой южной точке Африки, изучить южные течения, а потом отплыть на Цейлон или в Калькутту; в Бенаресе, куда приходят караваны из Лассы [Лхасы], снарядиться для перехода через Тибет и двинуться на север. Хорошо бы только ситуация в мире

благоприятствовала скорейшему осуществлению моих планов».

Несмотря на невероятную занятость, Гумбольдт не стал ограничиваться пустыми мечтаниями о новом путешествии, а вскоре действительно начал методично готовиться к нему.



Александр фон Гумбольдт. 1813 г.



Эме Бонплан.



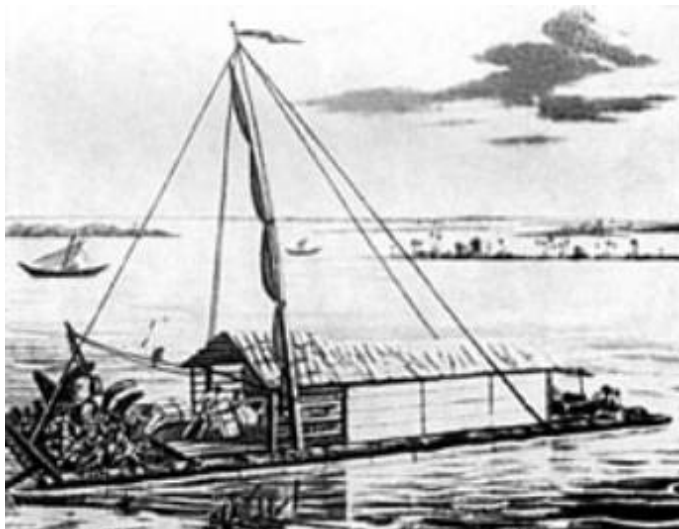
Уличная сцена в Лиме. 1800 г.



Карта путешествий Гумбольдта по Южной Америке.



***Пейзаж в окрестностях Кито с вулканом Чимборасо
(по рисунку Гумбольдта). Из описания
американского путешествия.***



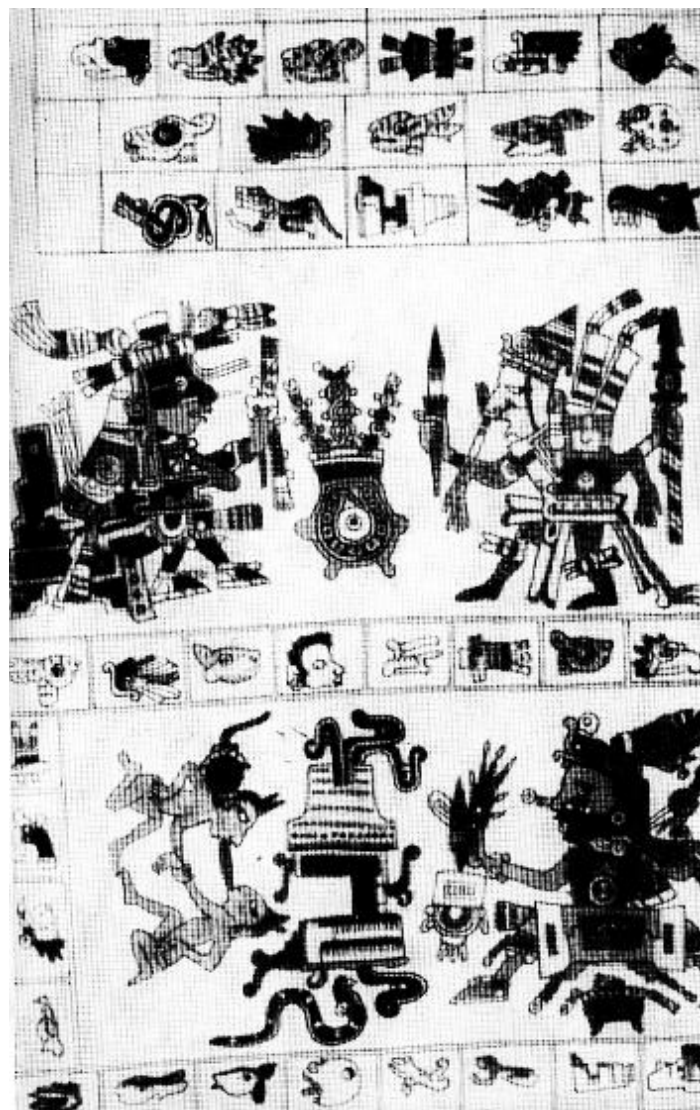
***Плот туземцев на Ориноко (по рисунку
Гумбольдта).***



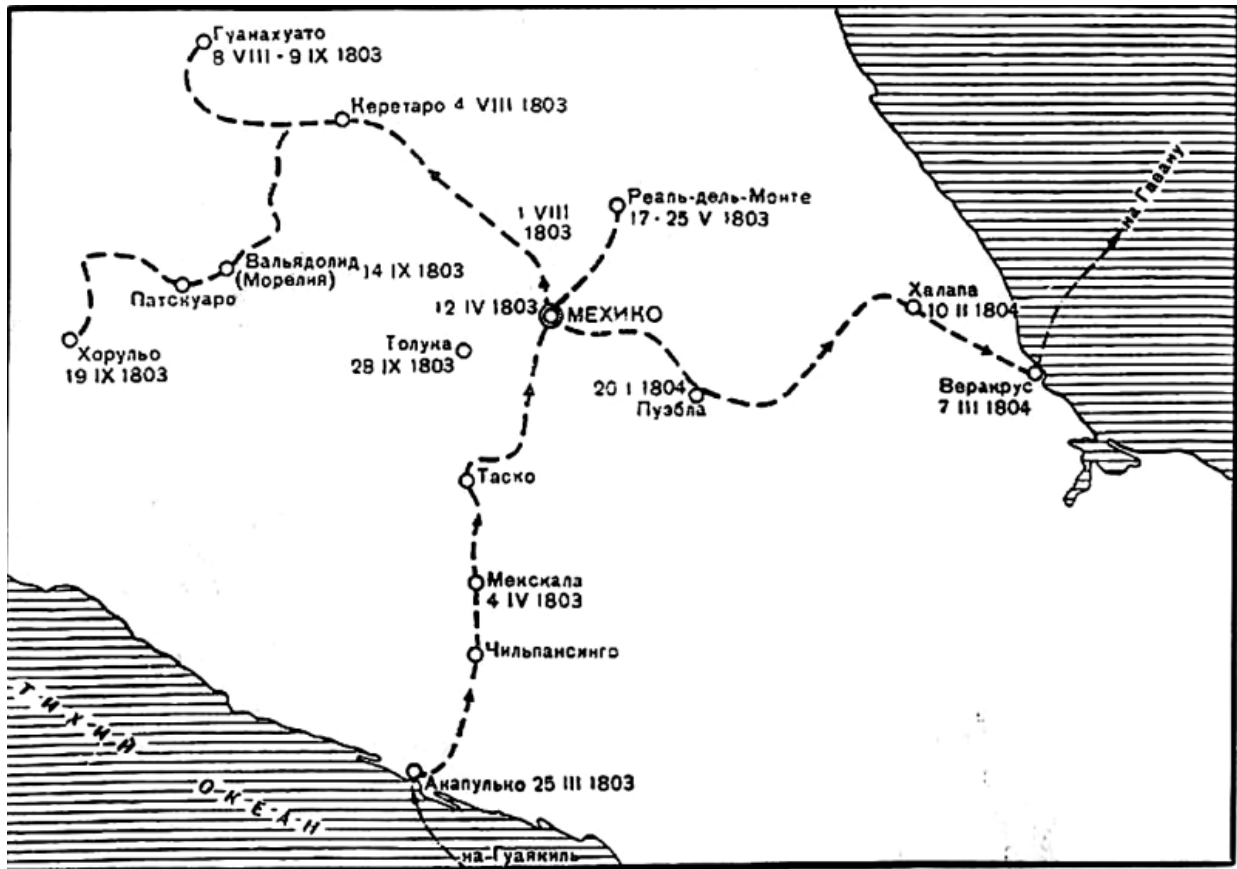
Естественный мост через реку Икононсо (по рисунку Гумбольдта).



Одежда мексиканских индейцев (из описания американского путешествия Гумбольдта).



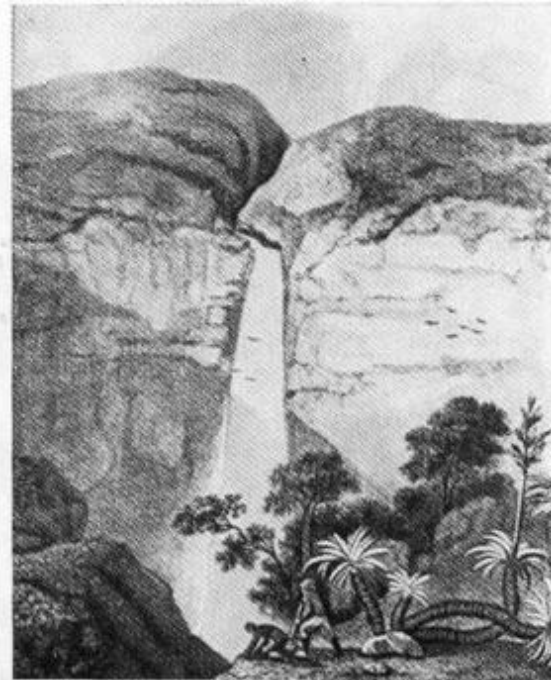
Иероглифический рисунок из старинной инкской рукописи (из описания американского путешествия Гумбольдта).



Гумбольдт в Мексике. 1803-1804 гг. Карта.



Мост через Пенипе (по рисунку Гумбольдта).



Водопад на Рио-де-Винагре поблизости от вулкана Пурасе. (По рисунку Гумбольдта).



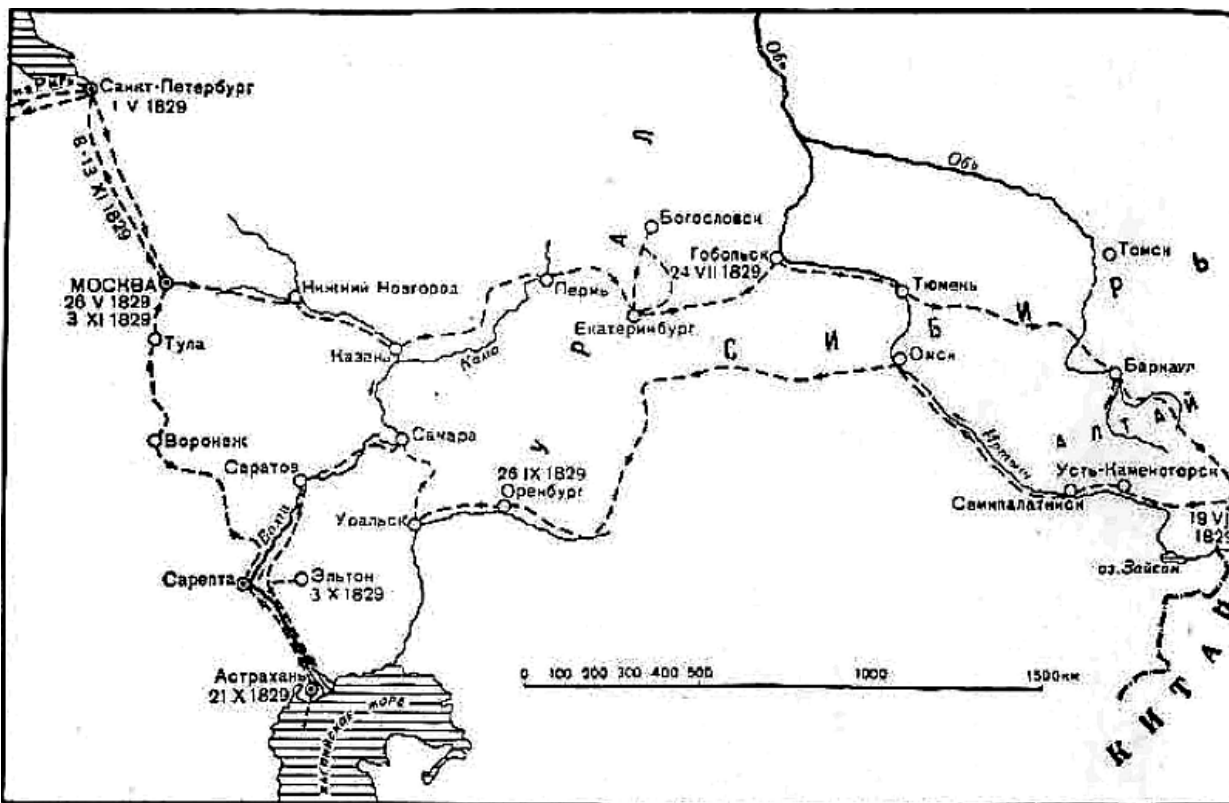
Чимборасо (по рисунку Гумбольдта).



Штурм арсенала в Берлине 1848 г.



Александр фон Гумбольдт. Бронзовая статуэтка работы Генриха Драке. 1965 г.



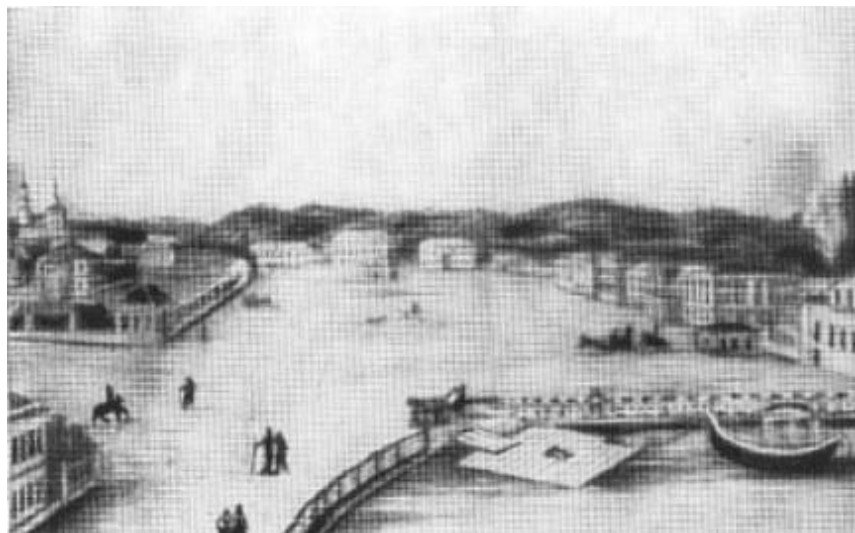
Александр фон Гумбольдт в России и Центральной Азии. 1829 г.

aus zu leben dem Hof anhalten
Welt, dem Kaiser in der Nähe geachtet
wird das man darauf sein Hof, in
Legation" wird man abgeholt hat
Kraften, in man Hofen, in den
mit Freund die in der Hofen geachtet
Freiheit, ^{und} ~~und~~ Hofen geachtet
unterbrochen) Hofen geachtet
Mit der Hofen geachtet Hofen
und viele Hofen in Hofen geachtet
Hofen Hofen in Hofen geachtet Hofen
E. Hoffen

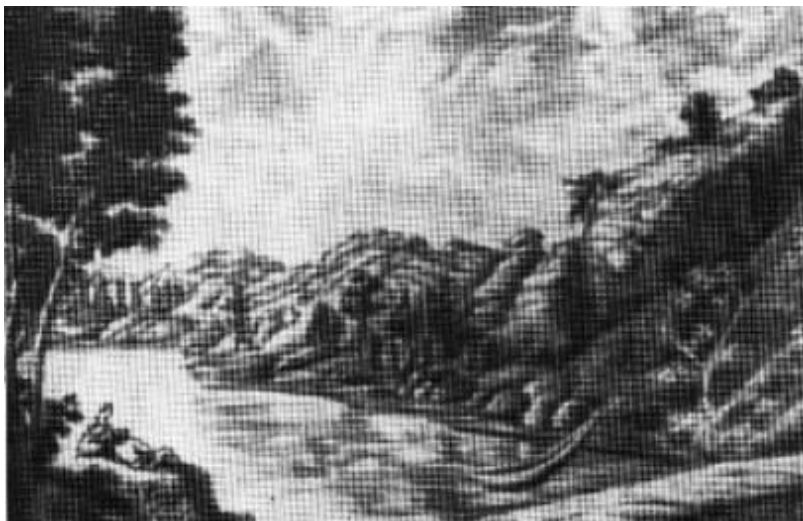
Dachau, den 19 Dec
1850

gehört Hofen
Hofen

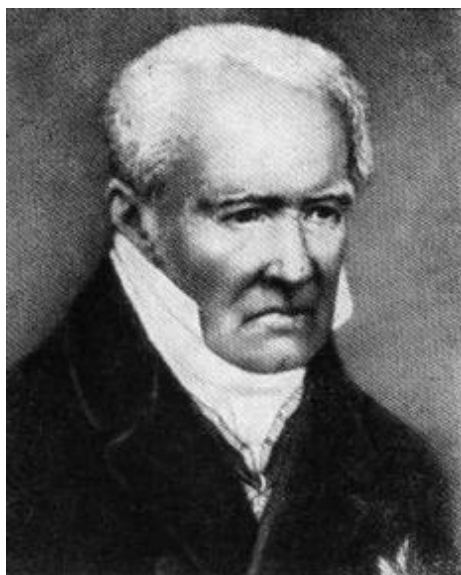
Письмо к Брокгаузу от 19 декабря 1850 г.



Златоуст в первой четверти XIX в.



Колыванское озеро на Алтае в начале XIX в.



Александр фон Гумбольдт.



Александр фон Гумбольдт в своей библиотеке в Берлине. 1856 г.



Нижний Тагил.



Верхисетский завод Яковлевых.



Александр фон Гумбольдт (по картине Лэмбдина).



Памятник Александру фон Гумбольдту перед зданием Берлинского университета имени Гумбольдта.

Весной 1810 года обстоятельства вынуждают его брата оставить пост директора управления просвещения, поскольку создание временного

государственного совета, в котором тайным советникам предоставлялось право только совещательного, а не решающего голоса, означало существенное ограничение и его полномочий. Вскоре он получает новое назначение: место прусского посланника в Вене; освободившуюся же должность канцлер Гарденберг, бывший патрон Александра в Байрейте, предлагает младшему Гумбольдту. Александр от этого предложения отказывается, «не желая расставаться с положением свободного, независимого ученого».

Беседы, которые он вел с находившейся в Париже делегацией высокопоставленных лиц из России, среди них в первую очередь Гумбольдт называет имя министра торговли графа Румянцева, открывают ему перспективу участия в русской научной экспедиции, которую планировалось осуществить по Сибири, через Кашгар и Ярканд к Тибету. Надо думать, что эти беседы дали какие-то конкретные результаты, если Александр уже в октябре 1811 года отправляется в Вену (и остается там до конца ноября), чтобы попрощаться с братом и его семьей.

Следующая цель — путешествие в Азию

Вскоре выяснилось, что прощание с братом было по меньшей мере преждевременным. Ибо осуществить намеченную цель — «азиатское путешествие» — удалось лишь более полутора десятков лет спустя. Слишком серьезные, почти непреодолимые препятствия вставали на его пути, и прежде всего, разумеется, препятствия политического характера.

«Гумбольдту не было и 24 лет, когда он 11 июля 1793 года в письме бывшему однокашнику по фрейбергской академии, русскому чиновнику из горного ведомства Владимиру Юрьевичу Соймонову выразил пожелание провести геологические или ботанические исследования в Сибири, Крыму или на Кавказе в качестве путешествующего ученого или должностного лица. Это, по нашим данным, первое встречающееся у него упоминание о России как цели путешествия. Конечно, этому высказыванию не стоит придавать слишком большого значения, однако оно свидетельствует о том, что молодой бергмейстер уже тогда включал в свои планы не только тропики, но и Азию. В начале 1801 года в Картахене, в сегодняшней Колумбии, он заявил о своем намерении (которому так и не суждено было осуществиться) совершить обратный путь в Европу через Филиппины, Индию, Персию и Палестину. Это уже второй раз, когда Гумбольдт заводит разговор о путешествии в Азию»^[27].

Мы знаем, что одним из постоянных приемов, входивших в арсенал научного метода Гумбольдта, было сравнение — как в малом, так и в большом. Курт. Р. Бирман, например, вполне справедливо называет Гумбольдта «мастером по части использования

сравнений» и напоминает нам, что Ф. Энгельс, «говоря об элементах сравнительного анализа как о способе мышления, пробившем брешь в консервативном понимании природы, особо упоминает Гумбольдта». Чем обширнее и разностороннее стали его знания после первого большого путешествия, тем явственнее обозначалось у него желание: не оставляя работы над обобщением полученных результатов, познакомиться и с Азией, конечно, не только затем, чтобы сравнить ее природные особенности с американскими, а чтобы «проверить свои наблюдения на совершенно инородной местности. Когда он после пятилетнего отсутствия в Европе снова появился в Париже, — пишет далее Бирман, — он говорил 10 марта 1805 года, в частности, о своем намерении отправиться в районы Крайнего Севера Азии и провести там комплекс наблюдений в период долгой полярной ночи. Начиная с 1807 года поездка в Центральную Азию стала для него решенным делом, о чем знали все друзья и знакомые».

На эти планы Гумбольдта обратили внимание и в самой России. Граф Николай Петрович Румянцев еще в конце 1808 года предложил ему совершить путешествие в Тибет и Северную Индию за счет русского правительства. Прощальный визит к брату в Рим говорит о том, что, даже несмотря на непрекращающиеся войны в Европе, несмотря на бесконечные издательские дела и заботы, Гумбольдт все это время был поглощен идеей нового путешествия, главными направлениями которого были Индия и внутренние районы Азии. В 1811 году через одного из петербургских знакомых, барона Александра Ренненкампа, — вероятно, по инициативе сверху — Гумбольдту снова дали понять, что русское правительство по-прежнему готово предоставить ему необходимую помощь в осуществлении его исследовательских планов. В ответном письме Ренненкампу от 7 января 1812 года, посланном с

большой задержкой из Парижа, Гумбольдт очень обстоятельно, вдаваясь в детали, делится с ним своими замыслами, которые ему хотелось бы реализовать в ходе азиатского путешествия.

Ответ Гумбольдта Ренненкампфу, отмечает Бирман, представляет собой подробнейшее описание маршрута и целей экспедиции в Азию и по праву может быть назван программой его научных исследований. Из всех азиатских территорий ему больше всего хотелось побывать на Камчатке, в районе горы Музтагата (в Западном Китае) и в пустыне Гоби. Среди наук, которым его новая экспедиция могла бы принести наибольшую пользу, Гумбольдт первой называет геологию, за ней — географию растений и метеорологию; в его программе значатся также измерения силы земного притяжения, геомагнитные наблюдения, не забыты этнография, культура и язык народов, изучение возможности прокладки новых торговых путей на юг, топографические измерения, в том числе барометрические измерения высоты точек земли над уровнем моря, создание карт профилей местностей и целых территорий, сбор образцов для разных естественнонаучных, особенно минералогических коллекций. Хотя он не знает ей слова по-русски, писал Гумбольдт, он непременно станет русским, как стал в свое время испанцем. Знакомство с Сибирью и ее изучение он хотел бы начать с районов, расположенных южнее 58-60-го градуса широты, и пройти потом до Берингова и Охотского моря, после чего экспедиция могла бы двинуться на запад — до Байкала, а затем повернуть на юг. На этот участок пути Гумбольдт намечал положить четыре-пять лет при общей продолжительности путешествия лет семь-восемь. Он высказывал пожелание, чтобы большинство научных участников экспедиции составляли русские — они

мужественнее, выносливее и не будут настаивать на преждевременном возвращении домой.

Увы, военные события тех лет помешали осуществлению этого проекта. Много лет спустя, уже в преклонном возрасте, Гумбольдт не без грусти сравнивал свои давнишние обширнейшие планы с теми сравнительно скромными результатами, которых ему удалось позднее достичь реально, — как ни дорога была ему поездка по Сибири, состоявшаяся в 1829 году.

Гражданин мира или патриот?

К тому времени, когда Гумбольдт писал письмо Ренненкампфу (то есть 7 января 1812 г.), у Наполеона уже созрел план двинуться на Россию. Летом 1812 года «великая армия» французов пересекла границу, а всего несколько месяцев спустя она уже быстро и позорно отступала под ударами русских войск. 30 декабря 1812 года Йорк, командующий прусским вспомогательным корпусом, отказал французскому императору в военной помощи, — что было отражено в конвенции, подписанной в Таурогене. Из русского изгнания возвращались барон фон Штейн и его ближайшие сподвижники. Час освобождения от наполеоновского гнета пробил.

Александр фон Гумбольдт продолжал оставаться в Париже, погруженный в свои научные занятия, издательские дела и сборы ко второму большому научному путешествию. «Я был в достаточной мере глупцом, — писал Гумбольдт свояченице в Вену, — чтобы верить в более прозаическое положение дел в мире... Я много работаю и живу плодами трудов своих, ибо на какие же источники еще можно рассчитывать в нынешнее время?»

Вильгельм фон Гумбольдт, находившийся в свите монархов-союзников, порицал поведение брата как непатриотичное: в тот момент, когда весь немецкий народ поднялся наконец на борьбу с Наполеоном, Александр продолжает отсиживаться, и не где-нибудь, а в стане врага. Правда, у него самого тоже не появлялось особого желания вмешиваться «в мировую потасовку», однако если бы он не был занят на дипломатическом поприще, то охотно пошел бы, как писал Каролине 6 декабря 1813 года, на какую-нибудь службу, скорее

всего на военную. «Признаюсь откровенно, я и в Александре не одобряю то, что он остается в Париже. Конечно, все его заслуги на войне были бы несопоставимы с тем, что он сейчас там творит. И кроме того, какие бы геройские дела он ни успел совершить с оружием в руках, они все равно не шли бы ни в какое сравнение с тем, что он мог бы сделать для науки в будущем, случись ему погибнуть на войне. Однако в том-то и дело, что в подобных случаях неуместно долго и тщательно взвешивать, где и от чего будет больше пользы, придавать слишком много весу собственной персоне и слишком щадить себя — такое свойство характера никого не может украсить».

Небезынтересно отметить, что и для Вильгельма, несмотря на весь патриотический пыл, дипломатическая служба и участие во всегерманском демократическом движении немецких патриотов были скорее делом чести и верности гуманистическим идеалам, чем делом самоотверженного служения отчизне. И не на слабость ли моральной позиции самого Вильгельма осторожно намекал Александр в одном из своих более ранних писем брату, посланном летом 1810 года, когда Александра прочили в преемники Вильгельму: «Дипломатические посты — это не то, что сейчас требуется в первую очередь нашему бедному отечеству»? И добавлял далее не без легкой насмешки: «Несмотря на твою великую привязанность к сословию, в которое ты меня хочешь погрузить с головой, ты отправляешься на зеленые берега Дуная. Да ты и сам говорил мне, что патриотические чувства у тебя сильнее всего, когда ты находишься по другую сторону Альп. А смог ли ты в Берлине просидеть столь же долго, как я после моего возвращения?»

Нам трудно судить, кто из братьев был прав, но ясно одно, что свои занятия, коим он предавался в Париже, Александр действительно не считал ни

самодовлеющими, ни далекими от жизни, а делом первостепенной важности, обещавшим принести огромную пользу всему человечеству. Он полагал, видимо, что его первейший долг — довести это дело до логического конца, пусть даже ценой некоторого ущерба для его репутации в глазах ослепленных националистическими чувствами немецких патриотов. Тем более что к этому времени он уже не сомневался в победе союзников над Наполеоном, а поражения диктатору он желал от всей души ради блага самих же французов.

Планы путешествия в Индию

31 марта 1814 года прусский король Фридрих Вильгельм III, в свите которого находился и его посланник Вильгельм фон Гумбольдт, прибыл в Париж. На следующий день он вызвал к себе камергера Александра фон Гумбольдта, велел ему показать себе достопримечательности французской столицы, а в июне взял его с собой в Англию.

Александра на Британских островах щедро осыпали всяческими почестями. Его ввели в Королевское общество наук на место умершего в феврале этого года известного химика Генри Кэвендиша, того заносчивого, преисполненного сословной гордости и сознания собственной значительности сына герцога Девонширского, который позволил молодому Гумбольдту во время его первого визита в Лондон пользоваться его библиотекой только на том условии, что тот не будет ни здороваться, ни заговаривать с ним при встречах в его доме.

С тех пор как рухнули планы совершить путешествие по Азии из-за нападения Наполеона на Россию, Гумбольдт стал лелеять надежду осуществить его по другому плану — начав, так сказать, с другого конца — с Индии, но теперь уже рассчитывая на поддержку Великобритании. Однако и эта надежда разбилась о противодействие озабоченной сохранением своей торговой монополии британской Ост-Индской компании.

Несмотря на столь явное невезение, Гумбольдт все-таки не расставался с мыслью увидеть хотя бы Ганг, как он писал Ренненкампу. Он по-прежнему был готов двинуться в дорогу хоть через Тегеран или Кабул, смотря по обстоятельствам. О том, какое серьезное значение он придавал этому новому плану, говорит и то,

что он принялся изучать персидский и арабский языки. Не зная, что ему скоро откроется доступ к Тибету и Бхутану, он серьезно взвешивал возможность поездки на Малаккский полуостров и на Цейлон, на Яву и Филиппины. Несмотря на разочарования, которые ему пришлось пережить в 1814 году в Лондоне, он все еще надеялся, что Ост-Индская компания сможет убедиться в том, что его путешествие в Индию призвано служить исключительно интересам науки. Однако и эти надежды пошли прахом.

В эти месяцы вся Европа как замороженная следила за бегством Наполеона с Эльбы и за его последними попытками захватить власть; свидетелем этих событий Гумбольдт стал уже в Париже. Когда Наполеон после битвы при Ватерлоо окончательно понял, что на его мечтах о мировом господстве надо ставить крест, он часто вспоминал ненавистного ему и одновременно вызывающего его восхищение естествоиспытателя Гумбольдта, который в 1804 году многие месяцы отвлекал восторженный энтузиазм парижан от персоны «спасителя отечества». «Если уж я приговорен к лишению права командовать армиями, — сказал однажды свергнутый император своему преданному математику Гаспару Монжу, — то занять себя теперь я могу только одним — науками... На этой стезе я хочу сделать достойные меня открытия. Мне нужен спутник, который мог бы скорейшим образом познакомить меня с нынешним состоянием наук. После этого мы вместе пройдем через весь Новый континент — от Канады и до мыса Горн — и в ходе этого продолжительного путешествия изучим все те физические феномены нашего земного шара, которым ученый мир еще не нашел объяснения».

После того как Наполеон был изгнан на остров Св. Елены, а в Париже был подписан второй мирный договор, в процедуре выработки которого участвовал и

Вильгельм фон Гумбольдт в качестве ближайшего помощника прусского канцлера Гарденберга, последний предложил Александру фон Гумбольдту пост посланника в Париже. Александр снова ответил отказом; кроме нелюбви к дипломатическому поприщу и всех прежних соображений, приведших в свое время к его уходу с государственной службы, свою роль сыграло, видимо, и то обстоятельство, что первоначально предложенную на этот пост кандидатуру его старшего брата французы отклонили как нежелательную.

Тем не менее Гумбольдту-младшему все-таки доводилось и впредь выполнять мелкие и докучные дипломатические поручения, которых ему как камергеру с твердым жалованьем (2500 прусских талеров ежегодно) избежать удавалось не всегда. Из всех возложенных на него поручений по душе пришлось ему одно-единственное: это когда главы союзных стран попросили его составить памятную записку о тех южноамериканских колониях иберийских государств, где уже развернулось национально-освободительное движение. С этой целью Гумбольдт в конце 1817 года вместе с Араго отправляется в Англию; осенью 1818 года он снова в Лондоне, на этот раз — с Валансьеном.

«Александр исполнен решимости, — писал Вильгельм 6 октября 1818 года своей жене, — примерно через год, как только он завершит свой труд, отправиться в Ост-Индию. В Тибет попасть ему, наверное, будет трудновато, поскольку там сейчас хозяйничают китайцы, которые не пускают туда никого. Вопрос о финансировании поездки будет решен в Аахене. После этого путешествия он намерен не возвращаться в Париж, а остановиться в Лондоне и писать отчет о поездке в Индию на английском языке. Это вызовет в Германии куда меньшее неудовольствие и будет воспринято как жест примирения. Правда, он все же будет писать не по-немецки, но надо признать, что в

его делах есть особые трудности. По роду своих занятий он просто вынужден жить в Париже или Лондоне. Только там есть средства и условия, позволяющие выпускать в свет такие труды и извлекать из них пользу, а раз уж это так, то нехорошо же писать их на чужом языке (то есть чужом для тех мест). Да и потом ведь только в этих городах есть всевозможные предметы из других частей света, которые для такой работы необходимо постоянно иметь под рукой».

Не успел Александр закончить свои дела в Лондоне, как Фридриху Вильгельму III потребовались его услуги в Аахене, где осенью того же года в присутствии русского и австрийского императоров проходил первый конгресс Священного союза. Гумбольдту удалось заинтересовать своими планами путешествия по Азии и русского императора и прусского короля; Фридрих Вильгельм III заявил о своей готовности предоставить Гумбольдту денежную помощь в размере 12 тысяч талеров ежегодно и оплату расходов на приобретение требуемого научного снаряжения, после того как французское правительство уже предложило немецкому ученому финансовую поддержку. Российский император занял выжидательную позицию — вероятно, потому что Гумбольдт все еще был склонен пройти в Тибет более коротким путем, через Индию, которая по-прежнему оставалась для него закрытой из-за чрезмерной подозрительности британской Ост-Индской компании.

Не имели успеха его визиты в Англию и в 1817–1818 годах, когда он использовал, казалось, все связи, чтобы выхлопотать разрешение на поездку в Индию. «Ему давали понять, что уже почти все препятствия устранены, однако дело не двигалось с места, — пишет в своей работе Курт Р. Бирман. — До сих пор еще английским биографам Гумбольдта не удалось извлечь на свет архивные материалы закулисных переговоров по этому вопросу. Однако причины отказа властей выдать

ему разрешение на это путешествие ясны и без этих документов: связи Гумбольдта с Россией, факт финансирования его поездки Пруссией, а главное — его манера открыто говорить о социальных язвах в странах Латинской Америки сделали поездку Гумбольдта через Индию к Гималаям в глазах членов правления Ост-Индской компании абсолютно неприемлемой» [\[28\]](#).

Добрый гений молодых немецких ученых

Уходил год за годом, а Гумбольдт почти не приближался к цели. Он с прежним упорством и энтузиазмом обрабатывал собранные им в Америке материалы и коллекции, готовил к печати очередные тома своего отчета. Работе не видно было конца: он изучал все доступные сообщения о положении дел в южной части Азии, с большим рвением осваивал персидский язык, жил еще более уединенно, чем обычно, поддерживая постоянные связи лишь с ближайшими друзьями из числа французских ученых, не скупясь на покровительство и помощь тем молодым немцам, которые приезжали в Париж расширить свой кругозор в естественных науках.

Свою «мировую славу», — писал философ права Эдуард Ганс, — Гумбольдт использовал для того, чтобы служить опорой и проводником в науке молодым соотечественникам — тем, кто ждал помощи и подсказки. Никогда еще, наверное, не соединялось в одном человеке столько глубоких и энциклопедически широких познаний с таким благородным добродушием и с такой заботой о чужом благе, а сколько времени это у него отнимало, трудно даже себе вообразить.

Гумбольдтовой готовностью помогать другим, бывало, злоупотребляли, да он и сам этому потворствовал, помогая всем без разбора. В итоге в его рекомендациях, порой излишне великодушных, люди недоверчивые стали усматривать не более чем акт вежливости; и все же, надо думать, он умел отличать бесспорное дарование от прилежной посредственности, облегчив путь в науку многим высокоодаренным людям.

Карла Фридриха Гаусса, великого математика и астронома, чьи уникальные способности Гумбольдт разглядел одним из первых, он уже тогда стремился привлечь к работе в Берлинском университете. К числу немалых заслуг Гумбольдта того десятилетия в сфере естественных наук и в деле их практического применения относится «открытие» им Юстуса Либиха. Когда молодой немец в марте 1824 года выступал перед собранием Парижской академии наук с докладом о химических свойствах серебра и ртути, присутствовавший здесь Гумбольдт сразу же понял, что его, безусловно, стоит взять под свое крылышко.

Именно настойчивостью Гумбольдта и Гей-Люссака объясняется тот факт, что молодого человека, которому было едва за двадцать, в мае 1824 года буквально навязали Гессенскому университету в качестве профессора. Уже через несколько лет об этом юнце, которого вначале там дразнили «синильщиком», стали с уважением говорить: «Да, Либих — это сама химия!» А еще несколько лет спустя, после создания им первой химической лаборатории, о Либихе уже заговорила вся Европа.

Свой эпохальный труд «Органическая химия в ее применении к сельскому хозяйству и физиологии», вышедший в свет в 1840 году, Либих посвятил Гумбольдту. В предисловии к книге он писал о том, что встреча с Гумбольдтом повлияла на всю его жизнь: «Эта беседа с Вами явилась краеугольным камнем моего будущего; в Вашем лице я обрел влиятельнейшего в моей области и необычайно заботливого покровителя и друга... С этого дня передо мною открылись двери всех институтов и лабораторий... А сколько их я знаю еще, которые, подобно мне, своими успехами в науках обязаны Вашей бережной опеке и Вашему благожелательству! Любой — химик, ботаник, физик, востоковед, путешественник в Персию или Индию,

художник — все пользовались у Вас равными правами, одинаковым покровительством, и никогда Вы не делали никаких различий — из какой бы страны ни приезжал к Вам гость и какой бы национальности он ни был. Чем науки обязаны Вам в этом особом отношении — мир еще не знает, но это легко прочесть в сердце каждого из нас».

О прусском камергере и о бывшем ботанике французской императрицы

В сентябре 1815 года в Париже между русским царем Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III был заключен Священный союз, главной политической целью которого было подавление недовольства наступившей после Венского конгресса феодально-абсолютистской реакцией, любого инакомыслия и любых выступлений с требованиями учредить конституцию. Семь лет спустя объединившиеся в этом союзе монархи договорились встретиться снова — на сей раз в Вероне. Фридрих Вильгельм III вызвал к себе Гумбольдта; он любил похвастать знаменитым ученым и даже испытывал к нему нечто вроде мечтательного восхищения. Гумбольдт сопровождал короля в Италию; будучи в Неаполе, он не упустил возможности трижды взойти на Везувий и проверить результаты своих прежних замеров высоты.

Новая встреча сиятельных особ, в которой, по словам Александра, «въезд монархов, окруженных штыками, был единственно занятным зрелищем», по-прежнему проходила под знаком сплоченной борьбы против всяких выступлений за свободу и демократию. Насколько угнетала Гумбольдта мрачная политическая атмосфера, сгустившаяся после первого наступления европейской реакции над народами Пруссии, Австрии и России, можно судить по отдельным то шуточным, то саркастическим замечаниям, встречающимся в его письмах брату. Например: «Какое поразительное духовное движение наметилось за эти три последних месяца! Москиты на Касикьяре — и те оставляли мне больше покоя».

Когда после «Карлсбадских решений» 1819 года преследование сторонников антифеодального, патриотического и либерального движения во всех германских государствах достигло своего первого кульминационного пункта, когда были арестованы Арндт и Ян, когда стали шпионить за Гнейзенау и даже за Вильгельмом фон Гумбольдтом, Александр писал брату из Парижа в апреле 1820 года: «После карлсбадской воды во всей Европе сейчас ничего так упорно не избегают, как принципов; эти принципы начинают теперь лишать покоя и эту страну, о чем я весьма сожалею. Когда тебе без конца твердят об опасных агитаторах, это уже само по себе становится агитацией; мне это напоминает врачей, которые прописывают пациентам возбуждающие средства, а потом удивляются, что появляются воспалительные процессы».

Недоверие властителей мира закрывало ему путь в Гималаи как с севера, так и с юга. А от Европы он начинал уставать. Он мечтал жить в стране, где общественные институты отвечали бы его заветным таяниям, где он мог бы — по его собственным словам — наслаждаться той независимостью, что так необходима для его счастья. Он стал все чаще возвращаться к мысли, не уехать ли, подобно Бонплану, снова в Америку.

Однако приближалось время, когда Гумбольдту суждено было окончательно лишиться прежней независимости. От его состояния оставались жалкие крохи. В то же время Фридрих Вильгельм III все больше настаивал на своих правах; его совершенно не трогало, где и в каких условиях Гумбольдту-естествоиспытателю работалось лучше всего; королю пришлось по нраву общение с повидавшим свет знаменитым ученым и остроумным камергером, и он хотел иметь его всегда

при себе. После конгресса в Вероне он велел Гумбольдту ехать в Берлин.

Вильгельм фон Гумбольдт тоже уговаривал брата вернуться домой, хотя, конечно, по своим соображениям. Ему хотелось снова воссоединиться с Александром и вместе заниматься науками. Политическая и дипломатическая деятельность не принесла ему ничего, кроме разочарований, он готов был бросить дела и уединиться в тиши кабинета. В январе 1819 года он стал министром. В его ведении оказалась половина специально разделенного министерства внутренних дел. Его попытка повлиять на регента, чтобы тот выполнил обещание ввести конституцию, сделанное в момент подъема народного антинаполеоновского движения, потерпела неудачу. Перед властью реакционеров, развернувших кампанию преследования «демагогов» (то есть тех, кто отстаивал интересы народа или проявлял признаки политического инакомыслия), перед самодовольным эгоцентризмом канцлера Гарденберга и решительным нежеланием Фридриха Вильгельма III проводить реформы он был бессилён, и уже через несколько месяцев службы он не то чтобы попал в опалу, но был уволен как человек весьма неудобный. И вот теперь ему, на которого после ухода с политической сцены барона фон Штейна возлагались последние надежды немецких патриотов, не оставалось ничего иного, как углубиться в свои лингвистические штудии, коим он предавался то в уединенном кабинете в доме на Жандарменштрассе, 42, в Берлине, то в Тегеле, уже блестяще реставрированном к тому времени берлинским архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем.

К моменту приезда Александра в Берлин (3 января 1823 г.) ситуация в правительстве опять сложилась так, что Вильгельма собирались назначить преемником канцлера Гарденберга, умершего в конце ноября прошлого года в Генуе. Однако под давлением

реакционного юнкерства Фридрих Вильгельм III выбрал своим первым слугой другого, менее неудобного человека.

Александр пробыл у брата в Тегеле чуть больше месяца и уже 10 февраля стал собираться в Париж. Удачно переоборудованный и обновленный замок пришелся ему по душе, и мысль вернуться в этот прусский «оазис» перестала казаться ему ужасной. Благоприятное впечатление произвел на него и молодой Берлинский университет, появление которого на свет (университет был основан в 1809 году по инициативе и при активнейшем содействии Вильгельма фон Гумбольдта) Александр считал настоящим патриотическим подвигом брата. И вот этот быстро развивающийся и набирающий силу университет, а также тоска по обществу Вильгельма и подвиги Гумбольдта принять позднее окончательное решение возвратиться на родину.

Пока он в Париже продолжал работать над завершением американского отчета, к нему пришла весть, убедившая его в том, что и в Южной Америке пока еще нет такой республики, в которой «общественные институты отвечали бы его заветным чаяниям».

Бонплан, его верный спутник на Ориноко и в Кордильерах, двинулся вверх по реке Паране, поскольку место профессора естественных наук в Буэнос-Айресе хотя и давало ему титул и известные почести, но не обеспечивало прожиточный минимум. А раз денег все равно нет, сколько ни работай, подумал бывший ботаник французской императрицы, то не лучше ли уж снова отправиться в путешествие — там по крайней мере всегда узнаешь что-нибудь новое и интересное. Ему захотелось пройти дальше на север и познакомиться с природой Парагвая. По пути он натолкнулся на Mate, парагвайский чай, который в свое время разводили еще иезуиты. Чтобы как-то жить, он устроил в Санта-Анне

несколько посадок этого чая. Однако правитель Парагвая, Хосе Гаспар да Франсия, метис, сделавший головокружительную карьеру — от адвоката до главы государства, жестокий деспот, отличавшийся крайней подозрительностью и опасавшийся за утрату своей монополии на матэ, велел напасть на ученого на территории Бразилии, доставить его в Парагвай и бросить в тюрьму. Усилия правительств Франции, Англии и Северной Америки дипломатическим путем добиться освобождения Бонплана не принесли результатов, как и настоятельные увещевания Симона Боливара, только что триумфально въехавшего в Лиму и готового всей душой помочь своему французскому другу. Гумбольдт послал парагвайскому диктатору через французского ученого Грансира, путешествовавшего в то время по Паране, письмо, в котором объяснял чисто научные интересы Бонплана, убеждал Франсию проявить долю гуманности и отпустить на свободу ученого, не собирающегося заниматься никакой политической деятельностью. Однако когда Грансир вознамерился передать это письмо парагвайскому правителю, то ему вообще запретили переступать границу страны; Бонплана вначале использовали на строительстве дорог, а впоследствии — в качестве гарнизонного врача, и лишь в 1829 году он был вылуцен на свободу и выслан из Парагвая.

Гумбольдту так и не довелось его больше увидеть, но он поддерживал с ним постоянную переписку. Эме Бонплан, убежденный сторонник французской революции, в Европу больше не возвратился. Он поселился в Сан-Франсиско-де-Борхиа, одном из поселений иезуитов близ границы с Уругваем, занимаясь главным образом ботаникой и между делом овцеводством, оказывал врачебную помощь индейцам, где только мог; умер он 11 мая 1858 года — годом

раньше, чем его немецкий друг, в бедности, забытый всеми, на своем убогом ранчо в Санта-Анне, недалеко от местечка Рестаурасьон.

Из Парижа 1789-го в Берлин 1827-го

Работа над отчетом об американском путешествии приближалась к завершению. 30 июля 1825 года Гёте получил один из последних томов отчета. «Оба Гумбольдта безраздельно Ваши, — говорилось в сопроводительном письме, — и завоевать Ваше одобрение было гордостью их жизни».

«Я с радостью наблюдаю, — писал далее 56-летний Гумбольдт, — как Вы срываете с природы таинственные покровы один за другим и обогащаете физику новыми мыслями. Пусть же долго продлится и не будет омрачена никаким физическим недугом столь могущественная жизнь, как Ваша, — друзьям на радость, народам — на благо, немецкому отечеству — во цвет и славу».

Суровая судьба Бонплана, сплошные неурядицы с поездкой в Азию, быстрое таяние остатков некогда солидного состояния и грозящее безденежье, огромный объем работы, связанный с публикацией отчета о путешествии, — все это вместе заронило в душу стареющего Гумбольдта семена сомнения, дано ли ему совершить намеченное.

В декабре 1825 года мексиканское правительство обреталось к Гумбольдту с просьбой пустить в ход свое влияние и дипломатический талант, чтобы подвигнуть Петербург и Вену на признание молодого мексиканского государства и на заключение договоров с независимыми республиками бывшей испанской Америки. Гумбольдт, должно быть, ярко представил себе, как он ведет эти переговоры с архиреакционером Меттернихом или русским царем — фигурой не давнее отталкивающей, поскольку ответ его содержал вежливый, но решительный отказ. Мои мысли, писал Гумбольдт,

открыто изложены в моих трудах; вмешиваться же в политическую борьбу по сколь угодно благородным мотивам несовместимо с занимаемым им положением. Закулисная дипломатическая игра ему претит, и только независимость представляется ему единственно возможной основой для ученого, живущего в чужой стране. Настолько откровенно Гумбольдт мог позволить себе писать потому, что адресат этого письма, мексиканский министр иностранных дел; Аламан, был одним из его друзей.

Ведь в Париже, где он, казалось, вполне уже прижился, где его совета искали не только ученые, но и политические деятели, он старался все-таки быть гостем и только, несмотря на свою общительность и любовь к открытому разговору, избегал любых высказываний, которые могли бы как-то задеть чувства французов, включая тех, чей образ мыслей в корне отличался от его собственного, избегал любых поступков, которые могли бы выглядеть как злоупотребление своими правами — правами уважаемого, но не натурализовавшегося иностранца.

Осенью 1826 года Гумбольдт выехал в Берлин, чтобы подготовить почву для своего окончательного возвращения, и уже предвкушал удовольствие от предстоящего «счастья жить рядом с братом и вместе с ним предаваться научным занятиям», — счастья, которого он так долго был лишен. Король назначил ему пять тысяч годового жалованья и согласился отпускать его каждый год на четыре месяца в Париж, оговорив, однако, что постоянным местом его жительства должен быть Берлин. Гумбольдту ничего не оставалось, как принять эти условия и еще раз на несколько недель отлучиться в Париж, чтобы завершить самые неотложные дела.

Дорогу он выбрал через Фрейберг и Веймар. «Сегодня утром, — говорил. Гёте 11 декабря 1826 года

Эккерману, — Александр фон Гумбольдт провел у меня несколько часов. Какой это человек! Я знаю его очень давно и тем не менее всякий раз заново ему удивляюсь. По части научных знаний и живого восприятия жизни ему, можно смело сказать, нету равных. И такой разносторонности я тоже ни у кого не встречал! О чем ни заговори, все ему известно, и он щедро осыпает собеседника духовными дарами. Он как родник, к которому подведены многочисленные трубы. Тебе остается только подставлять сосуды, и уж они наполнятся неиссякаемой, живительной влагой. Он несколько дней пробудет в Веймаре, и я заранее знаю, что после его отъезда мне покажется, будто я за эти дни прожил долгие годы».

12 мая 1827 года Александр фон Гумбольдт окончательно поселяется в Берлине: он снимает квартиру во втором этаже в доме придворного плотника Глаца.

Облик прусской столицы за время его отсутствия заметно изменился. Появились новые замечательные архитектурные сооружения, например, здания Певческой академии и Оперного театра — работы Карла Фридриха Шинкеля, по его же проекту строился Старый музей. Многие изменилось в культурной жизни Берлина; видную роль в ней играли теперь знаменитые писатели-романтики: Ахим фон Арним и Адальберт фон Шамиссо (Шамиссо еще и хранитель королевских гербариев). В кругах любителей музыки с особым почтением произносили имя композитора Карла Фридриха Цельтера, руководителя Берлинской певческой академии, профессора, музыкального педагога, поборника и организатора любительского пения в Германии, одного из друзей Гёте. В концертных залах Берлина уже звучали первые произведения молодого Феликса Мендельсона-Бартольди.

Многое изменилось на академическом поприще. С 1818 года читал свои лекции в Берлине Георг Вильгельм Фридрих Гегель, здесь же преподавал и известный теолог и философ Фридрих Эрнст Даниэль Шлейермахер.

Молодой Берлинский университет, основанный Вильгельмом фон Гумбольдтом, продолжал привлекать в прусскую столицу все новых и новых ученых из всех уголков Германии. Был приглашен туда профессором химии Эйльхард Митчерлих; возглавил кафедру географии Карл Риттер (в 1820 г.); стал астрономом Академии наук в 1825 году Иоганн Франц Энке, получивший заверения властей о скором строительстве новой обсерватории; там же, в Академии наук, трудился теперь и друг Александра Леопольд фон Бух.

**В двусмысленном положении
между прогрессом и реакцией
1827-1847**

Потеря независимости

Переселение Гумбольдта в Берлин означало для него не что иное, как добровольное лишение себя драгоценной независимости.

Уступить притязаниям на него со стороны прусского короля Фридриха Вильгельма III вынуждало только одно — полное истощение его состояния, целиком ушедшего на оплату латиноамериканского путешествия и издание фундаментального отчета о нем. Соглашаться идти на службу к королю значило принимать его требования: хотя Гумбольдт принес Пруссии — да и всей Германии — больше славы, чем все князья и полководцы, но диктовать свои условия он не мог.

Поступив на придворную службу к королю, Гумбольдт скорбел не столько о потере внешней свободы и возможности распоряжаться своим временем; потерянное на службе время он возмещал ночными бдениями, довольствуясь лишь несколькими часами сна. Сожалел он главным образом о потере свободы гражданской: служба у короля слишком ко многому обязывала.

Правда, отваживаясь на этот шаг, Гумбольдт все же надеялся, что король учтет его заслуги и обязательства перед наукой и позволит ему и впредь отдавать себя научной деятельности целиком. Но король рассудил иначе; а что он должен был поступить по-другому, ему, похоже, и в голову не приходило. Возможно также, что Гумбольдту с его мягкостью, излишней дипломатичностью и обостренным чувством долга не хватило твердости добиться своего. Примечательно, что не нашлось ни одного прозорливого министра, который бы посодействовал созданию для Гумбольдта

необходимых условий; безучастно отнеслось к этому и общественное мнение.

Многие соотечественники ограничивались тем, что ехидно прохаживались по адресу придворных обязанностей знаменитого ученого. Ему же самому оставалось жить в постоянной внутренней борьбе между прогрессивными демократическими убеждениями и унижительной необходимостью прислуживать человеку, являющемуся воплощением антидемократической власти, горько подшучивая над самим собой.

Но жребий был брошен, и договор с королем заключен.

Публичные лекции. «Космос»

С момента возвращения Гумбольдта в Пруссию у него появился непримиримый противник — родовитое и консервативное дворянство. Ситуация сложилась так, что зятю Вильгельма фон Бюлову предложили пост посланника в Лондоне, а в Александре многие теперь стали «подозревать» будущего министра по делам культуры. Но ведь какому родовитому дворянину приятен человек с такими взглядами, как у Гумбольдта, на посту министра? Некая графиня Гольтц, рассказывал Варнхаген, исходила злобой и желчью, всячески понося Гумбольдтово семейство, этих выскочек, как она их называла, «этих бюргерских ублюдков, которые бесцеремонно перехватывают места, причитающиеся людям благородного происхождения».

Однако тревожнения прусского двора были безосновательными. Фридрих Вильгельм III, который управление страной, исключая дела церкви, предоставил своим министрам, вовсе не собирался подвергать себя тем же неприятностям, что были у него с неподатливым Вильгельмом фон Гумбольдтом. Он желал, по словам Александра, «„чуть более содержательного общения, чем прежде“, хотел иметь при себе образованного и остроумного камергера, не более». Ученого это в целом устраивало. Гумбольдт вообще, по мысли короля, не должен был принимать участия в государственных делах, следовало только время от времени докладывать его величеству о состоянии науки и искусства — опять же в мере, угодной его монарху; кроме того, читать августейшему повелителю вслух или рассказывать о чудесах дальних краев и развлекать его остротами. Только один-единственный раз Александр фон Гумбольдт занимал

официальный пост: с августа 1827 года по апрель 1829-го, когда был председателем королевской комиссия, рассматривавшей прошения молодых художников и писателей на высочайшее имя.

Да, новые обязанности оказывались и обременительными, и неприятными, порой невыносимо. В 1827 году, например, он сопровождал Фридриха Вильгельма III на курорт в Теплиц и развлек его там так хорошо, что ему потом приходилось исполнять эти обязанности довольно часто. «Знаете, — писал Гумбольдт Бёку, — в итоге этих повторяющихся спектаклей возникает впечатление, будто мир движется по кругу и что желаешь многого, но реально изменить не можешь ничего». «Богемский курорт, — грустно острил Александр, — летом представляет собой большой съезд княжеских особ, сборище тех самых слонов, которые держат землю, а здесь уютно располагаются в тесном кругу хобот к хоботу». За скуку, царившую во время этих «сборищ», и невосполнимую потерю времени он вознаграждал себя одним — лестной мыслью, что прусский король его ценит и — когда не нуждается в его обществе или его знаниях — предоставляет его самому себе и не вмешивается в дела камергера даже тогда, когда его выступления идут вразрез с ханжескими взглядами самого монарха, как случилось, например, в цикле из 61 лекции, прочитанном А. Гумбольдтом в университете в период между 3 ноября 1827 года и 26 апреля 1828 года, и в 16 других публичных лекциях, которые он читал с 6 декабря 1827 года по 27 апреля 1828 года в Певческой академии.

А лекции эти становились событием, и событием неординарным.

В них он показывал широкую картину состояния всех наук, занимающихся строением Земли и Вселенной, давал свое «физическое мироописание» и излагал историю попыток человека объяснить мир. Он делился

со слушателями своими энциклопедическими знаниями, знакомил их с деятельностью ученых всех времен и народов, сводя достижения каждого из них в единую гигантскую картину мироздания.

Певческая академия (ныне — театр имени Максима Горького в столице ГДР), где читал свои лекции Гумбольдт, в то время имела самый большой зал из всех общедоступных залов Берлина. Лекции были бесплатными.

Приходили не только студенты, профессора и учителя; среди слушателей случалось находиться самому королю и членам королевской семьи; здесь часто бывали политические деятели, известные художники и архитекторы; в зале сидела князь и ремесленники, офицеры и буржуа, мужчины и женщины — все устремлялись в Певческую академию, чтобы послушать лекции Гумбольдта, о которых судил и рядил весь Берлин.

«Никогда я еще не слышал, чтобы в течение полутора часов один человек мог выложить столько интересных суждений и фактов», — писал своей жене государственный деятель и ученый Карл фон Бунзен. А вот что сообщал Цельтер в письме к Гёте 28 января 1828 года: «А теперь мне хотелось бы сказать о том огромном удовольствии, которое я получил, слушая великолепный курс о чудесах природы Гумбольдта, который он читал перед самой уважаемой, почти тысячной аудиторией. Человек на кафедре мне нравится: он делится со слушателем всем, что знает сам, ничего не утаивая, никаких долгих преамбул, не пускает пыль в глаза, никакой игры, рассчитанной на эффект. Даже там, где он, возможно, ошибается, ты ему веришь безоговорочно».

Среди тысячи сидевших в зале слушателей, как обычно, нашлись свои недоброжелатели и насмешники; так, известный придворный ханжа — генерал-адъютант

короля фон Витцлебен — всерьез выказывал опасения за состояние умов подданных его величества, а один небесталанный журналист, отличавшийся острым языком, некто Сафир, не преминул позубоскалить в своей газете: «Зал не вмещал всех желающих попасть на лекцию, а в головках прекрасных слушательниц никак не вмещалось содержание лекции».

Действительно, среди систематически посещавших лекции в Певческой академии было поразительно много женщин, хотя немало было и великосветских дам, присутствовавших из пустого любопытства. Подавляющее большинство, однако, составляла бюргерская публика, для которой эти лекции как бы открывали доступ в новый мир — мир знаний о природе, о силах и законах, действующих в ней. Гумбольдт в самом деле был «puissance» [\[29\]](#), как писал его брат Фридриху Гентцу в письме от 1 марта 1828 года, «и благодаря лекциям стяжал себе некую новую разновидность славы. А его курс и впрямь можно считать непревзойденным». Издатель Котта предложил Гумбольдту застенографировать и опубликовать его лекции, но Александр отклонил его предложение, хотя оно обещало немалую материальную выгоду, потому что его курс, как ему казалось, еще не готов для публикации. Однако предложение Котты натолкнуло его на мысль написать подобное сочинение: содержательное и точное в научном отношении и одновременно изложенное общедоступным языком. Так родилась идея «Космоса». Стоит сказать попутно, что у Гумбольдта уже имелся некоторый опыт по этой части: в 1825 году он читал подобные лекции в Париже, в узком кругу, а еще в 1796 году говорил, что собирается создать «физику мпра». Курс лекций, прочитанный зимой 1827/28 года, можно считать «первой ласточкой» в деле профессиональной популяризации науки. Ценная инициатива Гумбольдта способствовала созданию в

Германии множества ферейнов (то есть кружков или общественных клубов. — Г. Ш.), ставивших себе целью распространение естественнонаучных знаний в широких слоях общества.

Гумбольдт прекрасно понимал общественное значение своих лекций. «Со знанием приходит и мысль, — писал он позднее организатору таких ферейнов берлинскому историку и юристу Фридриху Людвигу Георгу фон Раумеру, — а с мыслью — сила и уверенность», а в другом месте: «Да придаст мысль народу силу, без которой невозможно сохранить то, что уже достигнуто».

Нестор немецкого естествознания

Осуществление идеи «Космоса» затянулось не только из-за чрезмерной основательности Гумбольдта. Отвлекали текущие дела. Не был еще окончательно отвергнут и план поездки в Россию. Между тем новым императором России после смерти Александра I стал его брат Николай I, который был женат на старшей дочери Фридриха Вильгельма III. Зимой 1827 года Гумбольдт довольно неожиданно для себя получает приглашение посетить Россию, а это означало, что у него появляется реальная возможность увидеть хотя бы отдельные из интересовавших его мест без особых материальных затрат. Но прежде чем совершить эту поездку, ему предстояло еще много поработать в связи с подготовкой и проведением VII общегерманского съезда естествоиспытатели и врачей, намеченного на осень 1828 года. Проведение съезда в Берлине имело большое политическое значение для всей страны.

Одним из инициаторов и организаторов этих ежегодных встреч германских естествоиспытателей и врачей был Лоренц Окен, бывший профессор Йенского университета, поборник идеи единства Германии и демократических свобод. В 1819 году Окен был вынужден отказаться от места в Йенском университете, потому что веймарское министерство под давлением Меттерниха поставило его перед выбором: быть либо профессором в университете, либо издателем прогрессивного естественнонаучного журнала «Гунда». Но Окен остался верен своим демократическим убеждениям, предпочел бросить кафедру и сделался частным учителем. В 1827 году он переехал в Мюнхен и начал там научную карьеру заново — с должности приват-доцента, но уже в 1828 году получил должность

профессора в университете. По его инициативе и по его приглашению естествоиспытатели и врачи почти всех немецких государств в 1822 году собрались на первый съезд в Лейпциг.

Понимая национальное значение общегерманского съезда естествоиспытателей, Гумбольдт добился от прусского короля разрешения провести VII съезд в Берлине, а не в Бреслау, как обычно бывало раньше. Высокопоставленный чиновник министерства юстиции государственный советник фон Кампц, оголтелый реакционер, чинил всяческие препятствия приезду в Берлин Окена. Но Гумбольдту все-таки удалось переубедить заколебавшегося короля, и в сентябре 1828 года в Берлин съехалось свыше шестисот немецких естествоиспытателей и врачей, среди них выдающийся математик и физик Карл Фридрих Гаусс. Делая попытку пригласить этого ученого на работу в Берлинский университет, Гумбольдт объяснял свои действия державному властителю: «Только один человек мог бы вернуть блеск Берлинской академии наук, и зовут этого человека Карл Фридрих Гаусс». Тогда, как, впрочем, и позднее, «в отвратительных и чисто немецких» переговорах, затянувшихся на целых четыре года (с 1821 по 1825 г.), все усилия Гумбольдта пошли прахом, натолкнувшись на глухое сопротивление бюрократии. «Нежелание что-то решать — вот что характерно для немецких министерств», — саркастически заметил после этого Гумбольдт.

Приглашению принять участие в съезде последовали и многие другие известные ученые: из Швеции приехал химик Йоханн Якоб фон Берцелиус, из Дании — первооткрыватель электрического магнетизма и первый скандинавский популяризатор естественных наук Ханс Кристиан Эрстед.

Берлинский съезд естествоиспытателей и врачей во многом благодаря его президенту Александру фон

Гумбольдту явился одним из крупных событий в истории естествознания. В своей речи Гумбольдт указал немецким естествоиспытателям пути к единению их творчества, а молодому поколению ученых поставил цель сделать достигнутое в науке всеобщим достоянием, призвал их содействовать просвещению народа и прогрессу общества в целом.

Приглашение в Россию

Летом 1827 года русский министр финансов граф Канкрин по поручению своего правительства обратился к Гумбольдту с просьбой дать заключение о целесообразности чеканки монеты из платины, добывавшейся в небольших количествах на Урале. Гумбольдт повторил свое мнение, уже высказанное им когда-то испанскому правительству, что металл этот, сильно колеблющийся в цене, для чеканки денег не годится. Несмотря на это, чеканка была все же начата, но потом прекращена: Гумбольдт оказался прав.

В ходе переписки Гумбольдт дал понять, что он готов совершить поездку по Уралу и другим частям России^[30]. Уже 17 декабря того же года он получил сообщение о том, что российский император повелел принять все меры к тому, что возможную поездку немецкого ученого следует провести по самому длинному из удобных Гумбольдту маршрутов и тщательнейшим образом ее подготовить, а все расходы отнести на счет России. Гумбольдт попросил передвинуть поездку на 1829 год; согласие из России было получено: ему дозволено было также взять с собой двух немецких ученых-естествоиспытателей.

В предисловии к «Путешествию на Урал, Алтай и к Каспийскому морю» Густава Розе, одного из будущих его спутников, Гумбольдт пишет: «Зимой 1829 года, незадолго до моего отъезда из Берлина, я получил Pro Memoria (памятную записку. — Г. Ш.), содержащую описания уже подготовленных для моего путешествия специальных экипажей; в ней было обусловлено количество сменных лошадей (большей частью от 15 до 20) на каждой станции; оговорен выбор фельдъегеря или курьера; сообщалось о том, что в нашем

распоряжении будут просторные квартиры на всем пути следования, а также военная охрана везде, где в ней возникнет необходимость; в пограничных областях и т. п. В течение всей поездки сопровождать нас должен был превосходный горный чиновник, одинаково хорошо владеющий двумя языками — немецким и французским, — и я только выполняю свой приятный долг, принося публичную благодарность нашему верному спутнику, господину обергиттенфервальтеру фон Меньшенину. Pro Memoria, о которой я уже упоминал, заканчивалась примечательными словами: „Выбор направлений исследований и целей Вашей поездки предоставлен целиком Вам; единственное желание правительства — споспешествовать развитию наук, и сколько бы Вы ни преуспели, Вы принесете большую пользу горному делу и ремеслам в России“».

Как же разнились условия, при которых начиналось азиатское путешествие шестидесятилетнего Гумбольдта, от условий тридцатилетней давности, когда молодой Александр собирался в «вест-индскую поездку»! Теперь для него было подготовлено все: с плеч его была снята всякая забота о пропитании, о ночлеге.

Для человека гумбольдтовского склада это означало — воздерживаться в пути от продолжительных остановок, сколь бы интересными ни были для него те или иные места, чтобы не обременять российскую казну непомерными расходами; свое внимание предпочтительнее направлять на предметы, интересующие его державных друзей, а негативные стороны русской действительности не порицать публично. Рассчитывать на то, что можно будет написать эссе о политическом состоянии страны наподобие его работ о Кубе и Мексике, не приходилось.

Деньги от императора Николая I Гумбольдт принимал с двойственным чувством: он оправдывал этот

шаг тем, что в Петербурге, по его словам, ожидали от поездки по России оживления естественно-исторической и технической мысли в стране.

Гость русского царя

26 марта 1829 года умерла Каролина фон Гумбольдт. Свой последний приют она позднее нашла в фамильном склепе замка Тегель. Сооружен он был по желанию Вильгельма фон Гумбольдта Кристианом Даниэлем Раухом по чертежам и эскизам Шинкеля; венчала его мраморная статуя Надежды работы Торвальдсена (впоследствии этот склеп стал усыпальницей и обоих братьев Гумбольдт).

12 апреля Александр покидает прусскую столицу (он уже произведен в «действительные тайные советники», отныне его следует величать «Ваше превосходительство»), Теперь он направляется в Петербург, чтобы оттуда двинуться в Азию. Он едет в обществе профессора Кристиана Готтфрида Эренберга и профессора Густава Розе, изъявивших желание сопровождать его; кроме них, в свите ученого был камердинер Зайферт.

Эренберг пришел в естественные науки и медицину после того, как забросил теологию; в 1827 году он стал профессором медицины в Берлинском университете, за плечами у него было уже много естественнонаучных поездок по Северной Африке и Западной Азии. Особое пристрастие Эренберг питал к зоологическим исследованиям и имел большие заслуги в изучении мельчайших организмов. Густав Розе, подобно самому Гумбольдту, сначала посвятил себя горному делу, трудился в шахте, в забое. Его коньком стала минералогия. Он работал в лаборатории Берцелиуса в Стокгольме, пока в 1822 году ему не предложили место хранителя минералогического музея Берлинского университета. У него тоже имелся опыт путешествий в европейское Средиземноморье и в южные области

Франции, его исследования внесли существенный вклад в развитие кристаллографии.

Итак, трое немецких исследователей устремились навстречу русской весне. Снег еще покрывал широкие равнины, на реках начался ледоход. Передние колеса тяжелой дорожной кареты снова и снова застревали в грязи. Там, где лошади не могли вытянуть карету, на помощь спешно призывались люди. Семнадцать раз пришлось перебираться через реки на пароме. «Для здешней весны — все это в порядке вещей», — писал Гумбольдт брату.

Много времени уходило на приветственные церемонии, которыми повсюду встречали Гумбольдта, в первую очередь видя в нем гостя императора, а не прославленного ученого.

Гумбольдт предоставил всему идти своим чередом. «Мои светские успехи не поддаются описанию, — читал его брат в одном из писем из Петербурга. — Вся аристократия, все ученые — все постоянно кружится вокруг меня. Нельзя быть принятым с большим почтением и гостеприимством... Почти каждый день я обедаю с императорской семьей в узком кругу: стол накрыт на четыре персоны. Августейший наследник (впоследствии Александр II, которому было тогда 11 лет) непременно должен был дать мне собственный обед, „чтобы он мог потом вспоминать об этом“».

20 мая 1829 года трое немецких ученых в сопровождении обергиттепфервальтера Меньшенина взошли в два дорожных экипажа («кареты очень красивы, и каждая стоит 1200 талеров»), в третьем разместились почтовый курьер и повар.

В Москве они провели четыре дня, и Гумбольдт с удовольствием возобновил знакомство с работающими теперь там профессорами: Лодером, знакомым по Йене, и Готтгельфом Фишером фон Вальдхаймом, зоологом и палеонтологом. Остановка в старой русской столице

тоже вылилась в сплошные праздники в честь Гумбольдта. «Тебя вечно приветствуют, впереди кареты обязательно скачет почетный эскорт казаков, постоянно сопровождает охрана, вокруг суетятся распорядители. К сожалению, почти ни минуты не могу побыть один; мне не дают сделать ни шагу, без того чтобы не поддерживать меня под руки, как больного».

Где бы ни находился высокий гость на всем далеком пути: в крупных и малых городах, военных крепостях или даже в отдаленных селениях, повсюду ему оказывали торжественный прием...

Петербургский академик генерал Гельмерсен писал, что «в то время у Гумбольдта (на 60-м году жизни) была еще довольно уверенная походка; при ходьбе он немного наклонял голову вперед. Никогда мы не видели его одетым иначе кроме как в темно-коричневый или черный фрак, с белоснежным галстуком и в цилиндре — даже во время езды, даже в дорожной карете. Поверх фрака он носил длинный, тоже темных тонов, плащ. Его походка была размеренной, медленной, осторожной, но уверенной. Верхом он не ездил никогда, даже на экскурсии. Там, где начиналось бездорожье и карета застревала, он выходил из нее и дальше шел пешком, взбирался на высокие горы или карабкался по груде камней — все это выдавало в нем опытного путешественника: есть навыки, которых не приобретешь в кабинете. Что касается еды и питья, то его умеренность стала притчей во языцах; даже после тяжелого и утомительного пути он неизменно отказывался от изобилия кушаний, которыми из лучших побуждений обыкновенно потчуют гостей русские, хотя это ему стоило немалых усилий. При этом со всеми: и с дворянином, и с неграмотным крепостным он держался одинаково: с той безупречной любезностью, что отличает истинного аристократа».

«Азиатское путешествие»

Повседневно сталкиваясь с картинами русской жизни, Гумбольдт глубоко сочувствовал забитым, неграмотным и угнетенным; если в его силах оказывалось кому-либо помочь, он делал это с искренней готовностью. Вообще же в роли царского гостя Гумбольдт вынужден был отказываться от любых суждений и действий, которые «в таком сложном механизме, как сложившиеся взаимоотношения между привилегиями и правами высших классов и обязанностями низших, могут вызвать только озлобление, не принося ни малейшей пользы». Однако он не преминул дать понять графу Канкрину, как это явствует из его письма русскому министру финансов, что прекрасно заметил нужду поработанного народа и прекрасно знает жестокие методы, которыми подавляется любое проявление свободы. «Само собой разумеется, что мы ограничиваемся природой неживой и избегаем всего, что связано с общественным устройством и отношениями с низшими классами».

Из Москвы ученые поехали на восток, сначала в Нижний Новгород, а оттуда — вниз по Волге до Казани, которая после пожара 1815 года была восстановлена лишь частично. Из Казани они сделали вылазку, чтобы осмотреть развалины древнего татарского города Булгар. Далее они направились в Екатеринбург, город на границе между Европой и Азией. Из Екатеринбурга Гумбольдт совершил много больших и малых экскурсий в царские гранильни драгоценных камней, на золотые прииски, в родонитовые шахты и на металлургические заводы, а также в район месторождений платины и золота.

Письма Гумбольдта, проходившие через руки царских почтмейстеров, были сдержанными, когда в них заходила речь об общественных порядках. «Все население города вышло мне навстречу. Меня встречали хлебом и солью». Но везде, где только было возможно, власти стремились помешать непосредственному общению именитого путешественника с населением.

Северной точкой их маршрута, в основном проходившего между 50-м и 60-м градусами северной широты, было селение Богословский. Отсюда Гумбольдт двинулся на юго-восток с намерением добраться до алтайского горного массива, через тобольские, барабинские и барнаульские степи. Из Барнаула, располагающегося на Оби у подножия Алтая, он писал брату в начале августа: «Мое поспешное путешествие... идет теперь по однообразным зеленым сибирским лугам, как по морю, — настоящее морское путешествие по суше, во время которого мы исправно проделываем за сутки от 240 до 280 верст. На пути от Тобольска до Тары все шло сносно, но в Каинске и в барабинских степях жара, пыль и желтые комары (местная достопримечательность) совершенно нас доконали... В Каинске нас весьма озадачили известием, что нам два дня предстоит скакать по местности, где разразилась эпизоотия, которая затруднит нам смену лошадей (а нам нужно 25–30) и где умерло много народу во время эпидемии». Позднее Гумбольдту и его спутникам пришлось пережить еще и степную бурю, от которой волны на Оби ходили ходуном, как на море во время шторма, так что о переправе на другой берег нечего было и думать.

Уже от Тобольска ввиду близости границы экспедицию охранял почетный эскорт казаков, а в Барнаул прибыл даже генерал из Томска, чтобы сопровождать ученых в их поездке вдоль линии пограничных укреплений, которую они пересекли у

крепости Усть-Каменогорск; севернее озера Зайсан они подошли к границе китайской Джунгарии, где им разрешено было посетить китайскую пограничную заставу.

Таким образом, в середине августа они достигли крайней восточной точки их путешествия, ставшей одновременно и самой южной. Обратный путь предстоял через киргизские степи Семипалатинска, потом — в Омск и оттуда — на запад к Южному Уралу.

К давнишней страсти Гумбольдта — изучению гор — добавилась новая: жажда непременно увидеть Каспийское море как крупнейшее внутриматериковое море. Три дорожных экипажа отправились через Урал по направлению к Астрахани. Оттуда Гумбольдт писал брату в начале октября 1829 года: «Это один из счастливейших моментов в моей жизни — я собственными глазами могу видеть это внутреннее море и собирать его дары. Это столь же значительное событие, как проехать 80 верст от сибирской границы в глубь китайской Джунгарии». Хотя он и жалуется на отсутствие «одинокости» — «я не могу насладиться им ни единого дня, я расточаю свое время на соблюдение этикета», — многонедельное пребывание в Астрахани явилось одним из самых плодотворных в его жизни.

Кропотливые барометрические измерения давали интересный материал для сравнения с теми, что он проводил на Урале и в Казани; он изучал также химический состав воды, много времени уделял зоологическим изысканиям, особенно собиранию разных видов рыб, коллекция которых впоследствии очень пригодилась его французским друзьям Кювье и Валансьену.

Даже бесконечные приемы, праздники, чествования и другие торжественные сборища Гумбольдт ухитрялся использовать в своих научных интересах. «Депутации армянских купцов, бухарцев,

хивинцев, калмыков, индийцев из Бомбея, персов, татар, туркмен, выступающих шеренгами и колоннами в живописнейших костюмах», расширяли антропологический и этнографический кругозор именитого царского гостя, несмотря на праздничную театральность происходящего.

13 ноября 1829 года, менее полугодом со дня отъезда, Гумбольдт со спутниками снова в Петербурге. Меншенин вел подробный учет пройденным расстояниям: позади 14 500 верст (почти 15 тысяч километров); пройдено 658 почтовых станций, для трех дорожных экипажей использовано 12 244 лошади; осуществлено 53 переправы через реки (одну только Волгу они пересекли десять раз!) — цифры внушительные, но свидетельствовавшие одновременно и об условиях, и о представительском характере этой экспедиции.

В Петербурге, как писал Гумбольдт брату, император Николай I приветствовал великого путешественника такими словами: «Ваше прибытие в Россию вызвало несказанный подъем во всей стране; Вы пробуждаете жизнь повсюду, где бы Вы ни появлялись».

Двадцать тысяч рублей было вручено Гумбольдту на покрытие издержек, возникших до начала его поездки. Больше половины этой суммы он смог вернуть как неиспользованную: «Я должен так поступить, уважая имя, которое мы носим», — писал Александр старшему брату из Астрахани в октябре 1829 года.

«...Для которого я не нахожу подходящего эпитета»

Не столько сибирский климат, сколько боязнь злоупотребить гостеприимством августейшего хозяина вынудили Гумбольдта ограничиться столь короткой для него полугодовой поездкой. Куда больше, чем то было в его обычае, ему приходилось заниматься изучением старых географических книг [\[31\]](#) и путевых заметок других путешественников, всякого рода записей местных жителей и повывавших свет торговых людей, а также наблюдениями, сделанными во время поездки прямо из кареты, возмещать неспешное, основательное и многостороннее исследование каждого района. Неудивительно, что некоторые взгляды Гумбольдта на физико-географические особенности оказались ошибочными [\[32\]](#). Его «Фрагменты геологии и климатологии Азии» (1832 г.) в «Центральная Азия. Исследования горных цепей и сравнительная климатология» (1843/44), вышедшие в Париже на французском языке и переведенные на немецкий Юлиусом Лёвенбергом и Вильгельмом Мальманном, ими же дополненные и снабженные примечаниями, не имели такого эпохального значения, как его большое описание южноамериканского путешествия.

Гумбольдтово «азиатское путешествие» не поднимало научной целины, и если все же имело существенное научное значение, несопоставимое на первый взгляд с ценностью и объемом собранных данных, и немалый резонанс в научном мире, то только благодаря необыкновенной работоспособности Гумбольдта, его отточенному долгим опытом зоркому взгляду, незаурядному аналитическому уму и редкой интуиции, а также благодаря удачному разделению

труда между обоими сопровождавшими его учеными и энергии этих молодых профессоров [33]. На них Гумбольдт возлагал особые надежды еще и потому, что сам он, кроме того, был весьма загружен своим «Космосом» и вполне отдавал себе отчет в том, что ему остается не столь уж много времени на завершение важнейших планов. Во втором большом путешествии Гумбольдту именно поэтому важны были не столько частные наблюдения, сколько проверка вырисовывавшейся у него концепции физики Земли, ее дополнение новыми мыслями и фактами, — концепции, которую он хотел сделать теперь всеобщим достоянием и передать как завещание молодому поколению естествоиспытателей.

Взглянем же еще раз на важнейшие, подкрепленные итогами «азиатской поездки» составные части Гумбольдтовой концепции единства природы и космоса. Он первым указал на основополагающее значение почвенных условий и их влияние на людей, растения и животных и на условия развития органической жизни. Сравнивая между собой природу Европы, Америки и Азии, он стремился вскрывать закономерности в сфере воздействия земной коры на органическую жизнь. Для обоснования своих представлений о процессе образования земной коры Гумбольдт во время «азиатской поездки» особенно интересовался возрастной последовательностью залегания слоев, а также изучавшимися в каждой из трех частей света вулканическими явлениями. Огромная масса собранных за всю жизнь частных наблюдений укрепила его в правильности идеи вулканизма. «Эта глубокая внутренняя связь между столь многими явлениями, — писал он, — рассмотрение вулканической деятельности как действия земного ядра на кору Земли прояснили множество геогностических и физических проблем, считавшихся неразрешимыми». Вывод о том, что

строение Земли является не только геологической, но и общезначительной проблемой, был значительным прогрессом в научном познании.

Нептунист Гёте скептически отнесся к новейшим наблюдениям и мыслям вулканиста Гумбольдта. Хотя требование Гумбольдта «резко принимать к сведению геологические предметы и только основываясь на них строить свои концепции» для него, Гёте, «церебральной системы» совершенно неприемлемо, как он писал 1 декабря 1831 года Вильгельму фон Гумбольдту, он все же «с истинным участием и восхищением наблюдал, как то самое, в чем я никак не мог себя убедить, у него выстраивается в стройную систему, опирается на огромную массу его знаний и скрепляется воедино силой его бесценного характера». Слова Гёте: «Тот, к кому я не могу подобрать эпитета», сказанные в этом письме, относились к младшему Гумбольдту; а в письме к Цельтеру от 5 октября 1831 года он называл Александра фон Гумбольдта мастером убеждения. «Я уверяю: наш завоеватель мира является, быть может, величайшим мастером живого слова».

Искусством этим Гумбольдт владел виртуозно. Карл Риттер, приветствуя «Центральную Азию» Гумбольдта как «важнейшую книгу, выходящую сейчас в Германии», писал автору: «Вы в курсе всех научных наблюдений, которые проводились в течение последних веков, и с присущей вам проницательностью вы всё умеете связывать воедино, и из собранных и изученных материалов вы часто извлекаете все новые великолепные мысли, с неожиданной ясностью высвечивающие исследуемое целое» [\[34\]](#).

Одним из ценных последствий «азиатского путешествия» Гумбольдта явилось создание целой сети метеорологических и геомагнитных наблюдательных станций, постепенно охватившей весь земной шар. При этом сначала думали не столько о привычной для нас

сегодня службе погоды, сколько о сравнительном изучении причин температурных различий на Земле. Гумбольдт и сейчас продолжал неустанно работать над своими изотермами. И в европейской и в азиатской части России он нашел себе немало помощников, которым он оставил термометры с поручением сообщать ему результаты текущих замеров температуры. В Петербурге, в императорской Академии наук, с 1828 года работал бывший профессор физики Казанского университета Адольф Теодор Купффер, который стал едва ли не главной «движущей силой» в осуществлении подсказанной Гумбольдтом идеи устройства таких наблюдательных станций. Сеть этих станций впоследствии протянулась от Петербурга до самого Пекина и через Берлин была связана соответствующей западноевропейской сетью, а там, среди других ученых, с особым энтузиазмом трудился над обработкой получаемых результатов друг Гумбольдта Араго. Что же касается геомагнитных измерений, то Карл Фридрих Гаусс и Вильгельм Вебер в Геттингене разработали эффективную методику измерения сил земного магнетизма.

Однако это крупномасштабное начинание, имевшее огромную практическую ценность, рожденное и проведенное в жизнь именитыми естествоиспытателями, поддержанное многими правительствами и ставшее международным, не могло приобрести глобальный размах до тех пор, пока Англия и Соединенные Штаты Америки с их обширными территориями уклонялись от планомерных метеорологических и магнитных измерений. В конце концов Гумбольдт обратился в апреле 1836 года непосредственно к герцогу Сассексу, президенту королевского общества наук в Лондоне, с жалобой на то, что Великобритания, «ведущая страна в сфере мировой торговли и морского судоходства, до сих пор не

принимает участия в этом большом научном движении». Спустя три месяца Гумбольдт с глубоким удовлетворением сообщал Гауссу, что ему удалось пробудить наконец «это королевское общество от зимней спячки и сомнамбулизма». Быстро одна за другой возникали теперь в Британской империи и в Америке те наблюдательные станции и посты, которые сейчас образуют своего рода фундамент разветвленной системы, одинаково важной для сельского хозяйства, судоходства и других видов международной службы погоды.

1830 год в Париже: «народ снова обманывают»

«Александр фон Гумбольдт снова в Берлине, но видеть его удастся очень немногим», — писал Цельтер 1 февраля 1830 года Гёте. В прусскую столицу Гумбольдт прибыл 28 декабря 1829 года. «Занят он просто невероятно». Более, чем когда-либо, прусский король предъявлял на него свои права.

Пока Александр путешествовал по Уралу, его брату, которому друзья старались помешать «замуровать себя в Тегеле», было поручено возглавить комиссию, ответственную за внутреннее оформление построенного по проекту Шинкеля Нового музея. Александра предложили на пост директора этого музея. Мнение Вильгельма, что его брат «не может уклониться от этого поста», младшего Гумбольдта изрядно «испугало».

«Я, оказывается, должен оставить свое место в Париже, — возмущался он в одном из писем из Екатеринбурга, — должен спешно возвращаться на родину только затем, чтобы стать директором картинной галереи... и заниматься вещами, которые всему, что создало мне в мире репутацию, диаметрально противоположны! Это было бы слишком унижительно, и, если меня все-таки назначат, не спросив моего мнения, я решительно откажусь... Да я скорее покину эту страну, ибо, приехав сюда, я не подозревал о такой опасности. Я не только откажусь от директорского поста, но и от любого руководящего или постоянного председательского в любой руководящей комиссии».

Когда Фридрих Вильгельм III в сентябре 1830 года послал Гумбольдта в Париж с заданием установить прочные связи между домом Гогенцоллернов и домом Орлеанов, сменивших после Июльской революции во

Франции Бурбонов, то ученый отправлялся в этот город, имея в виду, естественно, свои старые научные интересы, нежели интересы августейшего повелителя.

Гумбольдт не разделял бурного энтузиазма тех, кто возлагал на Июльскую революцию большие надежды. «Поверьте мне, дорогой друг, — говорится в одном записанном Варнгагеном высказывании Гумбольдта, обращенном к философу права Эдуарду Гансу, — что мои желания совпадают с вашими, но мои надежды очень слабы. Сорок лет я наблюдаю, как в Париже меняются властители, как их снова и снова свергают из-за их же неповоротливости, на их место приходят новые с новыми обещаниями, которые так же не выполняются, — и порочный круг замыкается. Я знал большинство из этих знаменитых мужей, кого-то близко, среди них были и прекрасные, доброжелательные люди. Но они или не выдерживали, или становились не лучше своих предшественников, а нередко оказывались еще большими подлецами. Ни одно правительство еще не сдержало слов, данных народу, ни одно из них не подчинило свой эгоизм общему благу. И пока все будет оставаться так, ни одна власть во Франции долго не продержится. Народ по-прежнему обманывают и будут обманывать. Но потом он снова в очередной раз накажет своих обманщиков, — а для этого он достаточно зрел и силен».

В Париже Гумбольдт находился, так сказать, «бок о бок» с официальным прусским посланником фон Вертером, исполняя роль личного доверенного лица и корреспондента короля с осени 1830 до января 1831 года. После непродолжительного визита в Берлин, по дороге в который он посетил в Веймаре Гёте 27 января, он еще около двух месяцев пробыл в Париже и в конце апреля 1832 года окончательно выехал оттуда в Берлин.

Смерть брата

В Париже Гумбольдту становилось труднее, чем прежде, сосредоточивать свои силы на научных занятиях. Возложенная на него дипломатическая миссия обязывала регулярно появляться при дворе Луи Филиппа, где он стал чем-то вроде доверенного лица супруги наследника трона, одной из мекленбургских принцесс. Эта роль, а также неизменная его готовность помогать тамошним молодым ученым даже безо всяких просьб с их стороны создала ему репутацию человека, способного открыть «путь наверх» любому. Его назойливо обхаживали разного толка честолюбцы и карьеристы, молодые придворные, жаждавшие продвижения, и те, кто еще только мечтал приблизиться ко двору. Поскольку изменять своим принципам и отказываться нуждающимся в помощи было не в натуре Гумбольдта, а отваживать слишком надоедливых или бесцеремонных посетителей не позволяла его природная деликатность, то оставалось одно верное средство: скрываться от бесконечных визитеров хоть на время. Пришлось снять еще одну квартиру, где можно было уединяться на те недолгие часы, когда ему хотелось спокойно поработать или серьезно побеседовать с кем-нибудь из ближайших друзей-ученых на научные темы. Эта маленькая хитрость весьма себя оправдала, и он прибегал к ней и во время последующих приездов во французскую столицу.

Именно так, урывая для работы считанные часы, ему удалось завершить в Париже среди прочего «Центральную Азию» и написать основные главы еще одного труда, относившегося к отчету об американском путешествии, — «Examen critique» — «Критического исследования истории освоения Нового Света и развития

навигационной астрономии в XV–XVI веках». Гумбольдт, сам первооткрыватель, становится историографом эпохи открытия европейцами Американского континента.

Ценность этой работы заключалась не столько в описании заслуг Колумба, его предшественников и современников, сколько в основательном анализе политических и экономических предпосылок великих открытий XV–XVI веков. Критически мыслящий естествоиспытатель выказал себя незаурядным источниковедом — вдумчивым, аналитичным, не просто профессиональным, а выдающимся. Гумбольдт первоначально предполагал в ней также изложить историю вопроса о том, как развитие математики и навигации приблизило время великих морских открытий. Однако осуществить свой замысел до конца ему не удалось — это ценное исследование, увы, осталось незавершенным: его отодвинул «Космос», всеохватывающий монументальный труд, который становился теперь для Гумбольдта самым важным делом, более того, делом всей жизни.

Когда в апреле 1832 года Гумбольдт вернулся в Германию, старика Гёте, которого он часто навещал во время своих поездок между Берлином и Парижем, уже не было в живых; он скончался 22 марта. Гумбольдту было грустно — и от этой потери, и оттого, что его старшему другу не дано было стать свидетелем бурного развития естественных наук на их родине, которыми тот так интересовался.

Стоило Гумбольдту снова оказаться в Берлине, как он с новой силой чувствовал гнет убожества и отсталости прусской столицы. «К счастью, — читаем мы в письме Варнхагену, датированном маем 1837 года, — французам не свойственна страсть глупо насмешничать и перемывать друг другу кости, что безраздельно господствует в Берлине, где люди месяцами попусту злословят по адресу какой-нибудь карикатурной

фигуры, рожденной их же собственной немощной фантазией».

Самым страшным ударом, который когда-либо обрушивался на Александра фон Гумбольдта за всю его долгую жизнь, явилась смерть брата. «Мы так сблизились друг с другом, — писал он Вильгельму с Урала, — что я в полную меру узнал, какой бесконечной любовью и добротой полна душа твоя, и не могу описать свою радость, что значит для меня на чужбине получить весть от тебя, мой верный друг». «Никогда не думал, что в моих старых глазах может быть столько слез», — заметил убитый горем Александр, когда 8 апреля 1835 года Вильгельм скончался у него на руках.

После смерти брата Александр фон Гумбольдт стал ощущать себя неким «прачеловеком», осиротевшим представителем ушедшего поколения, который пережил всех и остался в одиночестве. И все же он старался держать себя в руках, не впадать в сентиментальность. Страсть исследовать, открывать и создавать новое — стремление, сделавшее имя Гумбольдта во времена политического бессилия и общественной отсталости его родины живым воплощением могущества интеллектуального прогресса, помогало ему как-то отвлечься от беспросветного горя. «Я утратил половину жизни, — писал он десять дней спустя французскому историку античности Жану Антуану Летронну, — я погружаюсь в штудии по общей физике и вызываю в памяти воспоминания о древнем мире, в котором мой бедный брат в лучшие и счастливейшие минуты черпал вдохновение, пробую снова обрести покой, пока еще столь далекий от меня».

И все-таки постепенно он обретал его, этот желанный покой, занявшись наряду с «Космосом» изданием литературного наследия брата. Он подготовил публикацию сонетов, ряда лингвистических работ Вильгельма фон Гумбольдта о языке кави — древнем,

включающем в себя значительную часть лексики санскрита, ныне литературном языке острова Ява, и, наконец, первое его собрание сочинений.

«Геттингенская семерка» и «дремлющая германия»

В 1837 году Гумбольдт участвовал в торжествах по случаю столетнего юбилея Геттингенского университета, по-прежнему сохранявшего за собой ведущее положение среди других немецких университетов в области естественных наук. Гумбольдта величали там «Нестором наук», «самым почетным гостем на этом празднике».

В речи перед профессорами и студентами Гумбольдт сказал, что с этим университетом его связывают особые узы. «...Высшие учебные заведения Германии сейчас, как и много веков тому назад, оказывают благотворное воздействие на свободное развитие духовных сил, на все серьезные устремления в жизни целого народа».

В кругах геттингенских профессоров и студентов нарек был понят — Гумбольдт намекал на новый подъем движения за свободу, который снова обозначился в Германии вслед за Июльской революцией во Франции и восстанием в Польше, и сопровождался взрывами народного гнева в Брауншвейге, Лейпциге и Дрездене, а в мае 1832 года вылился во впечатляющую манифестацию патриотических сил в Гамбахе, где собралось 25 тысяч человек и торжественно провозглашались требования объединения Германии, установления народовластия и республиканской формы правления. В ряде входивших в состав Германии небольших государств уже удалось добиться введения конституции, которая предоставляла бюргерству и крестьянству право до известной степени влиять на ход государственных дел.

Однако в 1834 году поднялась новая волна репрессий против демократов. Союзный сейм наложил

запрет на политические союзы и на любые публичные собрания, а также закрыл газеты, уличенные в демократических симпатиях. К тому времени, когда Александр фон Гумбольдт произносил слова о «благотворном воздействии высших учебных заведений Германии» «на свободное развитие духовных сил» в стране, только что коронованный король Ганновера герцог Эрнст Август фон Камберленд, отличавшийся крайним своеволием, наглостью и вероломством, уже заявил, что не считает обязательной для себя конституцию 1833 года. А спустя три года он распустил ландтаг и добился возврата к конституции 1819 года, дававшей право представлять интересы народа только дворянству и высшему духовенству. Настало время, о котором Ф. Энгельс позднее говорил: «С 1834 до 1840 г. в Германии замерло всякое общественное движение. Деятели 1830 и 1834 гг. были либо в тюрьме, либо рассеяны в чужих краях, куда они спаслись бегством» [\[35\]](#).

Тем мужественнее прозвучал голос семи геттингенских профессоров, которые отказались присягнуть в верности новому королю, и более того, направили ему протест, где говорилось, что «они по-прежнему остаются верны своей присяге, принесенной ими конституции [1833 г.], и они не могут признать законным никакой ландтаг, если он создан вопреки принципам основного закона государства». Эрнст Август ответил жесткой мерой: немедленным отстранением строптивых профессоров от должности, а троих из них, кто публично распространял текст письма с протестом, велел выслать из страны.

Геттингенское студенчество и большинство профессоров университета требовали отмены репрессивных мер и восстановления пострадавших ученых в должности, буржуазные депутаты ландтагов в других германских государствах требовали от своих

правительств послать в Ганновер ноты протеста, однако Эрнст Август, более или менее открыто поддерживаемый Союзным сеймом и князьями, упорствовал и ни на какие уступки идти не желал. На руку ему играла и некоторая инертность общественности: состоялся демонстративный сбор средств среди немецкого населения в пользу «геттингенской семерки», но мощных манифестаций народа в поддержку тех, кто открыто выступил в защиту его прав, не произошло.

В беседах со многими учеными, например с астрономом Шумахером и филологом Бёком, Гумбольдт выражал свое возмущение. «Какая грубость! — восклицал он. — Люди злонамеренные могут, конечно, разрушить и университеты, но одно им не удастся упразднить никогда: нечто, существующее испокон веков, нечто, беспрерывно меняющееся и обновляющееся, именуемое в просторечии молодостью».

Такое поведение Гумбольдта, при всей симпатии к нему, все же нельзя признать свидетельством внутренней силы. Трагизм демократического движения в Германии XIX века состоял в том, что буржуазия — самой историей призванный к политическому действию класс — везде, где она выходила на общественную арену (если она вообще становилась политически активной), ориентировалась на идеи и правовые принципы французской революции 1789 года. В этом смысле камергер фон Гумбольдт был типичным детищем своего времени. Какие бы аргументы мы ни искали в его оправдание, факт остается фактом: перед лицом вопиющего беззакония и произвола Гумбольдт проявил слабость, не найдя в себе сил и решимости действовать в соответствии со своими демократическими взглядами и открыто, во весь голос выступить в защиту репрессированных, а ведь если бы он, человек с мировым именем, пользовавшийся поистине редкой

властью над умами, сделал это, то его выступление имело бы огромный резонанс. Вместо этого он ограничился тем, что, действуя со всей возможной осторожностью, настойчиво пытался помочь пострадавшим устроиться на работу, ошибочно полагая, что он может и должен удерживать университеты и научно-исследовательские учреждения от непосредственного вмешательства в политическую борьбу.

После смены на прусском троне, состоявшейся в 1840 году, Гумбольдт вместе с другими видными немецкими демократами сделал многое, чтобы смыть с репутации своей страны пятно геттингенского позора. В одной из памятных записок прусскому королю он особо подчеркивал (об этом говорится в его письме Варнхагену, отправленном в октябре 1840 года) «необходимость лично вмешаться в течение дел, которые волнуют умы всех подданных, — и умиротворить их, а для этого призвать на службу обоих Гриммов, Альбрехта и Дальмана».

Создатели Словаря немецкого языка еще до конца 1840 года были избраны членами Берлинской академии наук, Дальман принял приглашение в Бонн, Альбрехт же не пожелал оставлять Лейпцигский университет, предоставивший ему нечто вроде политического убежища. Если в 1840 году удавалось добиться того, что двумя годами ранее Гумбольдт считал невозможным, то еще и потому, что в октябре 1840 года министром по делам образования, культов и медицины стал один из последних оставшихся в живых патриотов из окружения барона фон Штейна — юрист Иоганн Альбрехт Фридрих Эйххорн. Его-то, наверное, больше других и осаждал Гумбольдт, чтобы тот лично посодействовал официальному разрешению «дела братьев Гримм, дела действительно важного, касающегося всего нашего немецкого отечества».

Два «августейших покровителя»

Гумбольдту пошел уже восьмой десяток лет, когда трон Гогенцоллернов занял Фридрих Вильгельм IV, который сделал камергера отца одним из ближайших своих доверенных лиц.

Знаменитый ученый, человек прогрессивных, демократических убеждений, чем дальше, тем больше оказывался в двусмысленном положении — из-за слишком близких отношений с двумя королями и особого положения при реакционном прусском дворе. В глазах многих современников ореол славы, окружавший старика Гумбольдта, стал тускнеть. И отнюдь не каждый, кто называл его «придворным демократом», имел в виду, что из всех придворных Гумбольдт — единственный человек незыблемо демократических взглядов, — многие произносили эти слова с явной иронией, делая ударение на первом из них: «придворный», тем самым давая понять, что оба эти слова обозначают два диаметрально противоположных мира, между которыми нет и быть не может никаких мостов.

Удручало и то, что Гумбольдту приходилось служить режиму, далеко не отвечавшему его представлениям об идеальном политическом устройстве. Хотя близость «августейшего покровителя и друга» льстила его самолюбию и он испытывал чувство признательности королю, предоставившему ему высокооплачиваемое место, не требовавшее непосильных трудов, его политическим идеалом было теперь французское государство во главе с королем-гражданином первых лет Июльской революции. Гумбольдта можно считать сторонником конституционной монархии, поскольку желательным для Германии политическим устройством

ему казалось такое, когда монархия сохраняется, но дела в стране вершит правительство, подчиняющееся избранному народом парламенту. Гумбольдт как естествоиспытатель никогда не забывал об изменчивости жизни, равно как и о неудержимости процесса общественного развития. Правда, рассматривал он это движение не как результат борьбы классов, а как результат естественного хода времени.

После смены на престоле Гумбольдт принадлежал к числу тех, кто возлагал немалые надежды на правление нового короля. Гумбольдт ожидал, что Фридрих Вильгельм IV с большим пониманием отнесется к социальным и политическим проблемам своей страны, нежели его недалекий консерватор-отец, что в делах науки, а быть может, и политики к его голосу станут прислушиваться. Однако на коренные изменения государственной политики, на отход от реакционного курса в сторону демократии он не рассчитывал — он уже знал нового короля.

Фридрих Вильгельм IV был, несомненно, способнее и восприимчивее своего отца. Еще будучи кронпринцем, он часто беседовал с Гумбольдтом, обнаруживая живой интерес к изучению природы и наукам вообще. Теперь же, когда Фридрих Вильгельм IV воцарился на троне, все обернулось совсем иначе. Как только вследствие некоторого ослабления цензурных оков наметилось оживление в среде прогрессивной буржуазии, осмелившейся напомнить о невыполненных обещаниях прежнего короля ввести конституцию (еще в 1815 г.), так тут же впервые произошла та резкая «смена настроения», которая впоследствии привела таких людей, как Гумбольдт и Бунзен, на грань отчаяния. Альянс между троном и алтарем был подкреплен усилением власти крупного дворянства, крупное феодальное землевладение — введением майората (законодательно закрепленной передачи земельной

собственности старшему из наследников — без права продажи) и содействием его расширению за счет разоряющихся крестьянских хозяйств. Этому соответствовала бескомпромиссная борьба против любой демократизации государственной и общественной жизни.

Однако в немецком народе тем временем зрели силы, способные противостоять реакционному режиму. На политическую сцену выходил новый класс — пролетариат. Восстания ткачей в силезских деревнях Лангенбилау и Петерсвальдау явились первыми провозвестниками приближающейся революции. Политико-экономическое развитие страны создало условия для более успешной борьбы за конституцию.

«Беспокойная совесть» Фридриха Вильгельма IV

Итак, ученый с мировым именем по-прежнему оставался блестящим украшением дома Гогенцоллернов. В 1840 году ему пришлось ехать на коронацию короля в Кенигсберг, в 1842-м — присутствовать на церемонии крещения наследника трона, а три года спустя — сопровождать своего августейшего повелителя в Копенгаген. Он, «Premier Physicien de la Cour», «первый естествоиспытатель двора», как он себя иронически называл, уже перестал быть первым чтецом при новом короле, предпочитавшем писателей-романтиков («единомышленников», как ему казалось) Августа Вильгельма Шлегеля и Людвига Тика или же актера Луиса Шнайдера, а вообще-то он с большим удовольствием слушал анекдоты госпожи фон Лукк. «Когда я ему читаю, он засыляет!» — записал Варнхаген в свой дневник тоскливое восклицание Гумбольдта.

Придворная служба по-прежнему угнетала и удручала Гумбольдта. Тем не менее оставлять ее он не собирался. Помимо экономической зависимости и других причин, о которых уже говорилось, существовала, видимо, и еще одна. Варнхаген, хорошо знавший своего друга, писал в 1844 году в дневнике, что двор и свет для Гумбольдта — «это в некотором роде привычное уютное местечко, где в кругу завсегдаев с удовольствием проводишь вечер за бокалом вина». Двумя годами позднее, 7 апреля 1846 года, сам Гумбольдт писал Гауссу: «Вы спросите, почему я, которому 76 лет, не позабочусь об ином, более приемлемом для себя положении? Проблема человеческой жизни —

неразрешимая проблема. Мешает привычный уют, старые обязательства, глупые надежды».

А новый властитель Пруссии поначалу действительно давал ему повод для «глупых надежд». Если на решение внешне- и внутривластных вопросов Гумбольдт по-прежнему не имел никакого влияния, то в том, что касалось наук и искусств, король к его мнению все же прислушивался. Еще будучи кронпринцем, Фридрих Вильгельм IV поддерживал, например, заботы Гумбольдта о студентах, преследовавшихся по политическим мотивам; в деле «геттингенской семерки» он проявил себя «весьма покладистым и благородным».

Так, Гумбольдту удалось, преодолевая сопротивление министерской бюрократии и самого министра по делам образования и культов Эйххорна, добиться проведения важных мер по развитию научных исследований. Если Фридрих Вильгельм III просто отмахивался от любого совета своего камергера, то его преемник мнение Гумбольдта выслушивал даже тогда, когда тот высказывал его без августейшего соизволения. К тому же старик ученый стал решительнее, чем прежде, излагать свою точку зрения, причем не только одному королю в конфиденциальной обстановке, но и публично. Правда, и теперь, сталкиваясь с трудноразрешимыми проблемами, он по-прежнему уповал на «время», которое принесет с собой все желаемые перемены.

Один из писателей «Молодой Германии», Генрих Лаубе, высланный за свою студенческую деятельность из королевства Саксонского, а в 1834 году схваченный в Берлине и на девять месяцев брошенный в темницу, в своих «Воспоминаниях» дал, думается, довольно точную характеристику отношениям Гумбольдта с Фридрихом Вильгельмом IV: «Положение Гумбольдта рядом с Фридрихом Вильгельмом IV оставалось до самой его

смерти очень странным. Его считали либералом [\[36\]](#), да он и был им. Категория людей, к которой применимо это слово, была королю неприятна. Он видел в этом легкомысленное веяние века — скорее всего он с радостью избавился бы и от докучавшего ему Гумбольдта. У короля появилась даже склонность посмеиваться над его излишней словоохотливостью. Однако ни то, ни другое у монарха толком не получалось — власть Гумбольдтовых знаний оказывалась слишком велика, как и его общепризнанный авторитет. Сами-то знания уважал и король. Получалось так, что этот камергер Гумбольдт, не имевший больше, собственно, никаких служебных обязанностей и всегда вынужденный быть при короле, выглядел чем-то вроде беспокойной совести самого монарха. При каждой новой репрессии всем интересно было знать мнение Гумбольдта по этому поводу, и он обычно высказывал его в очень лаконичной эпиграмматической форме, в духе многозначных изречений дельфийского оракула — к постоянному раздражению короля, которому эти высказывания обязательно потом передавались».

Фридрих Вильгельм IV в глазах Гумбольдта был «несчастьем нации», жертвой собственных слабостей и слабостей министров и советчиков. «Он хвалит короля за его образ мыслей и за намерения, — записал себе в дневник Варнгаген после визита к нему Гумбольдта 25 апреля 1840 года, — однако говорит, что тот — не человек дела, и когда приходится действовать, то действует порывисто и наскоками, без связи и без меры». Гумбольдт сетует на растущее влияние аристократической верхушки, для которой он просто «„старый лоскут трехцветной тряпки“» [\[37\]](#), который временно спрятан, но при okazji его снова могут извлечь и водрузить на древко». Родовитая знать злобно честила его якобинцем, а поповская братия — атеистом. «Мелкие души, — жаловался он Бунзену чуть позднее, —

отсталые, не понимающие духа времени... стремящиеся всех лишить мужества... они уже почти достигли того, что от Мемеля до Саарбрюккена у всех появилось ощущение, что вся страна смыслит в своих делах больше, нежели ее правители».

18 марта 1843 года после продолжительного пребывания во Франции Гумбольдт снова навестил Варнхагена. «В Париже он был бодр и весел, — писал в дневнике Варнхаген, — а тут на него сразу нашло мрачное настроение. Здесь все производит унылое и жалкое впечатление, все остается по-старому, здесь опасными вещами играют с детской беспечностью».

«Трудно быть Гумбольдтом!»

Гумбольдт уже в декабре 1841 года стал всерьез подумывать о том, чтобы полностью удалиться от двора, главным образом потому, что его как ученого уже намного «обогнали другие». «У меня такое ощущение, что я задыхаюсь в тяжелой вечерней духоте», — сказал он как-то Варнхагену, и тот записал потом в дневнике: «Трудно быть Гумбольдтом, трудно говорить такие вещи, находясь на вершине славы и почестей. У него в самом деле мало друзей, и только его юмор и бодрость делают его жизнь в этих условиях сносной».

Среди других придворных и высокопоставленных лиц Гумбольдт не пользовался ни симпатией, ни сочувствием. Наоборот, к нему испытывали ненависть, против него плелись интриги церковно-ортодоксальной и придворно-юнкерской клики. Фон Кампц, в свое время самый оголтелый преследователь «демагогов», с 1832 по 1842 год находившийся на посту министра юстиции и до конца жизни состоявший членом Государственного совета, злобно клеймил Гумбольдта «революционером милостью двора»; воспитатель при королевской семье Ансильон до самой своей смерти предостерегал наследника трона от влияния на него «хитрой энциклопедической кошки» Гумбольдта. Возглавляли ожесточенную борьбу против «якобинца» и «атеиста» при дворе короля реакционно настроенные генералы фон Радовиц и фон Герлах, а также догматически мыслящий теолог Хенгстенберг.

«Число его противников растет пропорционально оказываемым ему почестям и званиям, — писал Варнхаген. — Благочестивые ханжи — так те ненавидят его прямо-таки остервенело».

Однако нечто тревожило Гумбольдта больше, чем ненависть реакционеров, — это склонность молодого поколения естествоиспытателей к бегству от общественной реальности, к уходу в ученое затворничество.

«*Scientia amabilis*», «любезная сердцу наука» — так еще в его времена ученые-ботаники называли изучение мира растений, той области органической природы, которая находилась, как им казалось, совершенно в стороне от мира людей и их политической борьбы. Не только в поэзии, но и в науке люди могли искать придуманный, иллюзорный мир, где им хотелось бы укрыться от жизненных невзгод. Гумбольдту и самому случалось бороться с подобным искушением, благо это ему удавалось. Теперь же, на закате жизни, приходилось видеть, как вместе со специализацией естествознания снова наметилась тяга к «чистой» науке, не имеющей никакого отношения к действительной жизни и ее проблемам, к потребностям экономического и технического развития. Что наука и политика неразрывно связаны, Гумбольдту стало ясно давно, и он везде, где только мог, сражался с политической индифферентностью немецких интеллектуалов. В беседе с молодым историком Фридрихом Альтхаусом он назвал прямо-таки специфически немецкой задачу «сплавить воедино оба эти элемента, культуру и политику, без ущерба для каждой из них, вместо того чтобы, как прежде, пренебрегать политикой в пользу потребностей общей культуры. Более чем когда-либо следует сейчас наряду с общим развитием обращать внимание на все, что относится к сфере мировоззрения и характера».

...Служба при дворе прусского короля шла тем временем своим чередом. В сентябре 1844 года Гумбольдт сетовал, что ему предстоит на несколько дней съездить в Сан-Суси. «Там я, к сожалению, отмечу

свое 75-летие. Я говорю, к сожалению, ибо в 1789 году я полагал, что в мире на несколько нерешенных вопросов стало меньше». С другой стороны, однако, отмечает Варнхаген, Гумбольдт был убежден, что без высоких связей при дворе он вообще не смог бы здесь жить, его непременно выслали бы из страны, настолько его ненавидели клерикалы всех мастей; «трудно вообразить себе, с каким упорством они ежедневно стремились настраивать против него короля. В других немецких государствах его точно также не стали бы терпеть, стоило бы ему потерять августейшее покровительство и ореол своего положения». Гумбольдт и в беседах с королем не утаивал, что ему хорошо известно, что при дворе есть немало людей, кто с радостью бы узнал, что Гумбольдт лежит под колонной в Тегеле [\[38\]](#) или находится снова по ту сторону Рейна, писал он, например, монарху в одной из записок от 29 марта 1846 года.

Жизнь его при дворе представляла собой теперь один большой клубок противоречий, разрешить которые он был не в состоянии. Оставалось по-прежнему делать из нужды добродетель, стойко переносить неприятности и тяготы придворной службы и убеждать себя, что в его положении есть и свои выгоды. Тем более что выгоды эти касались отнюдь не только его одного, а и многих других, хотя он и говорил Варнхагену, что если перечислить добрые дела, которые удалось осуществить благодаря его службе при дворе, «то получится сущая пара пустяков, а в более важных и общих проблемах все шло против его желаний».

За «сущей парой пустяков», однако, скрывалось ни много ни мало как строительство новой Берлинской астрономической обсерватории (1832–1835) на Линденштрассе, сооружение и открытие метеорологического института в Берлине (1846), утверждение постоянных дотаций для университетов

Берлина и Кёнигсберга, привлечение в Берлин многих преподавателей, переговоры с которыми нередко велись самим Гумбольдтом, повышение жалованья видным ученым и награды для них, финансирование научных экспедиций и забота о молодой научной поросли.

Нигде, пожалуй, не проявляется искрометное остроумие и ирония Гумбольдта в такой мере, как в рассказах Варнхагену и Бунзену о затяжной войне, которую он вел непрерывно, с момента смерти первого прусского министра по делам образования и культов барона Карла фон Альтенштейна и до конца дней своих против «ледяной отупелости» министерской бюрократии, против больших и малых чинов, не желавших выделять средства для развития науки и искусства. Ловкость, с которой он умел повлиять на короля в нужный момент, столь же примечательна, сколь и удивительна для тех условий общей нищеты и отсталости, в которых приходилось действовать и добиваться своих целей этому энергичному старику.

Будучи человеком корректным, он шел сначала официальным путем. Он обивал пороги приемных высокопоставленных чиновников и с необычайным упорством хлопотал о том, чтобы его очередным делом занялся тот или иной министр, даже если эти господа считали «математику, философию и поэзию тремя статьями роскоши». И лишь когда ему не удавалось ничего добиться от министров, — а чаще всего так и получалось, — он излагал дело непосредственно королю. Были у него и два союзника. Один — Бунзен, к которому он обращался снова и снова, пользуясь слабостью, питаемой Его Величеством к своему ученому — посланнику в Лондоне. Другой — тайный правительственный советник в министерстве просвещения Иоганн Шульце, «локомотив», как его называл Гумбольдт, прозорливый и энергичный

чиновник, всегда умевший находить пути, а главное — средства, чтобы помочь Гумбольдту достичь своей цели.

«Космос» Гумбольдта — труд всей жизни

В 1845 году выходит в свет первый том книги «Космос. Опыт физического описания мира». Почти полвека контуры этого огромного труда виделись ему только «расплывчатыми», труда, который он теперь, на закате жизни, представляет на суд немецкой публики, писал Гумбольдт в ноябре 1844 года в предисловии к первому тому «Космоса». Почти ровно десять лет назад, 24 октября 1834 года, он писал Варнхагену: «Я приступаю к печатанию труда (труда всей моей жизни). У меня безумная идея охватить и отобразить весь материальный мир, все, что мы знаем сейчас о космическом пространстве и земной жизни, от туманностей до географии мхов, растущих на гранитных скалах, — и все это в одной книге, которая бы и пробуждала интерес к предмету живым доступным языком, и отчасти служила отдохновением для души. Каждая большая и важная идея, где-либо промелькнувшая, должна быть здесь зафиксирована. Книга должна воссоздать целую эпоху истории духовного развития человечества и его познания природы».

Все, что ученый увидел и узнал на трех континентах, критически усвоил из двухтысячелетнего опыта изучения человеком природы и космоса, — все это следовало свести воедино, просмотреть, переработать с целью воссоздания целостной и всеохватывающей физической картины мира, имея в виду непосредственным адресатом «широкие массы».

Гумбольдт отдавал себе отчет в том, что этот гигантский труд имел отнюдь не только академическое значение. Своей научно обоснованной и стройной

картиной мироздания он разрушал библейский миф о якобы божественном происхождении мира, а эмпирико-критическое мировоззрение, отчетливо дававшее себя знать на каждой странице этого труда, подтачивало один из прочнейших фундаментов реакции. «Космос» был делом общественного прогресса, поскольку всю силу знаний о природе он нес непосредственно в массы.

Накануне сорокового юбилея со дня рождения Александра фон Гумбольдта известный немецкий издатель Бернхард Котта отметил, что «Космос» является самой читаемой книгой после Библии. Первый том, вышедший в 1845 году, уже через год был переведен на английский, датский, итальянский и нидерландский языки, еще через год — на французский, а еще год спустя — на русский. Уже к 1851 году общий тираж этого издания, по подсчетам Гумбольдта, достигал 800 тысяч экземпляров.

**«Древний старец с гор» 1848-
1859**

Предвестия политической бури

«Положение в северной части Германии становится все серьезнее, — писал Гумбольдт Бунзену 16 декабря 1847 года, — и оно еще более осложнится, если дело ограничится учреждением представительских комитетов, они ведь не удовлетворят ничьих ожиданий... что наверняка создаст правительству дополнительные трудности. Там, где не существует „первой палаты“ (парламента. — Г. Ш.), на которую в подлинных монархиях можно оказывать дозволенное влияние, там вина за невыполнение насущных пожеланий народа ложится только на исполнительную власть. Вообразите себе собрание депутатов, в котором представители познаньских городских и сельских округов противостоят представителям рейнских или померанских областей, и министров, которые надеются вечными отказами и умиротворяющими жестами долго держать их в узде. Недовольство прорвется как и повсюду, где элементы политической системы прилажены один к другому не так хорошо, как в Англии... Я не могу вообразить себе всеобщее представительство народа иначе как представительство всего государства, а не отдельной провинции или отдельного сословия».

Гумбольдт чувствовал приближение политической бури. Ему было ясно, что намерение короля — вопреки предостережениям из Вены и Петербурга — созвать собрание представителей провинций в составе объединенного ландтага и тем самым сделать народу хотя бы кажущуюся уступку, не принесет пользы никому. Не говоря о том, что дворянство во всех этих провинциальных представительствах имело перевес, и поэтому интересы народа никак не могли быть

реализованы парламентским путем. Если Гумбольдт в письме Бунзену упоминает познаньские провинциальные представительства, то он намекает тем самым на жестокую эксплуатацию и грабительскую политику Пруссии по отношению к этим польским областям.

Объединенный ландтаг, созванный по объявлению от 3 февраля 1847 года, был, по выражению Гумбольдта, некой разновидностью «подаренной», то есть не отвоеванной народом у короны, конституцией; его полномочия сводились к праву подавать петиции в государственные учреждения, одобрять размеры налогов и ссуд, а также обсуждать принимаемые правительством законы.

11 апреля Фридрих Вильгельм IV открыл объединенный ландтаг речью, в которой заявил, что не потерпит, чтобы естественные отношения между монархом и народом отягощались конституцией и чтобы между ним и его страной вклинивался исписанный клочок бумаги.

«Всеобщий шок, уныние, горечь», — свидетельствовал Варнхаген в этот день. Гумбольдт писал 26 апреля 1847 года Бунзену: «Если таких людей, как вы и я, живо трогает слава столь высокоодаренного и человеческого монарха... то события 11-го дня могут причинить лишь глубокую боль. Я сам присутствовал при этом. Все были ошеломлены поголовно, даже высшая аристократия... При таком всеобщем упадке духа... начало переговоров с представителями отдельных сословий чревато опасностью срыва».

«Прозаические обязанности» и ночные бдения

В январе 1848 года Гумбольдт в последний раз вернулся из Парижа.

«Если ты родился в 1769 году, — писал он Бунзену 3 октября 1847 года, — то не должен откладывать свои дела с осени на весну. Поездка в Париж для меня — не только необходимое увеселение — если учесть, что мою берлинскую квартиру превратили в нечто вроде справочного бюро всей страны, а я все же не теряю надежды собрать идеи и факты к третьему и к последнему томам „Космоса“».

А в увеселении и отдыхе от «обязанностей весьма прозаического свойства», которые почти ежедневно звали его ко двору, престарелый камергер очень нуждался. Когда король бывал в Берлине, присутствие Гумбольдта по крайней мере при трапезе монарха разумелось само собой. А с тех пор как между столицей и Потсдамом протянулась железная дорога, его «поездки из одной резиденции в другую, подобные качанию маятника, стали еще более частыми».

Ко всем придворным обязанностям, к которым относилось и составление разного рода отчетов королю о состоянии дел в науке, как бы сама собой прибавилась еще одна: к Гумбольдту нескончаемой чередой шли просители из всех слоев общества, желавшие, чтобы он замолвил за них слово королю или в нужной инстанции, многие из них явно злоупотребляли готовностью ученого помогать людям в беде. «Моя близость к королю и немецкая страсть мараить бумагу меня просто убивают, — сетовал он еще в январе 1841 года в письме свояченице Шиллера Каролине фон Вольцоген. — Чего только не просят: профессию, орден, медаль, дают

советы, ругают, спрашивают о чем-то, — в иную неделю получаю до 50–60 писем».

В середине марта 1859 года почти 90-летний старик помещает в газетах объявление — своего рода вопль утопающего: «Изнемогая под гнетом все возрастающей переписки, составляющей в среднем 1600–2000 корреспонденций в год, хочу попытаться еще раз публично просить всех, кто мне благоволит, о том, чтобы моей персоне уделяли поменьше внимания на обоих континентах и не использовали мой дом в качестве адресного бюро, щадя тем самым мои и без того слабеющие физические и духовные силы и оставляя мне время и покой для собственных трудов».

«Придворный демократ» и проигранная революция

Через несколько недель после возвращения Гумбольдта из Франции, где он побывал в последний раз в своей жизни, в Париже вспыхнула Февральская революция.

В Берлине так называемый Объединенный ландтаг был снова распущен летом 1847 года без каких-либо конкретных перспектив на продолжение его работы. Сплошные неурожаи несли с собой голод в промышленные районы Силезии, на Рейн и в Рур, в крупные города, усиливая недовольство простого люда. В Берлине в районе Бранденбургских ворот стали собираться большие толпы народа, там царило необычное возбуждение, люди все смелее высказывали возмущение и претензии властям. Вскоре были вызваны войска и полиция, чтобы силой усмирить народ и заставить его замолчать. В канун парижского восстания, 21 февраля 1848 года, в Лондоне вышел из печати на немецком языке «Манифест Коммунистической партии». Уже раздавался и в Германии боевой призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Озадаченный мощью и размахом народных манифестаций, король сделал вид, будто пошел на уступки, объявив о своем решении созвать Объединенный ландтаг к 27 апреля 1848 года, надеясь к этому сроку подтянуть войска и расправиться с «мятежниками».

В полдень 18 марта тысячи людей собрались на площади перед королевским дворцом, чтобы выразить свои требования, касавшиеся необходимости объединения страны и введения демократических прав. Король снова повторил свои прежние половинчатые

заверения. Берлинцам все это показалось весьма подозрительным. Они потребовали немедленного отвода из Берлина воинских частей. И тут эскадрон драгун и пехотная рота получили приказ очистить площадь. Раздались первые выстрелы по демонстрантам. Народ ответил выходом на баррикады и героическим сопротивлением. Король вынужден был удовлетворить основные требования революционеров: отвести войска и полицию, допустить частичное вооружение народа, а также лично почтить память 183 павших бойцов баррикад во время торжественной похоронной церемонии на дворцовой площади. Когда собравшийся там 21 марта народ пожелал увидеть короля на балконе его дворца, вместе с ним наперебой стремились выступить вперед и взять слово его министры. Один из них, граф Шверин, «израсходовал весь запас своих ходульных фраз», как отметил Варнхаген в дневнике со слов очевидца. «Когда он закончил, народ хотел увидеть и других, не знали даже толком кого, и когда кто-то произнес имя Гумбольдта, все собравшиеся стали в один голос требовать его. У Гумбольдта хватило такта воздержаться от всяких речей, выйти и только поклониться собравшимся».

Камергер фон Гумбольдт постепенно становился таким образом некой легендарной фигурой. В глазах ремесленников и рабочих этот древний старец, единственный «человек, близкий народу» в стане короля, был чем-то вроде полномочного их представителя и выразителя их интересов. И все же, хотя не подлежит сомнению, что помыслы и надежды Гумбольдта оставались на стороне народа, защитником его интересов в собственном смысле слова он не был. Позиция, которую занимал без малого восьмидесятилетний старик во время революционных событий 1848 года, — это скорее позиция стороннего

наблюдателя, критически и отстраненно воспринимавшего «эту кутерьму и раздоры времени».

Гумбольдт ненавидел реакцию, но он считал, что немецкой буржуазии недостает ни сознания, ни сил следовать французскому примеру. Не понимал он и экономических предпосылок революции 1848 года. Причину и цель революции он видел в конституционном закреплении права граждан участвовать в управлении страной, а конституционную монархию считал единственно приемлемой и жизнеспособной формой государственного устройства. Он сожалел о том, что король, слушая плохих советчиков, отказывался добровольно дать то, что у него было потом отнято силой. Нет также весомых оснований полагать, что ученый одобрял либерализм в той его ипостаси, какую представляли Лудольф Кампхаузен и Давид Юстус Людвиг Ханземан.

Эти два выразителя интересов крупного рейнского капитала вместе с несколькими либерально настроенными аристократами образовали первый послереволюционный кабинет министров. Кампхаузен вскоре подал в отставку; при Ханземане, возглавившем следующее правительство, все отчетливее намечалась тенденция к «преемственности правовых основ» государства и к ограничению общенационального объединения страны, к дальнейшему устранению таможенных барьеров в направлении создания единой экономической системы.

Прусская буржуазия шла тем самым уже против завоеваний революции, против интересов рабочего класса. Этот компромисс между крупной буржуазией и короной в вопросе о конституции способствовал новому наступлению реакции. Как только антиреволюционная тенденция взяла верх в Вене, то же самое произошло в Пруссии, что по сути было равнозначно государственному перевороту.

Два завещания, интересных в своем роде

Материальное положение старика Гумбольдта оставалось весьма стесненным. Он, который ходатайствовал за многих и многих ученых, художников, вдов и сирот перед королем, министрами и всевозможными чиновниками, добиваясь то стипендий, то повышения жалованья, то пенсий, сам, по сути, нуждался в помощи. Камергерское жалованье, редкие дотации из королевской казны и гонорары за научные публикации обеспечивали ему крайне скромный быт, не более; денег не хватало даже на то, например, чтобы погасить две ссуды, взятые им еще при переезде в Берлин, одну — в прусской фирме, занимавшейся морской торговлей, другую — в банковском доме Мендельсонов.

В последнее время он стал к тому же испытывать некоторую неловкость по отношению к своему камердинеру: Гумбольдту теперь казалось, что он все же маловато платит своему верному слуге, по крайней мере меньше, чем Зайферт был того достоин за тридцатилетнюю безупречную службу. Будучи человеком особенно щепетильным в таких делах и понимая, что дополнительных денег ждать неоткуда, Гумбольдт в марте 1855 года составляет завещание, по которому все его имущество после смерти переходит в собственность Иоганна Зайферта, его камердинера. Потом, когда ученый умер и завещание было обнародовано, Зайферт с радостью стал распоряжаться Гумбольдтовым наследством, бойко торгуясь с покупателями и беспокоясь только о том, чтобы продать его подороже. Поразительно, с каким безразличием наблюдали и корона, и общественность страны за тем,

как расходились по рукам ценнейшие рукописи, документы, коллекции и личные вещи Гумбольдта, как была спокойно продана некоему частному лицу богатая библиотека, о приобретении которой на казенные средства, правда, велись вялые переговоры, но они не дали реальных результатов. Библиотека оказалась потом перепроданной в Лондон, где большая ее часть сгорела при пожаре.

О материальных обстоятельствах Гумбольдта этих лет говорит еще один документ, датированный 1853 годом, который дочь Зайферта предоставила в распоряжение авторов научной биографии Гумбольдта, изданной К. К. Брунсом.

Предвидя, что Зайферт, получив наследство, не станет рассчитываться с его двумя кредиторами, Гумбольдт обратился к Фридриху Вильгельму IV «с нижайшей просьбой» принести некую сумму «в дар дому Мендельсонов» и тем погасить долг, сделанный «столь долго преданным Вам стариком». «Несмотря на мои ночные труды, я совсем не уверен в том, что мне удастся до своей смерти выплатить дому Мендельсонов все то, что я им задолжал».

Передать эту бумагу королю Гумбольдт решился лишь после апоплексического удара, случившегося с ним в феврале 1857 года. «Обеспокоенный» Фридрих Вильгельм IV заверил своего камергера, что готов «снять с него бремя этой заботы» и «в случае кончины Гумбольдта, вероятно, еще далекой» он будет считать урегулирование этого дела «дорогим ему завещанием». И все же не Фридрих Вильгельм IV, а лишь его брат и преемник, тогдашний регент Вильгельм, уплатил банку Мендельсонов оставшийся непогашенным долг в 1300 талеров.

«Последний герой великой литературной эпохи»

«Мои силы быстро идут на убыль, — писал Гумбольдт в середине декабря 1856 года Бунзену. — Не очень-то приятно видеть, как улетучивается фосфор мысли и уменьшается вес твоего мозга, по выражению нынешней школы. Но все же я не падаю духом и продолжаю работать».

Он не был болен в собственном смысле слова, его мучил только нестерпимый зуд: «как будто на тебя сыплется целый млечный путь зерен проса». Но вот в конце февраля 1857 года его настиг апоплексический удар. Выхаживал Гумбольдта известный врач Лукас Шёнляйн. Надежд на выздоровление было мало. В присутствии короля врач заявил, что больной долгое время не сможет твердо стоять на левой ноге. «Но это не значит, — сострил неунывающий Гумбольдт, — что мне необходимо вставать на правую вместе с Герлахом».

Через несколько дней Гумбольдт возобновил свою работу над «Космосом». Лишь зимой 1858 года его начали оставлять силы. В конце апреля он ослаб уже настолько, что не мог вставать с постели.

Александр фон Гумбольдт умер 6 мая 1859 года, не дожив четырех месяцев до своего девяностолетия. После пышной церемонии отпевания в одном из берлинских соборов состоялись похороны в Тегеле. Он был погребен рядом с братом.

«Последний герой великой литературной эпохи» был гуманистом в духе идеалов Парижа 1789 года, поборником идеи соблюдения прав человека, противником всякой реакции, убежденным демократом и выдающимся пионером научного прогресса. Он проложил путь естественным наукам, обеспечил им

равноправное положение наряду с гуманитарными, выполнил завещание мыслителей эпохи европейского Просвещения, помогая невежественным, но осознавшим свое невежество людям освобождаться от практикуемой церковью и государством политики оглупления народа, передавая им доступным языком свои знания, сделал науку о природе той общественной силой, в которой нуждалось человечество, чтобы последовать за теми, кто хотел освободить его от порабощения. Какими бы ограниченными ни были социально-философские взгляды Гумбольдта, в его лице 6 мая 1859 года мир лишился человека, которому, по словам биографа Гумбольдта Германа Кленке, «все человечество обязано значительной долей своего духовного прогресса».

Именно в этом воздействии научного творчества Гумбольдта на развитие человеческого общества заключается его непреходящее значение и в наши дни. Его достижения как исследователя и ученого, существенно умножившего знания человека о природе, имеют тем больший вес, что Александр фон Гумбольдт, как немногие из немцев, умножил мирную славу своего отечества в те времена, когда над ним сгустились тучи реакции и регресса.

Основные даты жизни и деятельности Александра фон Гумбольдта

1767, 22 июня — Рождение Вильгельма фон Гумбольдта

1769, 14 сентября — Рождение Александра фон Гумбольдта

1779, январь — Смерть отца — Александра Георга Гумбольдта

1783 — Шестнадцатилетний Вильгельм и четырнадцатилетний Александр вместе со своим гофмейстером Кристианом Кунтом (1757-1829) едут в Берлин для продолжения учебы

1785-1786 — Братья Гумбольдт слушают лекции известных берлинских ученых по классической филологии, философии, экономике и другим предметам. Посещают литературные салоны Генриетты Герц (1764-1874) и Доротеи Фейт (1763-1839)

1787, октябрь — Александр и Вильгельм в сопровождении К. Кунта едут во Франкфурт-на-Одере и поступают в тамошний университет

1789, апрель — Переезд в Геттинген. Учебный год в Геттингенском университете (до марта 1790 г.). Знакомство с Георгом Форстером (1754-1794)

1789, сентябрь — Пятидневное путешествие Александра с голландским врачом и ботаником Стевенем Яном ван Гёнсом по центральной Германии

1790 — Выход в свет работы «Минералогические наблюдения над некоторыми базальтами вкупе с разрозненными замечаниями о базальтах у древних и новых авторов»

1790, апрель — июнь — Поездка с Георгом Форстером вниз по Рейну, через Нидерланды в Англию и затем — в революционный Париж

1790-1791 — Учеба в частной торговой академии в Гамбурге

1791, июнь — 1792, февраль — Учеба во Фрейбергской горной академии

1792-1796 — Обербергмейстер во Франконии (Штебен и Арцберг). Встречи с Гёте и Шиллером в Йене. Поездки в Швейцарию и Северную Италию

1796, июль — август — Дипломатическая поездка в штаб-квартиру французских войск

1796, 14 ноября — Смерть матери, Марик Элизабет фон Коломб.

1797-1798 — Продолжительная остановка в Йене. Общение с Гёте и Шиллером. Зимние месяцы — в Зальцбурге, у Леопольда фон Буха (1774-1853). Планы путешествия в Египет в обществе лорда Бристоля 1798, май — октябрь — Остановка в Париже. Знакомство с Эме Бонпланом (1773-1858)

1798, декабрь — 1799, февраль — Гумбольдт и Бонплан направляются в Мадрид

1799, 5 июня — Гумбольдт и Бонплан на борту фрегата «Писарро» выходят из порта Ла-Корунья в море. Начало их латиноамериканской экспедиции

1799, вторая половина июня — Остановка на острове Тенерифе

1799, июль — Высадка в Кумапе (северная точка Южной Америки). Изучение местности и природы вокруг Куманы

1799, ноябрь — Отплытие в Каракас

1800, март — Переход через льяносы

1800, 30 марта — Отплытие на пироге во внутренние области континента. Плавание по рекам Апуре, Ориноко, Атабапо, Касикьяре и снова Ориноко

1800, декабрь — 1801, март — Остановка на Кубе.
Отплытие из Батабано в Картагену

1801 — Плавание по реке Магдалене. Переход по горным дорогам в Боготу. Посещение ботаника дона Хосе Селестино Мутиса

1802, январь — Гумбольдт и Бонплан в Кито

1802 — Исследование верховьев Амазонки.
Знакомство Гумбольдта с остатками древней культуры инков

1802, декабрь — Отплытие из гавани Кальяо на север вдоль побережья

1803, март — Прибытие в Мексику

1804, апрель — Вторая остановка на Кубе

1804, май — июль — В Соединенных Штатах Америки

1804, 9 июля — Отплытие из устья Делавэра домой в Европу

1804, 3 августа — Высадка в Бордо. Путешествие закончено

1805 — Поездка из Парижа в Италию к брату.
Восхождение на Везувий с Л. Бухом и Гей-Люссаком

1805, ноябрь — 1808, июль — В Берлине

1808-1827 — В Париже. Подведение итогов экспедиции. Публикация многотомного отчета о ней.
Выезды в Вену, Лондон, Берлин, в Италию

1827, май — Гумбольдт окончательно возвращается в Берлин

1827, ноябрь — 1828, апрель — Чтение публичных лекций в Берлинском университете и в Певческой академии

1829, апрель — Начало путешествия в Россию.
Гумбольдта сопровождают два молодых профессора — натуралист Кристиан Готтфрид Эренберг (1795-1876) и минералог Густав Розе (1798-1873)

1829, май — ноябрь — По России: Петербург — Москва — Екатеринбург — Тобольск — Барнаул — Омск

— Златоуст — Оренбург — Астрахань — Петербург 1829,
декабрь — Отъезд в Германию, возвращение в Берлин
1830-1832 — Снова в Париже. Работа над изданием
отчета о латиноамериканской экспедиции
1835, 8 апреля — Смерть брата, Вильгельма фон
Гумбольдта
1843-1844 — Выход в свет «Центральной Азии» в
трех томах
1845 — Первый том «Космоса»
1847 — Второй том «Космоса»
1847, осень — 1848, январь — Последний раз в
Париже
1858 — Четвертый том «Космоса»
1858, 11 мая — Смерть Эме Бонплана
1859, 6 мая — Смерть Александра фон Гумбольдта

Краткая библиография

Анучин Д. Н. Александр фон Гумбольдт как путешественник и географ и в особенности как исследователь Азии. — В кн.: Анучин Д. Н. Люди зарубежной науки и культуры. М., 1960, с. 74-120.

Есаков В. А. Александр Гумбольдт в России. М., 1960.

Лугинин С. Ф. А. Гумбольдт. Спб., 1860.

Сафонов В. Александр Гумбольдт. М., 1959 («ЖЗЛ»).

Энгельгардт М. А. А. Гумбольдт. Его жизнь, путешествия и научная деятельность. Спб., 1891.

Alexander von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie. Im Verein mit R. Ave-Lallemant, I. V. Carus, A. Dove, H. W. Dove, J. W. Ewald, A. H. Griesebach, J. Lowenberg, O. Peschel, G. H. Wiedemann, W. Wundt bearbeitet und herausgegeben von Karl Bruhns. 3 Bände. Leipzig, 1872.

Borch Rudolf. Alexander von Humboldt. Sein Leben in Selbstzeugnissen, Briefen und Berichten. Berlin, 1948.

Klencke Hermann. Alexander von Humboldt. Ein biographisches Denkmal. 4., verm. Auflage. Leipzig, 1959.

Krammer Mario. Alexander von Humboldt. Mensch, Zeit, Werk. Berlin. 1951.

Ule Otto. Alexander von Humboldt. Biographie für alle Völker der Erde. 3. Auflage. Berlin, 1869.

Wittwer W. C. Alexander von Humboldt. Sein wissenschaftliches Leben und Wirken. Leipzig, 1861.

notes

Утверждение автора о состоянии научной географии в XVIII веке и тем более о приоритете К. Риттера в создании ее научной основы неверно. Им не упомянуты крупные работы русских ученых в области географии. Например, И. К. Кириллова, составившего в 1734 году на основании данных топографических и геодезических работ «Генеральную карту Российской империи», труды В. Н. Татищева по описанию территории нашей страны как сферы человеческой деятельности, важнейшие работы М. В. Ломоносова об освоении Северного морского пути и особенно результаты организованных им академических экспедиций 1768–1774 годов. — Прим. И. Б.

2

Территория Пруссии составляла около 200 тысяч квадратных километров, а ее население — 6 миллионов человек.

3

В Веймаре и его окрестностях. — Прим. Г. Ш.

4

Сейчас в этом здании (на Отто-Нушкештрассе, 22/23) размещается Академия наук ГДР.

Campe J. H. Robinson der Jüngere. Bd. 1-2. Hamburg.
1799.

6

Форстерово описание второго кругосветного плавания Кука вышло в 1777 году в Англии и уже через год появилось в немецком переводе.

С картиной английского художника, писавшего преимущественно на индийские темы, Гумбольдт познакомился весной 1790 года в доме бывшего генерал-губернатора тогдашней Британской Ост-Индии Уоррена Гастингса, обогатившего за время своего пребывания на этом посту не только Англию, но и самого себя до такой степени, что был привлечен к суду, закончившемуся, правда, для него благополучно.

Джозеф Бэнкс, участвовавший в кругосветном путешествии Джеймса Кука, содействовал британским научным исследованиям на заморских территориях, проводившихся в целях планомерного экономического «освоения» колоний. Он был президентом Королевского научного общества в Лондоне, членом тайного совета, основателем и многолетним президентом Британского африканского общества.

9

Здесь и далее мы будем по необходимости ограничиваться ссылками только на отдельные и наиболее важные научные публикации Гумбольдта.

10

Главной целью этого предприятия было предельно точное измерение длины метра — основной единицы метрической системы, введенной в обиход французской революцией. По правительственному декрету от 26 марта 1791 года длина метра устанавливалась в одну сорокामиллионную часть полного земного меридиана.

11

Точная высота вулкана Тейде составляет 3711 метров.

12

Туаз — старая французская мера длины; 1 туаз равен 1,949 метра. — Г. Ш.

Первый отрывок взят из книги Гумбольдта «Картины природы», четвертый — из 29-го тома большого французского издания отчета о Латиноамериканской экспедиции (цит. по немецкому изданию: В. К. Виттвер. Александр фон Гумбольдт...), остальные — из путевых заметок Гумбольдта «Путешествие в равноденственные части Нового Света», изданных Германом Гауром в Тюбингене (1859–1860 гг.).

Джон Фрейзер был кое-чем обязан Гумбольдту: когда он в свое время потерпел кораблекрушение и был найден аборигенами, Гумбольдт помог ему выбраться из этого затруднения, ссудил деньгами и не без успеха рекомендовал его испанским властям.

15

«Руль заклинило!» (исп.).

Новейшие подсчеты дают основание предполагать, что Гумбольдт поднялся на высоту около 5350 метров.

Имеются в виду освободительные войны и выход из-под колониальной зависимости бывших испанских и португальских колоний, вначале ничего не изменивших в системе рабовладения.

Имеются в виду южные штаты США и Бразилия.

Кристиан Готтфрид Эренберг сопровождал Александра Гумбольдта в 1829 году во время его путешествия по Азии.

May, Walther. Goethe, Humboldt, Darwin, Haeckel, Vier Vortrage. Berlin, 1906.

21

Смуглый (о цвете лица) (фр.).

Упоение суетной славой (фр.).

May W. Goethe, Humboldt, Darwin, Haeckel, Vier Vortrage. Berlin, 1906, s. 174.

Ян Фридрих Людвиг (1778-1852) — инициатор широкого распространения спортивной гимнастики в Германии.

В 1815 году, когда у Гумбольдта появились материальные затруднения, он получил от прусского правительства задаток в сумме 24 тысяч французских франков. Эти деньги предназначались для покрытия остаточных расходов по изданию, и позднее Гумбольдт фактически возвратил их Пруссии, выпустив несколько богато оформленных подарочных изданий каждой из частей своего труда (стоимость комплекта превышала 10 тысяч франков) и передав их университетам в Берлине, Бонне, Бреслау и Галле в безвозмездное пользование.

26

Восклицание недовольствия, негодования, соответствующее примерно слову «долой!» (лат.).

Biermann, Kurt — R. Aus der Vorgeschichte djer Pläne Alexander von Humboldts fur eine russisch — sibirische Forschungs, eise. — Geologische Wissenschaften, 1976, Heft 2, s. 331-336.

Bierman, Kurt — R. Op. cit., s. 333-334.

29

Сила (фр.).

Желание посетить Россию возникло у Гумбольдта еще во времена студенческих лет во Фрейбергской горной академии, под влиянием также учившегося там В. Ю. Соймонова (впоследствии — управляющий Барнаульскими горными заводами), с которым он и позднее оставался в оживленной переписке. В 1793 году А. Гумбольдт писал В. Ю. Соймонову: «Я вижу, что Вы собираетесь покинуть Германию и отправиться в Сибирь. Как я завидую Вашей судьбе! Какой счастливый случай увидеть великие творения природы! В своем предпоследнем письме Вы спрашиваете: „Возможно ли увидеть Вас когда-либо в этой части Азии?“... „Я не скрою, — писал далее Гумбольдт, — что уже три года это одно из моих самых горячих желаний“». — Прим. И. Б.

Карты и планы районов и отдельных месторождений, посещенных Гумбольдтом, были предоставлены ему русскими учеными. В частности, сам А. Гумбольдт в одном из писем Е. Ф. Канкрину отмечает, что «превосходные исследования и карты полковника Генса дали мне очень ясное представление о последних разветвлениях большого пояса до плато между Аральским морем и Каспийским». Автор упомянутых карт, председатель Оренбургской пограничной комиссии Григорий Федорович Гене, в течение многих лет собирал сведения по географии Азии. — Прим. И. Б.

Очевидно, автор имеет в виду ошибочные представления Гумбольдта о существовании мифического меридионального хребта Болор, якобы пересекающего горную цепь Куэнь-Лунь, а также о современном вулканизме этого района. Сам Гумбольдт не был в этом районе и описывал его лишь по старинным источникам, но эти взгляды были связаны с его крайней вулканистической концепцией. По его мнению, внутриземная расплавленная масса действовала на покрывающую ее тонкую земную кору. При этом поднимались материки и горные цепи и формировался современный рельеф Земли. Однако более поздними исследованиями русских геологов (И. В. Мушкетов, Н. А. Северцев и др.) было доказано, что ни хребта Болор, ни вулканов в этой части Средней Азии не существует. — Прим. И. Б.

Заключение автора о том, что научное значение результатов путешествия Гумбольдта в Россию связано лишь с личными качествами Гумбольдта и сопровождавших его немецких ученых, неверно. Следует отметить, что во всем путешествии Гумбольдт постоянно опирался на помощь и материалы, предоставленные ему русскими учеными. Он ознакомился с музеями, кабинетами и лабораториями Академии наук в Петербурге и Московского университета. На Урале Гумбольдтом были использованы подготовленные для него материалы горных заводов, а сбор коллекции минералов и горных пород осуществлялся специально выделенной геологической экспедицией. В поездке Гумбольдта сопровождали, кроме немецких ученых Х. Эренберга и Г. Розе, также Ф. И. Швецов, А. К. Качка, Д. С. Меньшенин и другие, а по Южному Уралу — русские ученые Э. К. Гофман и Г. П. Гельмерсен. Сам А. Гумбольдт в письме Е. Ф. Канкрину от 15 сентября 1829 года отмечал, что «д-р Гофман и д-р Гельмерсен, сопровождавшие нас в Кыштым, очень приятные, знающие молодые люди, дали нам много разъяснений по геогностическим условиям Южного Урала».

После окончания путешествия продолжалась оживленная, переписка А. Гумбольдта с русскими учеными. Сообщенные ими данные помогали Гумбольдту при обработке собранных материалов и написании его капитального труда «Центральная Азия», опубликованного на французском языке в 1843 г. — Прим. И. Б.

Труд А. Гумбольдта «Центральная Азия» был опубликован на русском языке в 1915 г. Вступительные статьи к этой работе были написаны В. А. Обручевым и Д. Н. Анучиным. — Прим. И.Б.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 578.

Слово «либеральный» в те времена имело очень широкий смысл: им называли любое прогрессивное мировоззрение вообще.

Намек на трехцветный флаг революционной Франции (1789 г.).

Имеется в виду колонна, украшенная скульптурным изображением «Надежды» в исполнении Торвальдсена, в фамильной усыпальнице Гумбольдтов в замке Тегель.